СОБРАНИЕ

Александр Солженицын

СОЧИНЕНИЙ

6

СОБРАНИЕ

Александр Солженицын

СОЧИНЕНИЙ

6

COCER

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

С приложением критических статей о творчестве автора и документов по так называемому «делу Солженицына»

Фотографии автора, а также его портрет работы московского художника В. Сидура, отпечатаны на меловой бумаге

Обложка и суперобложка работы художника Адама Русака

Сверка авторских текстов и редактирование приложений проведены А. Н. Артемовой

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Собрание сочинений

ТОМ ШЕСТОЙ

«Дело Солженицына»

*

О творчестве А. Солженицына

ПОСЕВ

© 1970 Possev-Verlag, V. Gorachek KG
Frankfurt/Main
Printed in Germany

„Дело Солженицына”

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА IV СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

В Президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу съезд обсудить:

1) то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признается право высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются или уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным. Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен, получают се-

годня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совершенно нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется на свет в искаженном виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались антисоветскими неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

Они любить умеют только мертвых!

Но по́зднее издание книг и «разрешение» имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа, и на особые свойства Сталина, однако их уничтожили и заглушили, вместо того, чтобы к ним прислушаться). Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырье.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого века и в начале нынешнего, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в двадцатые годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется неизмеримо бледней, площе и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если бы ее не ограничивали, не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми нестесненными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом — все мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем оно идет, приобрело бы новую устойчивость, взошло бы даже на новую художественную ступень.

Я предлагаю съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освобо-

дить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист;

2) обязанности Союза по отношению к своим членам. Эти обязанности не сформулированы отчетливо в Уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за треть столетия плачевно выяснилось, что ни «других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключенных из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более, руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было *более шестисот* — ни в чем не виноватых писателей, когда Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды, Ежова, Берии, Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять с прежним руководством ответственность за прошлое.

*Я предлагаю четко сформулировать в пункте 22-м Устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете, и несправедливым преследованиям, — с тем, чтобы невозможно стало повторение беззакония.**

Если съезд не пройдет равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:

1. Мой роман «В круге первом» (35 авторских листов) скоро два года как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его открытое редакционное продвижение. Напротив, еще при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Мой роман стал доступен литературным чиновникам, от большинства же писателей его прячут. Добиться открытого обсуждения романа в писательских секциях, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах.

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив двадцати-пятнадцатилетней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Теперь «закрыто» «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, ко-

---

* Из Устава Союза писателей СССР

Пункт 22. Правление Союза писателей СССР принимает на себя защиту авторских прав писателей как в пределах СССР, так и за границей, через соответствующие советские органы, а также принимает необходимые меры по защите других прав писателей, объединяемых Союзом, организует юридическую помощь писателям и представительствует в государственных и общественных организациях.

гда я ходил под четырьмя номерами (когда, обреченные на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей *никто* не выступал против репрессий), — давно покинутая, эта пьеса приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награжденного боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок якобы как уголовник или сдался в плен (я никогда там не был), «изменял родине», «служил немцам». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылок, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведется на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимающими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление СП РСФСР и в печать! Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Наоборот, клевета с трибун против меня в последний год усилилась, ожесточилась, используются искаженные материалы конфискованного моего архива — я же лишен возможности на нее ответить.

4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнута в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Звездой» и «Простором»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе» и мелкие рассказы («Правая кисть», серия «крохотных») не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельной книгой ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Госполитиздат,

Библиотека «Огонька») и, таким образом, не доступны широкому читателю.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочесть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав — возьмется или не возьмется IV съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор не маловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?

Это еще ни разу не украсило нашей истории.

А. Солженицын

16 мая 1967 г.

Вслед за письмом А. Солженицына IV съезду писателей СССР должны были бы стоять письма и телеграммы, которые мы по техническим причинам отнесли в раздел Дополнительные документы к «делу Солженицына», см. стр. 387.

ПИСЬМО П. АНТОКОЛЬСКОГО СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ДЕМИЧЕВУ

Уважаемый Петр Нилыч!

В числе других делегатов нашего съезда я тоже получил известное письмо от писателя Александра Исаевича Солженицына и оно взволновало меня так же, как некоторых других товарищей.

Как старый писатель и как коммунист, я считаю себя обязанным поделиться своими чувствами с Вами.

Александр Солженицын представляется мне писателем на редкость талантливым, растущей надеждой нашей реалистической литературы, наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Льва Толстого, Алексея Максимовича Горького. Такими деятелями нашей культуры надо дорожить. Критика опубликованных произведений Солженицына поражала своей пристрастной несправедливостью, своей малой доказательностью.

Изъятие рукописей Солженицына, о чем подробно говорится в его письме, представляется каким-то невероятным происшествием, недостойным нашего социалистического общества и нашего советского государства. Это тем более ужасно, что несколько лет тому назад то же самое произошло с рукописью второй части романа покойного Василия Гроссмана.

Неужели такая расправа с рукописями наших писателей рискует превратиться в узаконенный обычай у нас?

Этого не может и не должно быть!

Такая жестокость по отношению к произведениям искусства несовместима с нашими основными законами

и немыслима в любом нормальном человеческом общежитии.

Если в произведениях Солженицына есть что-то спорное и неясное, если в них обнаружены политические ошибки, их должно подвергнуть открытому обсуждению нашей общественности. Таких возможностей у писателей много.

Я работаю в литературе пятьдесят лет. За плечами у меня и книги и целая жизнь, на долю которой всего пришлось вдоволь. Бывали в ней и времена жгучей тревоги за судьбы всей нашей литературы, а также за отдельных товарищей — Булгакова, Пастернака, Тициана Табидзе, — я вспоминаю тех, что были мне близки.

Прожив эту жизнь, я никак не мог представить себе, что такая тревога возникнет на склоне дней, да еще накануне нашей великой и славной даты.

Если советский писатель оказался вынужденным обратиться к своим собратьям по перу с таким письмом, как Солженицын, это означает, что все мы в ответе перед ним и перед нашими собственными читателями. Если он не может сказать читателям своей правды, то и я, старый писатель, лишен права открыто смотреть в глаза читателям.

Павел Антокольский

Май, 1967 г.

ПИСЬМО Г. ВЛАДИМОВА В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Копия — А. Солженицыну

Уважаемые товарищи!

Я, как и вы, получил письмо А. Солженицына и хочу высказать свое суждение по всем пунктам этого письма.

Я осмеливаюсь напомнить съезду, что не рапорты о наших блистательных творческих победах, не выслушивание приветствий иностранных гостей и не единение с народами Африки и борющегося Вьетнама составляют главную задачу писательских съездов, но прежде всего — единение со своим народом, прежде всего — разрешение собственных наболевших проблем, без чего не может далее жить и развиваться советская литература. Она все-таки не может без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказать любое суждение в области социальной и нравственной жизни народа, — какими бы ругательствами мы ни поносили это законное требование всякого мало-мальски честного, мыслящего художника. Без нее — он чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющий зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк в своем отечестве, способный воздействовать духовно на своего читателя, развить его общественное сознание, либо предупредить об опасности, пока она не надвинулась вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она осуществляется, но только не в сфере официально признанной, подцензурной литературы, а в деятельности т. н. «Самиздата», о которой вы все, вероятно, осве-

домлены. Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные вещи Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Платонова и других, ныне живущих, чьих имен я не называю по вполне понятным причинам. Могу лишь сказать, что и моя вещь усыновлена «Самиздатом», не найдя пристанища в печати. Время от времени она возвращается ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес в нее очередной переписчик, а той бережности и точности, с которыми все-таки сохраняется ее главное содержание и смысл.

С этим ничего не поделаешь, — как ничего нельзя поделать с распространением магнитофонных записей наших менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных Радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Устройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии, арестуйте авторов и распространителей, и все же хоть одна копия да уцелеет, а оставшись — размножится, и еще того обильней, ибо запретный плод сладок. Помимо неподцензурных песен и литературы есть неподцензурная живопись и скульптура, и я даже предвижу появление неподцензурного кинематографа, как только кинолюбительская техника станет доступной многим. Этот процесс освобождения искусства от всяческих пут «руководящих указаний» развивается, ширится, и противостоять ему так же глупо и бессмысленно, как запретить табак или спиртное.

Лучше подумайте вот о чем: явно обнаруживаются два искусства. Одно — свободное и непринужденное, каким ему и полагается быть, распространение и воздействие которого зависит лишь от его истинных художественных достоинств, и другое — приказное и оплачиваемое, не только угнетенное в той или иной степени, не только стесненное, а подчас и изувеченное всяческими компрачикосами, среди которых первым на пути автора становится его же собственный «внутренний редактор», — наверное, самый страшный, ибо он

убивает дитя еще в утробе. Которое из этих двух искусств победит — предвидеть не трудно. И волей-неволей, но приходится уже сейчас делать выбор — на какую сторону из них мы встанем, которое из них поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи «Самиздата» и о 9/10 из них могу сказать со всей ответственностью — их не только можно, их должно напечатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. Ничего антинародного в них нет, — об этом ни один художник, здравый умом, никогда не помыслит, — но в них есть дыхание таланта и яркость, и блеск раскрепощенной художественной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни, а подчас в них слышится боль и гнев за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся ярыми его друзьями и охранителями.

Разумеется, все вышесказанное относится и к неизданным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть почти все им написанное — это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия, кому суждено прославить ее в мире и ответить нам на все больные вопросы выстраданной нами трагедии, — не знаю иного автора, кто имел бы больше права и больше силы для такой задачи. Не в обиду будь сказано съезду, но, вероятно, 9/10 его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр же Солженицын, гордость русской литературы, донесет свое имя подалее. И если ему сейчас физически трудно выполнить свою задачу, по причинам достаточно вам известным, изложенным в его письме, то не дело ли съезда, не честь ли для него — защитить и оберечь этого писателя от всех превратностей его индивидуальной судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск и конфискация архива, «закрытые» издания вещей, к из-

данию самим автором не предназначенных, вдобавок еще гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... — читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происходит в пролетарском государстве. Это происходит на 50-м году Революции. Это происходит, наконец, в цивилизованном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу объявить писателя «врагом народа», — в конце концов, это был бы честный бандитский прием, к которому нам ли привыкать! — нет, воспользовались приемом сявок, недостойных находиться в приличном месте, подпустили слух исподтишка, дабы скомпрометировать писателя в глазах его читателей, хоть как-нибудь объяснить его вынужденное молчание... Такого парадокса еще не видала история демагогии — официальные общественные организации, пущающие анонимку на честного человека! Ведь даже Чаадаев был объявлен сумасшедшим высочайше, то-бишь открыто.

И вот я хочу спросить полномочный съезд — нация мы подонков, шептунов и стукачей, или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы здесь при чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую, зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда он искал ответа?

Мы в это время выслушивали приветствия г-на Дюрренматта и г-жи Холлмен. Что же, это тоже дело, как и единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией. Но пройдут годы и нас спросят — что сделали мы для самих себя, для своих ближних, которым так трудно было жить и работать.

Письмо Солженицына стало уже документом, который обойти молчанием нельзя, недостойно для честных художников. Я предлагаю съезду обсудить это

письмо в открытом заседании, вынести по нему новое и недвусмысленное решение и представить это решение правительству страны.

Извините все резкости моего обращения — в конце концов, я разговариваю с коллегами.

Уважающий вас
Г. Владимов

Москва, 26 мая 1967 г.

ПИСЬМО А. Е. КОСТЕРИНА М. А. ШОЛОХОВУ

Михаил Александрович!

Долго не мог решить, — есть ли смысл писать вам? Сомнение такого рода вполне понятно.

После вашего выступления на XXIII съезде КПСС к вам с умным и мужественным письмом обратилась Л. Чуковская. Это письмо, полагаю, имело целью не только разоблачить человеконенавистнический характер вашего выступления, но и помочь вам осознать опасность для вас, как писателя, того пути, на который вы встали.

Вы с высоты своего «величия» не изволили «заметить» это письмо. Сделать это было тем более удобно, что те, кто блюдет «чистоту» нашей печати, закрыли для письма все пути на страницы нашей печати. Поэтому я вправе думать, что вы, как литературная «звезда» сверхмощной яркости, в лучах славы и в гуле колокольного трезвона вокруг вашей персоны, не увидите меня и не услышите моего голоса.

Ведь я — простой солдат революции, рядовой армии большевиков. Я отдал свое перо на службу революции с 1914 года, а в начале 1915 года уже получил первый «гонорар» — полгода тюрьмы и ссылку под надзор полиции. После огненных лет революции я сменил винтовку на перо, всегда был, как литератор, на передовых позициях... и получил, в общей сложности, 20 лет тюрьмы, лагеря и ссылки (включая и царские подарки).

Как видите, мои «награды» несколько отличаются от ваших. Но это так, к слову, — одна деталь той по-

зиции, которая нас разъединяет. Нас многое что разъединяет, но — увы! — ничто не соединяет.

Под воздействием последних событий в литературной жизни я как бы прошел весь страдный путь, который выпал на долю советских писателей и журналистов. Солженицын в своем мужественном письме съезду писателей указал ничтожно малую дозу тех бедствий, которые обрушились и продолжают валиться на наши головы.

Сотни писателей и поэтов, «без вести пропавших» в тюрьмах и лагерях!

Только от одного этого факта даже меня, старого каторжанина, жуть берет, тем более, что среди погибших — немало моих друзей. А сколько вышло физически и морально искалеченных, сколько таких, которые уже не имели сил встать в ряды пишущих? А чувствовать себя неспособным восстановить, воскресить силы для писателя — не менее ужасно, чем смерть. Если же эти факты оживить — осветить по именам и национальному составу, то пережитое нашей литературой предстанет еще более кошмарным.

Только один пример.

У марийского народа, согретого лучами Октябрьской революции, к середине 30-х годов стала создаваться своя письменная литература, появились свои поэты и писатели. А во времена сталинского лихолетья марийскую литературу скомкали, затоптали в болота, многих зачинателей уничтожили, а имена их стерли. Только после XX съезда партии в марийской литературе наметилось оживление.

А что было в таких ведущих литературах, как русская и украинская, ведомых именами с мировой известностью?

Ведомых другими, но не вами, хотя вы — тоже мировая известность. Но это — конъюнктурная ошибка. История ее исправит.

Коротенько скажу, почему я вас считаю «конъюнктурной ошибкой».

Искусство долговечно только в силу той правды, которую оно несет народам. А ваши произведения лживы. Русский рабочий класс и крестьянство, интеллигенция и национальности, входившие в Российскую империю, хорошо знают, что такое казачье сословие, как оно держало монархию и как питало контрреволюцию. В Баку и Саратовской губернии я узнал, как лихо работают казачья нагайка, шашка и пуля при расправе с безоружными рабочими и крестьянами.

«Казачья Вандея» страшной и грозной тенью висела над молодой Советской республикой все три года гражданской войны.

А вы в вашем «Тихом Доне» пытаетесь реабилитировать казачье сословие и описываете его, как обычное крестьянство. В этом — большая, принципиально важная ложь.

Еще большая ложь в вашей «Поднятой целине». Коллективизация по-сталински, грубейшим образом нарушив ленинский кооперативный план, шла совершенно не так, совсем по-иному воспринималась и переживалась всем народом и казачеством в том числе. И ваш герой Давыдов не бандитами убит, а погиб в тюрьме или лагере. Я это знаю потому, что своими глазами видел, что творилось в деревне и в казачьих станицах, а потом свои наблюдения проверил на Колыме.

Вот так, — поразмыслив над тем, какой страдный путь прошла советская литература, сколько жертв принесла на алтарь бюрократизма, я, солдат революции призыва 1914 года, решил: я не должен, не имею права молчать, потому что «не тиран нам ненавистен, а ненавистна наша немота». До сих пор меня волнуют слова Миши Светлова, который, встретив меня после реабилитации, обнял и сказал:

«Алеша, не говори, не рассказывай... я знаю все... и поверь, — мне было хуже — я чувствовал себя подлецом».

Только потому, что он не был с нами в лагере и вынужден был молчать. А Фадеев, по иным причинам, если верить слухам, почувствовав себя подлецом, пулей в сердце оправдался перед современниками.

Кроме тех, погибших в тюрьмах и лагерях, погибли для литературы сотни других «нищих духом», которые шли по вашему пути, по пути приспособленчества «во имя злата и славы». История развенчает и их конъюнктурную славу.

А теперь перейду к основной теме своего письма, — о цензуре над нашей литературой. Правильно Солженицын пишет в своем письме, что многие чувствуют беспощадность «Прокрустова ложа» цензуры.

И у меня есть произведения, которые возвращены мне из редакций нескольких журналов.

— Неплохо, но — увы! — не пройдет.

И у меня есть книжка, которую дважды посылали «на консультацию» (как тяжело больного к профессору-специалисту)... в Комитет госбезопасности! Потеряв, в результате «консультации», целые главы и многие абзацы, и даже реплики, книга стала рахитичной, бесцветной, просто жалкой «безноженькой» (по Вертинскому).

И я непрерывно чувствую и чувствовал за все время после реабилитации, как «некто в сером» держит мою руку с пером, давит на мозг и сердце, толкает на асфальтированный путь к славе, к признанию.

Знаю по себе и по ряду других писателей, как из произведений вырезают правду дня и правду истории, заставляют молчать о явлениях, в корне искажающих марксистско-ленинское учение.

Вот вы, например, — один из тех, к т о — по неразумению или намеренно — искажает Ленина.

Вы взяли выдержку из письма Ленина, в котором он разъясняет, почему в 1921 году, когда еще не окончилась гражданская война, а страну потрясали голод, разруха, бандитизм — почему нельзя было допустить

свободы печати «от монархистов до анархистов». Взяв эту цитату, вы «забыли» некоторые «мелочи».

Например то, что сейчас не 1921 год, когда анархисты и монархисты вели кровавую борьбу с молодой Советской властью. Сейчас даже вопрос о свободе печати не должен был бы стоять. Речь идет о том, кто и по какому праву лишил советских граждан (не монархистов и анархистов, от которых и следа не осталось, а честных советских трудящихся!) их конституционного права?

Вместо того, чтобы ответить на этот очень простой и ясный вопрос, вы уводите разговор в сторону. Козырнув цитатой Ленина, вы демагогически спекулируете на войне во Вьетнаме, на ЦРУ, американских сенаторах, российских анархистах и монархистах, и требуете от писателей отказаться от своего конституционного права.

Вы выступили против свободы печати, против свободы творчества и, таким образом, скатились в лагерь мракобесов, в лагерь душителей свободной мысли, без чего не может быть прогресса, т. е. дальнейшего пути к коммунизму.

Вас можно благодарить лишь за одно. Вы не последовали примеру тех не в меру старательных сталинцев, которые утверждают, что у нас в стране — «самая полная в мире свобода печати». Александр Солженицын в своем письме очень убедительно доказал, что такой свободы у нас нет и в помине, показал, как измываются над правами писателей, какое пренебрежительное отношение бытует у нас к людям творческого труда. Вы молча согласились с его доводами, и тут же призываете анафему на головы поборников свободного творчества.

Факты, приведенные Солженицыным, можно было бы дополнить десятками и сотнями других. Но Солженицын ошибается, думая, что стоит лишь отменить Главлит и вмешательство КГБ в дела литературы, — и наступит царство «свободы печати». Нет, для достижения этого необходимо еще обеспечить использование

бумаги и типографий в интересах трудящихся, т. е. использовать ее так, как предлагал Ленин.

А писал он по этому поводу вот что:

«Капиталисты (а за ними, по неразумению или по косности, многие эсеры и меньшевики) называют «свободой печати» такое положение дела, когда цензура отменена и все партии свободно издают любые газеты.

На самом деле это — не свобода печати, а свобода обмана угнетенных и эксплуатируемых масс народа...

Свобода печати означает: все мнения всех граждан свободно можно оглашать».

Но Ленин на этом не останавливается. Из области отвлеченной, так сказать, теории, он переносит вопрос в область практической реализации, указывает конкретные пути достижения такой подлинной свободы печати. Он пишет далее (статья: «Как обеспечить успех Учредительному собранию»):

«Государственная власть, в виде Советов, берет все типографии, всю бумагу и распределяет ее справедливо: на первом месте — государство, в интересах большинства народа...

На втором месте — крупные партии и затем — *любая группа граждан, достигшая определенного числа членов или собравшая столько-то подписей...*» (выделено мною. — А. К.)

Вот как высказывается Владимир Ильич о свободе печати до Октября. Ну, а какой была его точка зрения на этот вопрос после захвата власти большевиками?

Обратимся к его выступлению на Первом конгрессе Коминтерна:

«Действительной свободой и равенством будет такой порядок, который строят коммунисты и в котором не будет взможности обогащаться за чужой счет, не будет объективной возможности ни прямо, ни косвенно подчинять прессу власти денег, не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа трудящихся любой численности) имел и осуществлял равное право на

пользование общественными типографиями и общественной бумагой».

Вот так, Михаил Александрович, следует понимать свободу печати по-ленински. Эти указания Ленина в 20-х годах были проведены в жизнь. Мы имели «Московское товарищество писателей», свободное от назначенных редакторов и цензуры, (за исключением военной); мы имели право даже на «авторское издание». В журналах и газетах шли дискуссии не только на литературные темы, но и по вопросам большой принципиальной важности. Для журналов и газет также не было цензуры, кроме военной.

Так было, учтите, у нас в классовом обществе, в условиях острой борьбы с недобитками буржуазии, с идеологами эсерства (особенно, в кооперации), с кулачеством, с церковниками. И это было правильно, необходимо, ибо те теории, науки, учения, которые не знают дискуссий, идут в могилу.

Сейчас же не только «всякий трудящий (или группа трудящихся любой численности)», но и рядовой член партии лишены возможности свободно оглашать свое мнение в печати. Дело дошло до того, что невозможно даже опубликовать протест по поводу извращений истории или классиков марксизма, что нередко наблюдается в нашей прессе.

И это происходит в стране, в которой, накануне 50-летия, декларируется:

«Победа социализма создала экономические, социальные, политические и духовные предпосылки для перехода к строительству коммунистического общества» (см. «Тезисы ЦК»).

Это происходить в стране, народ которой общим участием в борьбе с фашизмом доказал верность идеям Маркса-Энгельса-Ленина. А вы, Михаил Александрович, боитесь мнений и суждений этого народа? Вы хотите этот народ лишить его конституционного права на свободу печати?

Требуя свободы печати, Солженицын вместе с тем ждал от съезда писателей защиты от произвола, творимого над ним лично. Вы, конечно, письмо Солженицына читали. И как вы откликнулись на этот крик о помощи? Чем помогли собрату по перу, как, скажем, русская общественность некогда шла на помощь Максиму Горькому?

Нет, вы пошли другим — закономерным для вас — путем. Вы, фактически, ответили на письмо Солженицына с трибуны съезда, заведомо зная, что автору письма не будет предоставлена трибуна ни на съезде, ни в печати. Вы присоединили свой голос к тем, кто систематически травит талантливого писателя. Название такому поступку дайте сами, так как мне в этом случае трудно отрешиться от некоторых определений «колымского стиля».

В своей безмерно раздутой самовлюбленности вы не считаете для себя обязательным говорить с делегатами съезда уважительно и серьезно. Вы полагаете, что с ними достаточно играть роль деда Щукаря, которому дозволительны и пошлое балагурство, и злопыхательство, и пренебрежение к товарищам по литературному цеху, которые возмущаются нестерпимыми цензурными тисками.

Трудно без возмущения читать вот эти слова, достойные черносотенца:

«Мир охвачен тревогой и беспокойством. А коекому хочется «свободы печати» для всех — «от монархистов до анархистов».

Что это — святая наивность или откровенная наглость?

Эти алчущие «свободы» пытаются вести свою тлетворную работу среди наших молодых. Нет, господа, ничего не выйдет у вас!»

Так мы, требующие восстановления ленинских указаний о печати, правды — даже самой жестокой и беспощадной — в искусстве и в истории, борьбы с бюро-

кратией по-ленински, мы для вас — «господа», «тлетворно» влияющие на молодых?!

Это — не единственная гнусность в вашем балагурстве на съезде.

Что ж, каждое время имеет своих булгариных!

Советую вам, господин Шолохов, прочитать дневник Никитенко, бывшего цензора времен Николая I. Он, этот чиновник тирана, всеевропейского жандарма, был по своим мыслям и делам, культурней и благородней вас.

Вот, что он, этот цензор и преподаватель литературы, записал в декабре 1844 года:

«Я должен преподавать русскую литературу, — а где она? Разве литература у нас пользуется правами гражданства? Остается одно убежище — мертвая область теории. Я обманываю и обманываюсь, произнося слова: развитие, направление мыслей, основные идеи искусства. Все это что-нибудь и даже много значит там, где существует общественное мнение, интересы умственные и эстетические, а здесь — просто швырянье слов в воздух. Слова, слова, слова! Жить в словах и для слов, с душою, жаждущей истины, с умом, стремящимся к верным и существенным результатам — это действительно глубокое злополучие».

Никитенко, чиновник Николая Палкина, не имея мужества открыто и смело выступить против цензуры, хоть не защищал ее в открытых выступлениях и «отводил душу» в разговоре со своим дневником. А вы выходите на самые высокие трибуны и, с балагурством Щукаря, на весь мир возглашаете истины, достойные Скалозуба и Фамусова.

Для вас и подобных вам ленинский период партии, тот образ жизни, мышления и творчества в нашей стране, нормы общественной и партийной морали, свободы слова и печати, — все это «не существовало», для вас это — вымысел, «то, чего не было» (по Ропшину-Савинкову).

Недавно, выступая в Вешенской перед молодыми писателями, вы, как сообщила «Комсомольская правда», заявили:

— Я — ценитель красоты и мужества!

Извините, что-то я этого не заметил (судя по вашему поведению и творчеству), но ловлю вас на слове.

Если вы, действительно, мужественны и верите в то, что защищаете правое дело, то не прячьтесь за спины тех, кто до сих пор лишает слова ваших оппонентов. Выходите на честный литературный бой. Добейтесь опубликования писем Л. Чуковской, А. Солженицына, а также этого моего и дайте на них открытый ответ.

Нет, и в этот раз вы укроетесь за заборы своей усадьбы, охраняемой милицией.

Подписываюсь под письмом Л. Чуковской и ее утверждением, что вы своими выступлениями вычеркнули себя из числа честных писателей и сами себе роете бесславную могилу.

А. Костерин

Июль, 1967 г.

Москва, Д-22, М. Грузинская 31, кв. 70.
Тел. Д 2-40-34.

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР

Всем секретариям Правления

Мое письмо IV съезду Союза писателей, хотя и поддержанное более чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразно, по-видимому централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но все это — ложь, как вы знаете.

Секретари Правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах обо мне распространяется новый фантастический вздор — вроде того, что я бежал в Арабскую республику, не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорее). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобожден оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования.)

Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца — четверть года! — и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря Правления не оказались

способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о ее печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого позволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966-го. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако, не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать, и не надо уже будет голосовать о включении или невключении ее в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить ее печатать, если мы хотим ее появления сперва на русском языке, что в таких условиях мы не можем остановить ее неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть и по желанию?) Секретариата Правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно.

Солженицын

12 сентября 1967 г.

ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
22 сентября 1967

Присутствовало около 30 секретарей СП и т. Мелентьев от Отдела культуры ЦК. Председательствовал К. А. Федин. Заседание по разбору писем писателя Солженицына началось в 13 часов, окончилось после 18 часов.

Федин. Второе письмо Солженицына меня покоробило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца — совсем небольшой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной! Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком браться за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжается линия первого, но там более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печатании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его *тон* в непозволительную сторону. Читая письмо, ощущаешь его как оплеуху — мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов, своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашел я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что мало говорить в общем по письмам.

Солженицын просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:

«Мне стало известно, что для суждения о повести «Раковый корпус» секретарям Правления предложено было читать пьесу «Пир победителей», от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры, кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Ш-232 в те далекие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу, и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом, ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не хотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой пьесе отпечаталась безвыходность лагеря тех лет, сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор ее есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести «Раковый корпус». Кроме того, недостойно писательской этики — обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры *таким* способом. Разбор же моего романа «В круге первом» есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести «Раковый корпус».

К о р н е й ч у к. У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежуется? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?

Ф е д и н предлагает Солженицыну ответить.

С о л ж е н и ц ы н указывает, что он — не школьник вскакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.

Ф е д и н говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.

Б а р у з д и н. Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы «Пир победителей», но нам волей-неволей приходится говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу в письме съезду, упоминать ее?

С а л ы н с к и й. Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъял эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?

Ф е д и н предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.

С о л ж е н и ц ы н повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.

Ф е д и н, поддержанный другими. Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.

Р о п о т г о л о с о в. Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.

С о л ж е н и ц ы н. Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио *до* съезда: его стали передавать уже *после* закрытия съезда, и то не сразу. *(Далее буквально):* «Здесь употребляют слово «заграница» и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута

в письме съезду? — это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал. *(Далее буквально):* «Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим еще человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не мое нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Все это — ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже не предъявлялось. Хранение мое было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушивателем в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия — она единым толчком обнаруживается в разных местах страны: лектор Потемкин только что изложил ее многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП — московским писателям. Причем от себя он добавил и свое измышление: что все это я будто бы признал на прошлой встрече в Секретариате. А об этом у нас и разговора не было». Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии.

В о п р о с: Отвергнута ли редакций «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?

А б д у м о м у н о в. Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?

Т в а р д о в с к и й. Вообще решение печатать или не печатать ту или иную вещь — в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.

В о р о н к о в. Солженицын ни разу не обращался непосредственно в Секретариат Союза писателей СССР.

После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы — поговорить и помочь. Но после того, как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует...

Твардовский. Ну, точно, как Союз писателей!

Воронков. ...это желание отпало. А тут вот появилось второе письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», давшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот — я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи — ваши, и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы, естественно, сами запросили — почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления — так и печатайте сами, причем тут Секретариат?

Твардовский. А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали — и все равно не напечатали.

Воронков. Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?

Мусрепов. И у меня вопрос. Как это он пишет в письме: более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?

Шарипов. И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?

Федин предлагает Солженицыну ответить на заданные вопросы.

С о л ж е н и ц ы н. Да то ли еще обо мне говорили? Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, *он* бы тогда же приговорил меня к расстрелу!.. Здесь мое второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или ее на Западе напечатают. Но этот ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня беспокоит распространение повести в сотнях — эта цифра на глазок, я ее не подсчитывал — в сотнях машинописных экземпляров.

Г о л о с. Как это получилось?

С о л ж е н и ц ы н. А вот такое странное свойство обнаружилось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать — за счет своего досуга или своих средств перепечатывают и дают читать дальше. Новую часть повести еще год назад перечитала московская секция. Я удивляюсь, почему тут т. Воронков сказал — не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили мои «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетелись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказики и там уже напечатаны. Вот чтобы такая утечка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал свое настоятельное письмо Секретариату. Я не меньше могу удивляться, как мог Секретариат нисколько не реагировать на мое письмо съезду — еще *прежде* Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Т. Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клевещут на меня.

Твардовский. Не все безучастны.

Солженицын. ...А редакторы газет, тоже братья, не помещают моих опровержений. *(Далее буквально):* «Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: ее не пропускали в лагеря, изымали обысками и сажали за нее в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича» и обещали, что «это не повторится». Но за последнее время книгу стали тайно изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать ее мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплете, или на руках, или доступа нет к тем полкам, и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма: «В районной библиотеке мне по секрету (я — активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь «Один день» в журнале-газете, другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: «Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в Особый отдел, то опасно ее кому-нибудь дарить!»

Не скажу, что книга изъята из *всех* библиотек, коегде еще есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в Рязанской областной читальне: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте. Но когда столкнешься с клеветою сам, да еще с невиданной новой формой ее — клеветою с трибуны, то диву даешься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например в Болшево, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же все записывается и разносится дальше с коэффициентом сто. В Соликамске (п/я 389) майор Шестаков объ-

явил, что я бежал по туристской путевке в Англию. Говорит заместитель по политчасти — кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально *запрещено писать!* Ну, тут он хоть близок к истине.

Еще так обо мне заявляют с трибун: «Его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату...»

Твардовский. И там боевая характеристика офицера Солженицына!

Солженицын. «А вот «*досрочно*» — это очень смачно употреблено! Сверх восьмилетнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем *без приговора* получил *вечную* ссылку, с этой *вечной* обреченностью просидел *три года* в ссылке, только благодаря XX съезду освобожден — это называется *досрочно!* Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949-56 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз — значит освобожден «досрочно»... Ведь срок — вечность, и что раньше — то все досрочно.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комичных обвинений было такое: «Солженицын *материально* поддерживает капиталистический мир тем, что не берет гонорара» какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно «Ивана Денисовича», другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал — почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. «Международная книга»? Иностранная комиссия СП? — сообщите: вот, мол, твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берет гонорары с Запада —

тот продался капиталистам, кто не берет — тот их материально поддерживает. А третий выход? — на небо лети? Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы Всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли ее дальше. Например, ее повторил 16 июля этого года лектор А. А. Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! — умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки — материально укрепить мировой капитализм! Действительно, история для цирка. Вот такую чушь обо мне рассказывает всякий, кому не лень. 12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование — такое мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время — и вдруг слухи по всей Москве, все рассказывается не так, как было, все вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто были, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что тут говорится, но где гарантии, что и после сегодняшнего Секретариата опять всё не вывернут наизнанку?

И если уж «братья по перу и по труду», так — первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем Секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.

Я — один, клевещут обо мне — сотни. Я, конечно, не успею никогда оборониться и вперед не знаю — от чего. Еще меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костер Джордано Бруно, не удивлюсь».

С а л ы н с к и й. Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать — это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель невольно поддается раковой боязни, и без того распространенной в нашем веке. Это надо как-то убрать. Еще надо убрать фельетонную хлесткость. Еще огорчает, что почти все судьбы персо-

нажей в той или иной форме связаны с лагерем или лагерной жизнью. Ну, пусть Костоглотов, пусть Русанов, — но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату? В самом конце мы узнаем, что он — не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжелого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал *безнравственный* социализм — это было бы ужасно. Ели бы он проповедовал национал-социализм или национальный социализм по-китайски — это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии. Сам я думаю — социализм определяется экономическими законами. Но спорить — можно, зачем же не печатать повести? *(Далее призывает Секретариат решительно выступить с опровержением клеветы против Солженицына.)*

Симонов. Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» — я за публикацию. Мне не всё нравится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть, что-то из делаемых замечаний автору надо и принять. А всё принять, конечно, невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить — вот там-то, в предисловии, будет хороший повод рассказать его биографию — и так клевета отпадет сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем *мы,* а не он сам. «Пира победителей» я не читал, и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.

Твардовский. Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, непринятую форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин

не печатать «Раковый корпус», конечно, с известными доработками. Мы хотим только получить одобрение Секретариата или хотя бы — что Секретариат не возражает. *(Просит Воронкова достать уже прежде подготовленный, еще в июне, проект коммюнике Секретариата.)*

Воронков не спешит достать коммюнике. Тем временем —

Голоса. Да ведь еще не решили! Есть против!

Федин. Нет, это неверно. Секретариат не должен ничего печатать и опровергать. Неужели мы в чем-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?

Твардовский *(быстро, выразительно)*. Я? — Нет.

Федин. Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи — недостаточный повод. Другое дело, если Солженицын *сам* найдет повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах *чего* мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ, — вот мы его и напечатаем, поможем вам. Именно с этого должно начаться ваше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли — сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопись — три месяца? четыре? Разве это страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях.

(Одобрение среди членов Секретариата.)

Корнейчук. Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы по-

мочь вам выйти из этого тяжелого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответов. Отдаете ли вы себе отчет: идет колоссальная мировая битва и в очень сложных условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем свое правительство, свою партию, свой народ. Вы тут (иронически) высказались о заграничных поездках как о приятных прогулках. Но мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измученные, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу не по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях, кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря — и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления — только прокурорские. «Пир победителей» — это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ ее читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м *нам* приходилось переживать!! — но ничто не остановило нас! Правильно сказал вам Константин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие, и, несмотря на все наши мирные усилия, Соединенные Штаты могут его применить? Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?

Солженицын. Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы это было исключено из рассмотрения!

Сурков. На чужой роток не накинешь платок!

Кожевников. Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз *о серьезности* отношения Се-

кретариата к письму. Если бы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острей и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что это за антисоветские рукописи. Я потратил много времени на их чтение. По-видимому, документально доказана военная служба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» еще не совпал с моим восприятием этой пьесы. Может быть потому, что и в «Круге первом» и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матренина двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетания всевозможных ужасов, но все-таки главный план его — не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы вымогаете публикацию своей недоработанной повести. Достойно ли такое вымогательство писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.

С о л ж е н и ц ы н *(буквальнo)*: «Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную бессмыслицу обсуждать произведение, написанное 20 лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, — часть ораторов сосредоточивается именно на этом произведении. Это гораздо бессмысленнее, чем, например, на 1-м

съезде писателей поносить бы Максима Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь *были* опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что «такого не было и не будет, и в истории русской литературы такого не было». Вот именно!

О з е р о в. Письмо съезду оказалось политически странным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти лишь при условии исправления рукописи и дискуссии по проведенным исправлениям. Тут предстоит еще очень серьезная работа. Повесть разнослойна по качеству, есть в ней и удачи и неудачи. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить. Философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.

С у р к о в. Я тоже читал «Пир победителей». Ее настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же. Кто изо всех персонажей вошел в мир героя? Только этот странный Шулубин, так же похожий на коммуниста, как я на... (пропуск), Шулубин, с его бесконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьева, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражаетесь, *вышку*, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта не физиологическая, это —

политическая повесть, и упирается она в вопрос концепции. И потом этот идол на театральной площади, хотя памятник Марксу еще не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть поднята против нас и будет посильней мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы упредить появление повести на Западе, но — трудно. Вот я был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать «Реквием», походил он несколько недель и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и настолько искушен, что его никакая книжка не уведет от коммунизма, а все-таки произведения Солженицына для нас опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын — с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек. Мы — первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамен! «Нравственный социализм» — это довольно обывательский социализм, старый, примитивный и *(в сторону Салынского)* не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.

С а л ы н с к и й. Да я его не защищаю вовсе.

Р ю р и к о в. Солженицын пострадал от тех, кто его заклеветал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет. Солженицыну, если отказываться, то и от — «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатова — честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя — в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако, вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский испрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза писателей разрешения — печатать или не печатать. *(Просит Солженицына отнестись с доверием*

к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу».)

Баруздин. Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матренин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показаны Сталин, Абакумов и Поскребышев. «Раковый корпус» — антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому надо было идти пути». Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на съезде? Сколько съезд получил писем?

Воронков. Около пятисот.

Баруздин. Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? Я согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш Секретариат должен чаще превращаться в советнический орган и охотно давать советы редакторам.

Абдумомунов. Это очень хорошо, что Солженицын нашел мужество отказаться от «Пира победителей». Найдет он мужество и подумать, как выполнить предложение Федина. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» — еще будет больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что это значит — «насыпал табаку в глаза макаке-резус — просто так»? Как это — просто так? Это — против всего нашего строя высказывание. В повести есть русановы, есть великомученики от лагеря — и только? А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так беспросветно. Много длиннот, повторов, натуралистических сцен — все это надо убрать.

Абашидзе. Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создалось такого впечатления, чтоб этот

роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может быть, самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность впасть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник — как ребенок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил Константин Александрович: пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть сперва для внутреннего употребления.

Бровка. В Белоруссии много людей, тоже сидевших — например, Сергей Граховский тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не советская власть виноваты в беззакониях. Записки Светланы Аллилуевой — это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеется. А тут перед нами — общепризнанный талант, вот в чем опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете ее радости. «Раковый корпус» — слишком мрачно, печатать нельзя. *(Как и все предыдущие и последующие ораторы, поддерживает предложение К. А. Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма.)*

Яшен *(ругает «Пир победителей»).* Автор — не измучен несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть среди Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить его исключить из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию лучше. Вот, например, молодой Икрамов. В «Раковом корпусе» — конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет, кроме Гитлера, «еще

других». Кого это? — непонятно. Берия? *(Все же оратор поддерживает «мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором». А после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу.)*

Кербабаев. Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все — бывшие заключенные, все — мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлагает герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девяносто девять плачут, один смеется» — это как понять? Это — про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только черное? А почему я не пишу черное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если б он отказался от «Ракового корпуса» — вот тогда я б обнял его как брата.

Шарипов. А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него все советское представлено отрицательно и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные и залежные земли и идет от успеха к успеху.

Новиченко. Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать все печатать. Это что ж тогда — и «Пир победителей» печатать? По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я — не ребенок, мне тоже придется умирать и, может быть, в таких же мучениях, как героям Солженицына. И здесь-то важнее всего будет: какова твоя совесть? каковы твои моральные резервы? И если бы роман ограничивался этим, я бы считал нужным печатать. Но — низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь — карика-

турная сцена с дочкой Русанова. Идейно-политический смысл нравственного социализма — это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина — «Во всех стихиях человек / Тиран, предатель или узник!» — это оскорбительная теория... Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов — отвратный тип, правдиво изображен. Но недопустимо, что он становится из типа — носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведен до определенной кондиции — он не станет романом соцреализма, но будет явлением, талантливым произведением. Прочел я и «Пир победителей» — и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.

М а р к о в. Состоялось ценное обсуждение. *(Оратор только что приехал из Сибири, пять раз выступал перед массовой аудиторией.)* Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Только в одном месте подали записку — я прошу извинения, но именно так было написано: «А когда этот Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» Мы ждем от Солженицына совершенно честного ответа на буржуазную клевету, ждем выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю как и Сурков. Вещь стоит все-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических законов. «Кто-то сделал» — безвестные адреса. При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребуется

очень серьезная работа. А сегодня пускать в набор, конечно, нельзя. Что же дальше? Конструктивно: А. И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника — а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. Все же я продолжаю считать его нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А. И., оказались по *вашей* вине, а не по чьей другой. Предложения об исключении из Союза? — при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.

С о л ж е н и ц ы н. Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов, я могу упрекнуть вас всех в том, что вы — не сторонники теории развития, если серьезно предполагаете, что за двадцать лет и при полной смене обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьезную вещь: Корнейчук, Баруздин и еще кто-то высказался так, что «народ читает» «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каждое слово мое будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдет широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся *ответственность* за это ляжет на ту организацию, которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы. Организация делает это при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрестанно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, ее возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок — я предупреждал! И сейчас предупреждаю!

Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что рак и раковый корпус — не медицинский предмет, а некий символ. Отвечу: подручный

же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и все стадии умирания. Слишком густой замес — для символа, слишком много медицинских подробностей — для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам — они признали ее с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно *рак*, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймет, какой это «символ».

Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот — это преодоление смерти жизнью, прошлого будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы скрывать от него правду, смягчать ее, а говорить истинно то, как оно есть, как ждет его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:

Не люби поноровщика, люби спорщика.
Не тот доброхот, у кого на устах мёд.

Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта, к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяженного человечества, которые зародились в незапамятной глуби тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.

Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно, и отсюда роди-

лись извращенные представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеется» — это ходовая лагерная пословица; к тому типу, который лезет без очереди, Костоглотов подходит с этой пословицей, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это — про весь Советский Союз. Или — макака-резус, она два раза там встречается,* и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим табаку в глаза, подразумевается конкретно Сталин. А что мне возражали, что *не* «просто так»? Но если *не* «просто так» — так значит это было закономерно? Необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же — поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение дает такой промах, вы не поняли этой сцены? Шулубин приводит учение Бэкона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» — и Костоглотов пытается это себе представить: рынок, а посреди возвышается сизый идол; Шулубин говорит — «идолы театра» — и Костоглотов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, так значит на театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идет о Москве и о памятнике Марксу, еще не поставленном?..

Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам — и он оказался за границей. А «Раковый корпус» ходит (1-ая часть) уже больше года. Вот это-то меня и беспокоит, вот потому я и тороплю Секретариат. Еще тут был мне совет товарища Рюрикова — отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого — руку на сердце положа — никогда не откажусь.

Р ю р и к о в. Я не сказал — отказаться от продол-

---

* В последующей редакции автор в конце повести вычеркнул упоминание о макаке-резус.

жения русского реализма, а от истолкования этой роли на Западе, как они делают.

С о л ж е н и ц ы н. Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно *публичности* я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса». Решено было Секцией прозы — послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились мне-то дать, автору. И сегодняшнюю стенограмму — я надеюсь, Константин Александрович, получить ее?

Спросил К. А.: «В интересах чего печатать ваши повести?» По-моему, это ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К. А., что *развязать* ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот — и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу писателей. Мне каждую строчку вычеркивают, а у Союза в руках вся печать. Я все равно не понимаю и не вижу, почему мое письмо не было зачтено на съезде. Теперь К. А. предлагает бороться не против *причин,* а против *следствий,* против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я написал опровержение — а *чего* именно? Не могу я вообще выступить по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моем есть общая и частная части. Должен ли я отказаться от *общей* части? Так я и сейчас все так же думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо — о чем?

Г о л о с а. О цензуре.

С о л ж е н и ц ы н. Ничего вы тогда не поняли, если — о цензуре. Это письмо — о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение. Говорят нам с Запада: умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать,

а романы опубликовывать, — такие, чтоб там глаза зажмурили, как от яркого света, притихнет тогда «новый роман», и окостенеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранен, не поправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это *вы* расчистите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: опубликуйте, во-первых, мое письмо, затем — коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите, что из восьми пунктов исправляется — вот тогда и я смогу выступить, охотно. Мое сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хотя я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано без всяких условий — а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?

Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается и вспыхивает все новая против меня клевета. Опровергать ее можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляли меня в сталинских лагерях.

Ф е д и н. Нет, очередность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний вашему таланту и стилю, вы найдете форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы — такая реплика не имеет твердого основания.

Т в а р д о в с к и й. А само письмо будет при этом опубликовано?

Ф е д и н. Нет, письмо надо было публиковать тогда, вовремя. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?

Солженицын. Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?

Федин. Это потом уже посмотрим.

Солженицын. Ну, я уже ответил, и все, надеюсь, застенографировано точно.

Сурков. Вы должны сказать, отмежевываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции в нашей стране, которую вам приписывают на Западе?

Солженицын. Алексей Александрович, ну, уши вянут такое слышать — и от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции! Как это вяжется?

Несколько коротких выступлений, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым.

Голоса. Он подумает!..

Солженицын еще раз говорит, что такое выступление ему первому невозможно, отечественный читатель и не будет знать, о чем речь.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕДАКТОРА «ПРАВДЫ» ЗИМЯНИНА В ДОМЕ ПЕЧАТИ В ЛЕНИНГРАДЕ

5 октября 1967 года

Поговорим о нашей литературе. В последнее время в западной печати усиленно муссируются имена некоторых наших литераторов, выступления которых льют воду на мельницу наших врагов. Кампания печати западных стран в защиту и по поводу Тарсиса закончилась лишь тогда, когда его заполучили на Западе и убедились сами, что он сумасшедший.

Сейчас большое место в пропаганде капиталистических государств занимает Солженицын. Это тоже психически ненормальный человек, шизофреник. Он был в плену, а затем за дело или без дела был репрессирован. Свою обиду на власть он высказывает в своих произведениях. Лагерная тема — единственная в его творчестве, и он не может выйти за её пределы. Она, эта тема, его навязчивая идея. Произведения Солженицына направлены против советского строя. Он выискивает в нём только язвы и раковые опухоли. Ничего положительного в нашем обществе он не замечает.

Мне по роду службы приходится читать и неопубликованные произведения и я читал пьесу Солженицына «Пир победителей». В пьесе речь идет о репрессиях, которые обрушились на вернувшихся с фронта. Это самое настоящее антисоветское произведение. За такие в прежние времена сажали.

Понятно, что мы не можем его печатать. Требование Солженицына о том, чтобы его произведения печатались, удовлетворено быть не может. Будет писать произведения отвечающие интересам нашего общества,

— будут его и печатать. Куска хлеба его никто не лишает. Солженицын — преподаватель физики, вот и пусть себе преподает. Он очень любит публичные выступления и часто выступает в различных аудиториях с чтением своих произведений. Такая возможность ему дается. Считает себя гениальным писателем.

Среди других имен, которые наиболее часто упоминаются в западной прессе, следует назвать Евтушенко и Вознесенского. У нас прекрасная поэзия и очень много поэтов, пишущих замечательные стихи. Но на Западе почитают, в основном, только этих двоих, потому что находят в их творчестве выгодные моменты для своей пропаганды. Мы не можем, конечно, творчество этих поэтов, как Солженицына, считать антисоветским. Они пишут и хорошие патриотические произведения. Они уже и не так молоды, хотя их все считают молодыми, но творчество их недостаточно политически зрело. Поэтому они иногда и льют воду на мельницу наших врагов. Я знаком с ними и говорил с ними об этом. Но они тоже вообразили себя гениями.

Вот Евтушенко. Как-то на узком совещании секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов покритиковал это. Так Евтушенко ответил ему ударом вчетверо более сильным, в десять раз более сильным. Он высмеял его в стихотворении.* Тем самым он навечно навесил на него клеймо, которое теперь ничем не смоешь. Это нечестный прием.

История с Вознесенским. В прошлом году он ездил в США, выступал там перед широкой аудиторией. Его выступления пользовались успехом и были выгодны ему материально. Он собрался снова ехать и в этом году в турне по городам Америки. Поездка была уже решена, рекламировалась в США, и в американском посольстве Вознесенским была заказана виза. В это время разразилась война на Ближнем Востоке. Наши

---

* Стихотворение, о котором идет речь, называется «Письмо Есенину».

отношения с США ухудшились. В правлении Союза писателей Вознесенскому прозрачно намекнули, что лучше бы ему не ездить сейчас в США. Одновременно правление сообщило о том, что поэт болен, в посольство США.

Что же сделал Вознесенский? Приезжаю я утром в понедельник в редакцию, просматриваю почту. Письмо от Вознесенского с обвинениями в адрес Союза писателей. Звоню ему домой. Отвечают, что уехал, а куда неизвестно. Звоню в ЦК. Там говорят, что и у нас есть письмо от Вознесенского и что они звонили ему домой, но не смогли разыскать. День проходит, другой. Вознесенского всё нет. Вдруг узнаю, что Бибиси передавало письмо Вознесенского в «Правду». Через неделю только он объявился. Оказывается, отсиживался на даче под Москвой. Пригласили его к себе. Отрицает, что передал письмо западным корреспондентам.

Я сказал ему, что на первый раз, может быть, пожурят его и тем ограничатся. Но если еще случится подобное, то его в порошок сотрут. Я сам позабочусь, чтобы от него мокрого места не осталось.

Некоторые считают, что надо было бы опубликовать его письмо и дать ему ответ. Но к чему всю эту грязь выносить на всеобщее обсуждение?

ПИСЬМО СЕКРЕТАРИАТА СП СССР А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

(Изложение)

22 сентября секретариат Правления СП обсуждал Ваши письма. Из обсуждений Вы имели возможность узнать отношение к Вам и Вашей литературной деятельности писательской общественности СССР. Резолюции тогда принято не было. Считалось, что Вы обдумаете это обсуждение и примете соответствующие решения. Секретариату хотелось бы знать, к какому решению Вы пришли.

Секретарь К. Воронков

Москва, 25 ноября 1967 г.

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА СЕКРЕТАРИАТУ СП СССР

Из Вашего № 3142 от 25 ноября 1967 г. я не могу понять:

1) Намеревается ли секретариат защитить меня от непрерывной трехлетней (мягко было бы назвать её недружественной) клеветы у меня на родине? (Новые факты: 5-го октября 67 года в Ленинграде в Доме прессы, при многолюдном стечении слушателей, главный редактор «Правды» Зимянин повторил надоевшую ложь, что я был в плену, а также нащупывал избитый прием против неугодных, объявив меня шизофреником, а лагерное прошлое — навязчивой идеей. Лекторы МГК выдвинули новые лживые версии о том, будто я «сколачивал в армии» то ли «пораженческую», то ли «террористическую» организацию. Непонятно, почему не увидела этого в деле Военная коллегия Верховного суда.)

2) Какие меры принял секретариат, чтобы отменить незаконный запрет моих печатных произведений в библиотечном пользовании и цензурное распоряжение изымать мою фамилию из упоминаний в критических статьях? (В «Вопросах литературы» так поступили даже... в переводе японской статьи. В Пермском университете подвергнута санкциям группа студентов, пытавшихся обсуждать мои печатные произведения в своем научном сборнике.)

3) Хочет ли секретариат предотвратить бесконтрольное появление «Ракового корпуса» за границей или он остается равнодушным к этой опасности? Делаются ли какие-нибудь шаги для печатания отрывков из повести в «Литературной газете», а всей повести — в «Новом мире»?

4) Нет ли у секретариата намерения ходатайствовать перед Правительством о присоединении нашей страны к международной конвенции о защите авторских прав? Тем самым наши авторы получили бы надежное средство защиты своих произведений от незаконных зарубежных изданий и бесстыдной коммерческой гонки переводов.

5) За прошедшие полгода от моего письма съезду прекращено ли, наконец, распространение незаконного «издания отрывков» из моего архива и уничтожено ли это издание?

6) Какие меры принял секретариат к возвращению мне изъятого архива и романа «В круге первом», кроме публичных заверений, что они уже якобы возвращены (секретарь Озеров, например)?

7) Принято или отвергнуто секретариатом предложение К. Симонова издать сборник моих рассказов?

8) Почему я до сих пор не получил стенограмму заседания секретариата от 22 сентября для её изучения?

Я был бы очень признателен за разъяснение этих вопросов.

А. Солженицын

Рязань, 1 декабря 1967 г.

ПИСЬМО А. ТВАРДОВСКОГО К. ФЕДИНУ

Дорогой К. А.!

Пишу Вам после нашего — какого уж счетом! — собеседования в Секретариате по вопросу, связанному с письмом А. И. Солженицына.

Это не докладная записка Первому секретарю Правления Союза писателей СССР, хотя я отнюдь не хочу в данном случае отделять глубоко мною уважаемого писателя К. А. Федина от его должностей и званий. Но я попытаюсь обойтись без всяких условностей формы и говорить с Вами напрямо, как если бы мы говорили с глазу на глаз — по образцу наших бесед под Барвихинскими кущами, или у вас на даче, или еще где-нибудь.

Начну с главного: о ком или о чем, в сущности, идет речь, когда мы касаемся этого до сих пор не решенного «солженицынского» вопроса, который питает неумолкающие, и никак не сказать, чтобы выгодные для руководства Союза писателей толки и перетолки в литературных — и не только литературных — кругах.

Вряд ли кто возразит против того факта, что фигура А. И. Солженицына с особой резкостью вычерчивается на общем литературном фоне, что этот писатель вызывает к себе особо горячие симпатии — с одной стороны — и особо жестокую неприязнь — с другой. Не будем покамест спорить, какая сторона преобладает, просто отметим самый факт, свидетельствующий по крайней мере об очевидной незаурядности этой фигуры.

Действительно, необычность литературной судьбы А. И. Солженицына, между прочим и в том, что он дебютировал в зрелом возрасте и вполне зрелым, самостоятельным мастером. «Литературное чудо» — так

озаглавил свою рецензию на рукопись «Ивана Денисовича» К. И. Чуковский, многоопытный старец, которого, как говорится, на мякину не приманишь.

Покойный С. Я. Маршак, чьи суждения были так авторитетны в литературном мире, поместил в «Правде» статью об этой правдивой, полной веры в жизнь книге. К. М. Симонов в «Известиях» приветствовал появление в литературе нового, замечательного таланта.

Нет надобности перечислять всех более или менее маститых, своих и зарубежных, тепло или восторженно встретивших первую повесть нового писателя, назову два имени: Ваше, К. А., и М. А. Шолохова.

Ваша высокая оценка на рукописи, поступившей в «Новый мир» от безвестного автора, сыграла свою роль в его судьбе: ставя вопрос опубликования ее, я особо ссылался на Вас в своем письме на имя тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева («Иван Денисович», как известно, был напечатан с ведома и одобрения ЦК КПСС).

М. А. Шолохов в свое время также с большим одобрением отозвался об «Иване Денисовиче» и просил меня передать поцелуй автору повести.

Из представителей более молодого и более многочисленного поколения писателей, пришедших в литературу из окопов Отечественной войны, назову Г. Бакланова, строки из статьи которого запомнились мне: «выходом в свет повести А. Солженицына стало ясно, что писать так, как мы до сих пор писали, нельзя». В этих словах, разумеется, нет никакого «зачеркивания» всей советской литературы известного периода — но они отражали не только личное настроение этого писателя.

Кстати, отдавая все должное Солженицыну, я не считаю его таким уж исключительным и беспрецедентным в нашей литературе. Нельзя, например, забывать, каким смелым, поворотного значения литературным фактом были «Районные будни» В. Овечкина, появив-

шиеся в «Новом мире» еще в 1952 году. Свежестью и остротой жизненного материала выделялись повести В. Тендрякова «Не ко двору» и «Тугой узел». Новым, углубленным подходом к военной теме отличалась «Пядь земли» того же Г. Бакланова. Многие страницы мемуаров И. Эренбурга, может быть, впервые в нашей литературе касались таких фактов прошлого, о которых принято было умалчивать. Можно было бы, конечно, привести и другие примеры. Не мне напоминать, но было бы «самоуничижением паче гордости», если бы я не имел в виду, что некоторые главы «Далей» и «Теркина на том свете» (в первой редакции не увидевшие света) были известны задолго до Солженицына. Но сейчас я лишь напоминаю, какое большое впечатление произвела первая повесть Солженицына, как таковая.

Были, правда, и совсем иные отклики на выступление Солженицына в литературе, относившие огромный успех лишь к сенсационности лагерного материала, — один из руководителей Союза писателей говорил, что «через три-пять месяцев об этой повестушке забудут». Однако так не случилось. В короткий срок «повестушка» принесла ее автору необычайную и все возрастающую популярность в стране и за рубежом, имя его — хотим мы этого или не хотим — приобрело мировую известность, как имя одного из крупнейших писателей современности — у меня есть основания утверждать это, и мне не возразит никто из товарищей, более моего бывавших за границей или следивших за иностранной прессой. Между тем, например, повесть Б. Дьякова, написанная на том же «сенсационном» материале, что и повесть Солженицына, действительно уже не занимает внимания ни читателей, ни писателей — так, как бы ее и не было.

Нельзя, К. А., уклоняться от того очевидного факта, что Солженицын с его «Иваном Денисовичем» — это не частный случай литературной жизни, хотя бы и примечательный, как явление редкого художествен-

ного дара. Это тот случай, когда небольшое по объему и как бы непритязательное по своим задачам произведение делает в литературе погоду, влечет за собой далеко идущие последствия. Русская классическая литература знает такие примеры — мне незачем называть их Вам. И в данном случае мы имеем не что иное, как факт благотворного воздействия на нынешнее развитие литературы, — чему бы надо только радоваться, — солженицынского образца.

Я утверждаю, что такие наиболее значительные по идейно-художественным данным произведения последних лет, как повести С. Залыгина «На Иртыше» и «Соленая падь», как роман Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары», во многом обязаны прозе Солженицына. Тут речи нет о подражательности, а лишь о развитии на ином материале и своими средствами того же принципа правдивости, который не боится жизненных сложностей, но идет на смелое до конца раскрытие их, — и достигает таким образом уровня художественного мастерства и сил воздействия на читателя, несоизмеримых с «односезонной» беллетристикой, приглаживающей и обедняющей действительность по очередной заданной схеме.

Мне уже приходилось говорить, и я повторяю здесь, что самый объективный анализ названных произведений мог бы только подтвердить эти наблюдения человека, подписавшего в печать рукописи и Солженицына, и Залыгина, и Айтматова.

Когда я говорил выше о резко различном отношении к Солженицыну в литературной среде, я не хочу неприязнь и даже какое-то недоброе раздражение к нему отнести только за счет завистничества, впрочем, неизбежного в любой среде искусства, при столь большом и непредусмотренном успехе коллеги. Суть дела здесь в том, что известная часть литераторов предпочла бы вопреки тому, что говорил Г. Бакланов, писать по-старому, — так оно легче и привычнее. Но и эти люди,

желающие писать по-прежнему, не могут не видеть, что читать по-прежнему их уже не хотят, — и не хотят даже те из читателей, которые в своих высказываниях способны поддержать самую неприязненную критику Солженицына. Словом, он очень осложнил литературную жизнь, этот вдруг появившийся на свете писатель.

Надеюсь не быть понятым так, что я принимаю Солженицына целиком без изъяна и вижу в нем идеальное совершенство художника, недоступного никакой критике, не имеющего никаких слабостей. Но об этом мы всегда успеем поговорить.

Самое важное сейчас и неотложное — понять, что он занимает нас уже не просто сам по себе, — как бы высоко ни оценивался он сам по себе, — а потому, что волею многосложных обстоятельств он находится в перекрестии двух противоположных тенденций общественного сознания в нашей литературе, устремленных либо туда, назад, либо сюда, вперед, — в соответствии с необратимостью исторического процесса.

Так обстоит дело, и что именно так, а не иначе, ближайшим и нагляднейшим образом подтверждается многомесячным прохождением у нас «дела Солженицына», как уже само собой обозначается для краткости содержание длинного ряда узких, расширенных и широких заседаний в Секретариате.

Характер этого «прохождения», надо сказать прямо, не делает чести ни Секретариату, ни кому бы то ни было, от кого, как выражается один чеховский персонаж, «все будет зависеть». Первая беда, определившая непродуктивность и несостоятельность этого «прохождения», в том, что все внимание, возмущение и осуждение обращены на поступок Солженицына, на форму его обращения со своим «Письмом» к делегатам съезда писателей. Форма, действительно, заслуживает осуждения, — здесь я согласен со всеми. Но как бы ни была дурна форма, нельзя же из-за этого начисто исключать содержание, точно его и нет вовсе. Оно есть, оно четко

и пунктуально представлено в «Письме», и я не помню даже попыток опровергнуть хотя бы один из его пунктов, объявить их ложными, надуманными, своекорыстными, идущими во вред советской литературе и т. п. Почему? По той простой причине, что они в основе своей неопровержимы, и, что касается меня лично, я подписался бы под ними обеими руками. И Вы знаете, что я в этом смысле не исключение, хотя до сих пор не писал и не подписывал никаких «документов» по поводу «Письма», считая, что все связанные с ним вопросы следует решать в нормальном порядке коллективного обсуждения на Секретариате.

Вы также знаете, что я неоднократно высказывался и здесь, и в Секретариате, — это зафиксировано, — и в ЦК, в вашем присутствии, — например по вопросу о цензуре, да и о том, что касается личной судьбы Солженицына, пожалуй, даже резче, чем он.

Не ясно ли, что принять какое-либо решение по «Письму», имея в виду лишь его «форму», а «содержание» считая как бы несуществующим, или по крайней мере несущественным, невозможно, ибо оно существует и оно существенно. Так ведь, К. А.?

Другая беда — это безнадежные попытки «закрытым» способом решить вопрос, приобретший огромное общественно-политическое звучание, заслонивший все пустопорожнее, за немногими исключениями, словоговорение на съезде писателей, получивший международную огласку и вызвавший неутихающие до сих пор горячие прения в литературной среде, и много шире того. Но решить этот, как его уже называют «вопрос вопросов» сегодняшней деятельности Союза писателей и вообще дальнейшей литературной жизни путем «келейного» волхования над ним — нельзя. И налицо — попросту топтание на месте, безрезультатные наши пререкания в закрытом помещении и удручающая молчанка вовне, невозможность заключить: что же все-таки думает руководство Союза писателей, с чем оно способ-

но выйти на трибуну к большой аудитории или на страницы печати, чтобы, наконец, закрыть «дело».

Выходит, что Солженицын со своими претензиями к Союзу писателей готов в любой час выступить в любой аудитории или в печати, а Союз писателей со своим осуждением или отвержением этих претензий — не может сделать ничего подобного, конечно же, потому что не может рассчитывать на открытое одобрение или сочувствие ни читателей, ни писателей. Так или не так, К. А.? Именно так, и это ужасно.

И до крайности огорчает позиция, занятая Вами в последнее время в отношении этого «дела».

Вы говорите: пусть, мол, Солженицын сперва даст отповедь «Западу», поднявшему в связи с его «Письмом» разнузданную и антисоветскую шумиху, в печати и по радио. В противном случае не печатать его «Раковый корпус», не издавать книгу рассказов (изданную, кстати сказать, и переизданную не только во многих буржуазных странах, но и во всех социалистических), не ограждать члена Союза писателей А. И. Солженицына от получивших широкое распространение клеветнических измышлений насчет его биографии. Иными словами, не только оставить без внимания все, о чем взывает «Письмо», но предать самого Солженицына политическому остракизму, несмотря на никем не оспариваемую — ни в одном пункте — сущность его «крика души». Слышать от Вас, Константин Александрович, крупнейшего русского писателя, друга А. М. Горького и продолжателя его традиций в руководстве литературой, слова этого Вашего предложения представляется странным и непонятным. Не можете же Вы попросту присоединиться к предложению М. А. Шолохова, без обиняков высказанному в его письме: «не допускать Солженицына к перу». Это было бы особенно печально после известных литературно-политических выступлений автора «Тихого Дона», которыми он так уронил себя в глазах своих читателей и почитате-

лей. И вообще грустно, что Федин с Шолоховым в этом деле, вместо того, чтобы показать пример достойного, чуждого мелким ведомственным соображениям, художнического отношения к художнику, склоняются к позиции таких товарищей из Секретариата, чья неприязнь к Солженицыну понятна и неудивительна.

Прежде всего, настойчиво выдвигаемое Вами требование к Солженицыну, чтобы он высказал «свое отношение», «дал отповедь» и т. п., как непременное условия его дальнейшей литературной и гражданской жизни, странно слышать от Вас, потому что оно явно зовет *туда,* принадлежит давно осужденной и отвергнутой практике известного рода: «признай», «отмежуйся», «подпишись» и т. п. Такие «признания» и «отмежевывания», подобные недавно получившим место на страницах «Литгазеты» за подписями Г. Серебряковой, А. Вознесенского и др., приносят нам огромный вред, порождая представления о писателях, как о людях неразборчивых в морально-этическом смысле, лишенных чувства собственного достоинства или всецело зависящих от «указаний» и «требований», что, впрочем, одно и то же. Неужели Вы думаете, что такие покаяния идут на пользу Союзу писателей, укрепляют его авторитет? Не могу в это поверить.

Продолжая настаивать, что Солженицын должен «заклеймить Запад», «отмежеваться от заграницы» и т. п., мы пропускаем мимо ушей недвусмысленное заявление Солженицына на расширенном заседании Секретариата по этому поводу:

«Здесь употребляют слово «заграница», как какую-то важную инстанцию, чьим именем очень дорожат... Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Нельзя также не принять во внимание, что Солженицыну, как художнику, совершенно чужды литературные соблазны современного Запада, и его никак нельзя упрекнуть стремлением в той или иной форме «потрафить» Западу.

Но — далее. Мне предлагалось «употребить свое влияние на Солженицына» в том смысле, чтобы склонить его к выступлению против «западных» комментаторов его «Письма». Во-первых, не следует преувеличивать моего влияния на него, он вовсе не является «подшефным» мне «молодым автором», — в этом году ему, между прочим, исполнится 50, — словом, он «сам с усам», как говорится. Во-вторых, нельзя упускать из виду, что «западные комментаторы» и в данном случае разные. «Отповедь», предназначенная для врагов и злопыхателей советской литературы и советской страны, не может быть отнесена к нашим друзьям за рубежом, выступившим по поводу «Письма» Солженицына, скажем, на страницах коммунистической печати. Что мы тут можем потребовать от Солженицына? Чтобы он заодно заклеймил и тех и этих комментаторов «Письма»?

Но в последнее время, в развитие принципа «закрытости» решения «вопроса вопросов», речь идет не о выступлении Солженицына в печати, а лишь о том, чтобы он «выразил свое отношение» к «Западу» письмом в Секретариат, то есть так, что сам тот «Запад» и знать ничего не узнает, — письмо лишь будет приобщено к «Делу» и таким образом удовлетворит членов Секретариата, даже настроенных наиболее непримиримо, и откроется возможность печатать роман Солженицына, издавать книгу его рассказов и отвести возводимую на него клевету.

Подумать только, что разрешение всего «солженицынского комплекса» зависит от одной этой негласной «бумаги»! Вот до чего дожили: «бумага» объемом в 1-2 страницы для нас, писателей, важнее готового к печати

романа в 600 страниц, который стал бы, по убеждению большинства знающих его в рукописи, украшением и гордостью нашей литературы сегодня, — «бумага» важнее судьбы писателя, замечательный талант которого не оспаривают даже самые ярые его противники!

О «Раковом корпусе», между прочим, мне хочется сказать запомнившимися мне словами одной старой, но мудрой книги: «Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера».

Именно так. Могу только добавить: искренняя уверенность Солженицына, что он сам излечился от раковой болезни, сообщает его книге поистине возвышающий душу и жизнеутверждающий тон, несмотря на то, что в ней идет речь о столь противопоказанном искусству предмете, составляющем, может быть, самую мрачную после угрозы атомной войны угрозу человечеству. Любители выискивать «подтексты» и «символы» почему-то не заметили полного светлой и мужественной символичности финала книги — выхода героя из «ракового корпуса» больницы в чудный весенний день и совпадения этого выхода в жизнь с благотворными переменами в ней, происходившими еще до XX съезда партии.

«Мое внутреннее душевное состояние, — пишет мне Солженицын в последнем письме, — мне дороже судьбы моих вещей...»

И я думаю, К. А., что, по существу, мы даже более заинтересованы в опубликовании этого романа, чем автор. Дело не только в том, что столь значительное произведение попросту преступно утаивать от широчайших кругов читателей, успевших полюбить Солженицына, и что роман уже распространился, может быть, в тысячах списков среди наиболее дотошных читателей. Но роман, как мне известно из достоверных источников, на днях может выйти в свет (если уже не вышел) во

Франции и готовится к печати в Италии. Этими внешними обстоятельствами нельзя пренебрегать, — не хватает нам еще повторения истории с Пастернаком! — но и внутренние — не менее серьезны. Роман, задержанный сейчас в стадии набора первых восьми глав, предназначенных для январской книжки «Нового мира», становится во главе целой очереди задержанных (хотя никем не запрещенных) таких крупных и ценных произведений, как «100 суток войны» К. Симонова, роман А. Бека «Новое назначение», работа Е. Драбкиной, посвященная последним годам жизни Ленина, — «Зимний перевал»; — перечень можно было бы еще продолжить.

Опубликование «Ракового корпуса» — которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей «пробку», как это бывает на дороге, когда головная машина тронется. Это было бы бесспорным благом для советской литературы на нынешнем ее, скажем прямо, кризисном, весьма невеселом этапе, разрядило бы атмосферу глухой «молчанки», тяжелых недоумений, неясности, бездейственного выжидания...

И все это теперь зависит целиком от Вас, К. А., — только от Вас, потому что Секретариат, конечно, поддержал бы Вас, если бы Вы, хоть со всеми необходимыми оговорками, сказали бы по вопросу об опубликовании только те слова, которые, собственно, уже были сказаны на Секретариате при обсуждении «Ракового корпуса»: «на усмотрение редакции «Нового мира». Иначе говоря, я призываю Вас вернуться к тому проекту «коммюнике», который, по Вашему предложению, был мною написан, Вами отредактирован и, тем самым, одобрен, но вдруг заменен Вашей нынешней постановкой вопроса. Документ этот находится в «деле Солженицына», не буду приводить его целиком, и без того затянул, хотя, может быть, не сказал и десятой доли того, что можно и нужно было сказать.

И вот мои тогдашние конкретные предложения,

осуществление которых и сейчас еще, по-моему, могло бы послужить на пользу дела, к несомненным нашим выгодам во всех смыслах:

1. Немедленно опубликовать в «Литгазете» отрывок из «Ракового корпуса» со сноской: «полностью печатается в «Новом мире»;

2. Поручить издательству «Советский писатель» подготовить сборник Солженицына к печати, с предисловием, освещающим, между прочим, биографию автора;

3. Опубликовать это предисловие в «Литгазете» или «Литературной России» с соответствующей сноской.

Ответственность, какую Вы, Константин Александрович, нынче берете на себя во всем этом деле, имеющем такие болезненные симптомы на будущее нашей литературы, очень велика, и не думаю, что она Вам легка. Не думаю, что с легкой душой Вы будете дописывать и отделывать заключительные страницы Вашего «Костра», имея прямое касательство к погребению в нетях законченной вещи как-никак товарища по перу, писателя, к судьбе которого обращены симпатии огромной массы читателей, и чье присутствие в нашей литературе сегодня, вообще говоря, трудно переоценить.

Популярность Солженицына, основанная на его опубликованных вещах, теперь необычайно возрастает по ознакомлении довольно широких читательских кругов с его неопубликованными произведениями. Винить в этом автора, как Вы знаете, невозможно. И трудно сказать, каков уже рукописный тираж того же «Ракового корпуса» или «Круга первого», романа вообще незавершенного.

Следует также учесть, что рукопись книги неопубликованной, в известных случаях, привлекает более острый интерес, чем отпечатанная книга, да и нет гарантии, что в рукопись не вносится чего-нибудь постороннего авторскому тексту.

Дорогой Константин Александрович!

Я вовсе не так наивно самонадеян, чтобы предполагать, что Вы, вняв моим «увещеваниям», вдруг прослезитесь и измените свою точку зрения на «дело Солженицына» и примете иное, чем нынешнее, решение. Но я не сомневаюсь, что Вы должны будете это сделать просто по велению надвинувшихся обстоятельств: нужда заставит калачи есть.

«А что я могу поделать?» — возразили Вы мне както на мой упрек в неправомерности и заведомой невыполнимости Ваших требований к Солженицыну. Это было на заседании, где мы сидели рядом, и я не помню, что я тогда сказал, но эти Ваши слова запомнил: в них была растерянность, недовольство собой и всеми нами.

А делать можно одно: поступать согласно собственному разуму и совести. Не могу же я предположить, что Вы несете бремя внешних воздействий или понуждений. Слава богу, не те времена, чтобы только «перст указующий» решал специфические вопросы искусства и науки, оставляя втуне мнения и соображения людей, как говорится, хлеб приевших по этой специфической части. Какие мы ни есть — худые ли, хорошие — нам, никому другому извне, решать вопросы литературной жизни. «Прямых указаний», по нынешнему времени, ждать не приходится, — их не будет, и это благо, о котором нам в иные времена и не мечталось, и мы должны пользоваться этим, откинув опасения, но не освобождая себя от ответственности.

Неизвестно, вообще говоря, что опаснее — принять ли решение, которое может оказаться ошибочным, или не принимать никакого решения из опасения ошибки. В военном деле предпочитается решение, даже ошибочное, нерешительному выжиданию. А в нашем деле, право же, на худой конец лучше и ошибиться, разрешая, чем избежать (будто бы избежать!) ошибки, запрещая. В нынешней ситуации, я считаю, для Вас реальная двуединая опасность в том, чтобы скрепить своим

именем стыдное решение или не менее стыдное нерешение по «делу Солженицына».

Кроме того, уж совсем между нами говоря, Вам не хуже, чем мне, известно, что мировая история литературы не знает примеров, когда гонения или нападки на талант, с чьей бы то ни было стороны, даже со стороны таланта же, — увенчались успехом.

Я знаю Вас, К. А., как писателя, с моей ранней юности, когда впервые прочел Ваш «Трансвааль» (кстати, не помню, чтобы Вы письменно или изустно каялись, когда где-то в конце 20-х годов Вас обвиняли за эту вещь в «апологии кулачества» и т. п.).

Уже добрых три десятилетия, как я лично знаком с Вами. Я много наслышан о Вас от покойного С. Я. Маршака и других, знавших Вас еще по Ленинграду, — о том, что Федин — человек чести, человек, способный в любую минуту встать на защиту правого дела, прийти на помощь товарищу.

Я сам имел возможность убедиться в этом, когда в труднейшей для меня ситуации 1954 г. Вы нашли добрые слова в мою пользу, сказанные Вами «на самом верху» и переданные мне участниками того памятного заседания.

И вот теперь я вынужден говорить Вам слова жестокие, может быть, обидные для Вас, да уж и говаривал при последних наших встречах по этому же самому «делу». Но знайте, что собака, которая лает, не кусается. Я человек прямой, может быть нередко без достаточной выдержки и себе во вред.

Но я не способен наносить рассчитанные удары исподтишка, я чуждаюсь тех интриг и плутней, которые у нас принято называть «политикой», «тактикой» и т. д.

Резкость моих возражений Вам в последнюю нашу встречу с участием Г. Маркова и К. Воронкова (кстати, мне казалось, что оба они с готовностью поддержали бы Вас, если бы Вы вернулись к повторенным здесь кон-

кретным предложениям), резкость моя была вызвана непонятной для меня раздражительностью, с какой Вы говорили об А. И. Солженицыне.

Нельзя же так говорить об этом человеке и писателе, заплатившем за каждую свою страницу и строку как никто из нас, судящих и рядящих сейчас — что с ним делать. Он прошел высшие испытания человеческого духа — войну, тюрьму, смертельную болезнь. А теперь на него, после столь успешного вступления в литературу, свалились, может быть, не меньшие испытания, мягко выражаясь, внелитературных воздействий — негласного политического остракизма; прямой клеветы; запрещения упоминать его имя в печати и т. п. Чего стоит, по совести говоря, использование в целях обвинения найденной в его бумагах, изъятых «специальным» способом, его рукописной пьесы, написанной свыше 20 лет назад, в лагерном аду, бесфамильным арестантом Щ-232*, а не членом Союза писателей СССР А. Солженицыным, и размноженной для ознакомления с ней, как якобы самоновейшим произведением писателя!

Да, я осуждаю форму его «Письма», но, по человечеству, и здесь не могу бросить в него камень, понимая степень отчаяния, понудившего его на этот шаг.

Третьего дня, от стола, за которым я сидел над этим письмом, меня отвлек звонок из Гослитиздата: «В статье о Маршаке, помещенной в пятом томе Вашего собрания сочинений, есть упоминание фамилии Солженицына. Мы имеем указание» и т. д.

Я, разумеется, отказался исключить это упоминание, хотя бы это угрожало выходу пятого тома. Но что это такое творится на белом свете!

Кончаю свое послание, как уже сказал, без особых

---

* Расхождение в букве лагерного номера Солженицына (ср. стр. 34).

упований на благоприятный практический его результат.

Может быть, в нем что-нибудь не так и не все в равной мере бесспорно. Но написать его было для меня делом долга и совести.

Не рассчитываю я и на Ваш ответ, зная, что Вам недосуг, да и не в ответе мне нынче дело: ответа, то есть решения, ждет уже столько месяцев «Дело А. И. Солженицына».

Надо кончать с этим делом, дорогой Константин Александрович!

С неизменным уважением и самыми добрыми пожеланиями

Ваш *Твардовский*

7-15 января 1968 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г. СВИРСКОГО НА СОБРАНИИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

21-22 января 1968 г.

Два года назад писатели Москвы поставили в известность секретаря ЦК т. Демичева о трудностях социальной литературы. Как было сказано и в отчетном докладе парткома, цензура обрела власть необъяснимую: запрещаются или уродуются произведения советских писателей. Тов. Демичев согласился, что так жить и работать нельзя. «Поправим», — пообещал он.

И что же? Ввели цензуру в ее законные берега? Она занимается только государственными и военными секретами?

Ничего подобного!

С жестокостью и слепотой паводка она затопила всю социальную литературу. Союз писателей попытался спасти хотя бы несколько книг крупных художников — Солженицына, Бека и других? Какое! Мнение писательского коллектива ныне ничего не значит. Фигурально выражаясь, Союз писателей ушел под воду, как град Китеж. Только маковки пробиваются из-под цензурной глади...

Нашим колхозам официальным правительственным актом дали право самостоятельно решать, что сеять и выращивать. В промышленности — экономическая реформа. К общественной жизни привлечено много людей. Только Союз писателей вне этого естественного здорового процесса.

У каждого писателя есть гражданская совесть. У писателя-коммуниста есть еще и партийная совесть. Он отвечает за то, что пишет. Но это право — отвечать перед народом за написанное — у него отобрано. Писатель

принижен, ограблен в самом главном — в праве выступать со своими сокровенными мыслями и чувствами перед народом, выступать ответственно, без участия некоей псевдотайной инстанции, которая присвоила себе права все на свете решать за него, вымарывая, что вздумается. Писатель-социолог чувствут себя ныне гражданином второго — третьего сорта. Он угнетен своим бесправием, угнетен воинствующим примитивизмом контрольных инстанций.

Но, может быть, все это не так? Может быть, контрольные инстанции имеют право на то, что творят? Давайте разберемся в этом спокойно, на основании фактов. Спокойно и вдумчиво.

В Ленинграде пьесу «Дион» запретили. В Москве — разрешили. Фильм «Перед судом истории» разрешили и в Москве, и в Ленинграде, но запретили в Горьком и некоторых других городах. В одном из московских журналов имя Солженицына запретили упоминать даже в статье о советской литературе за рубежом. В издательстве, которое на соседней улице, — разрешили. *(Оживление в зале.)*

Из книги писателя В. Померанцева в течение последних десяти лет изымаются лучшие его рассказы. Об одном из них, к примеру, было сказано в официальном заключении, что он «дискредитирует советскую прокуратуру»... Спустя несколько месяцев рассказ появился в официозе прокуратуры СССР — журнале «Социалистическая законность». *(Шум в зале.)*

Безапелляционность разрешающих инстанций стала бытом. Фильм Симонова и Ордынского «Если дорог тебе твой дом» восторженно принят зрителями, но запрещен в армии. А пьесу М. Шатрова «Большевики» официально так и не выпустили. Она идет без разрешения Главлита.

Бесконтрольное карежение текста, изъятие целых глав стало нормой. С кем из писателей ни заговоришь

о разгуле цензуры, тебя перебивают: «Это еще что! А вот у меня...» *(Смех в зале.)*

Когда слышишь обо всем этом, тем более, когда испытываешь на себе самом, невольно вспоминается танковая атака, описанная Твардовским:

...лежишь в канаве,
А на сердце маята,
Что как сослепу задавит? —
Ведь не видит ни черта...

Но в самом ли деле Главлит так глух и слеп? А, может быть, очень хорошо видит тех, кого давит своими гусеницами? Наблюдается ли какая-нибудь закономерность в том, что разрешают, а что запрещают? По каким целям ведется огонь? Порой огонь на уничтожение?

Годами не печатается Солженицын — это известно. Не печатаются произведения Аксеновой-Гинзбург и других коммунистов, вернувшихся из бериевских застенков и обратившихся к пережитому.

Это недостойный и, как показало время, бессмысленный акт.

Коммунисты западных компартий сейчас много говорят о том, что книга Аксеновой-Гинзбург оказалась самым действенным оружием против книги ренегата Светланы Аллилуевой. Светлана Аллилуева, пытаясь выгородить отца, твердит о том, что не отец виноват, а система. Советская коммунистическая система. Книга коммунистки Аксеновой-Гинзбург, судя по западной прессе, дает отпор клевете Аллилуевой. Образ большевички в книге Аксеновой-Гинзбург, которая даже в лагере, как пишет газета «Унита», «сохранила веру в людей, в партию, в несокрушимую силу ленинской правды», — этот образ поразил западного читателя и во многом нейтрализовал вредное влияние аллилуевских писаний. Об этом упоминают почти все газеты и

журналы Европы. И французский коммунистический журнал «Ля нувель критик», и итальянский журнал «Рассенья совьетика», и австрийский коммунистический журнал «Тагебух», и десятки других коммунистических, социалистических и даже буржуазных газет. Английская коммунистическая газета «Морнинг стар» посвящает ей, в частности, статью под названием «Героизм советской женщины». В статье прямо сказано: «Эту книгу должен прочесть каждый коммунист». Немецкий журнал «Шпигель» опубликовал портрет Евгении Гинзбург с подписью: «Верна системе».

А у нас? Как только ни крестили Аксенову-Гинзбург, когда ее книга, неожиданно для автора, вышла на Западе! Как глумился над ней в одной из своих речей Семичастный! Даже такой книги мы не сумели трезво оценить... Впрочем, и сейчас, когда всем известно, какое значение приобрело произведение коммунистки Аксеновой-Гинзбург, оно у нас по-прежнему под запретом.

Я остановился на лагерной теме потому, что она преследуется ныне с особой жестокостью. А что выбрасывается из книг, которые все же выходят, из наших с вами книг? Каленым железом выжигается все, что направлено на устранение пагубных последствий культа личности, порой даже косвенное упоминание о том, что некогда существовал культ личности. Драматургу М. Шатрову в его пьесе «Большевики», о которой я уже говорил, Главлит не разрешил выводить на сцене таких деятелей большевистской партии, как Коллонтай, Енукидзе, Петровский и другие... Требуя убрать из пьесы товарищей Енукидзе и Петровского, зам. начальника Главлита Назаров оперировал обвинениями, предъявленными этим коммунистам в 1937 году.

Ничто не могло поколебать Главлит — даже статья в «Правде» — центральном органе нашей партии, где эти революционеры были названы верными ленинцами.

Самым страшным врагом Главлита стал призыв к

правдивому слову. Вот пример тому, тоже самый свежий: 1967 г. Ноябрь. В сборнике «День поэзии» на грузинском языке, в стихотворении талантливейшего грузинского поэта Михаила Квливидзе цензура категорически запретила строки, венчавшие произведение:

И воздастся всему, и добру и злу...
И окажется достаточным одно слово,
Одно правдивое смелое слово,
Чтобы оправдать всю прожитую жизнь!

Как надо ненавидеть правду, чтобы запретить эти строки!

Что говорят писателям — коммунистам и беспартийным, — когда те пытаются отстоять свое детище? Что говорят, когда не могут возразить по существу? Отбросить без всяких объяснений? Твердят: «Не время!», «Обстановка не позволяет!», «Надо подождать», «Погодить пока что». Погодить... Эта «концепция» была известна еще Щедрину...

«Однажды заходит ко мне Алексей Степаныч Молчалин, — пишет Щедрин в «Современной идиллии», — и говорит: «Нужно, голубчик, погодить!» Разумеется, я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу. Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этим словом, и вот выискивается же человек, который приходит к заключению, что мне и за всем тем необходимо умерить свой пыл... Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?»

— Русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа. Погодить — ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не о том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду ударьтесь... письма родным пишите, а вечером — в табельку или в сибирку засядьте. Вот это и будет «погодить»!

Так мы порой и годим. Годим год, два, десять.

И вдруг выясняется, что отнюдь не все запрещают. Не всем писателям советуют «погодить». Напротив, немало прозы и стихов, имеющих прямое отношение к культу личности Сталина, не только не запрещается, но, наоборот, печатается огромным тиражом. Выдвигается на первую линию огня. К примеру, разрешен роман Закруткина «Сотворение мира», книга 2-я. Журнал «Октябрь» №№ 6 и 7 за 1967 год.

«Ты Сталина не тронь, — с угрозой в голосе говорит противнику Сталина положительный герой, высказывания которого В. Закруткин не корректирует. — Мы знаем, почему Сталин встал вам поперек горла... Потому что он отстаивает идеи Ленина и пресекает любую попытку изменить Ленину... Именно поэтому вы боитесь Сталина, как огня». Закруткин словно бы и ведать не ведает документов партии о борьбе с троцкизмом, о том, что борьбу эту возглавлял ЦК, что на XV съезде доклад «Об оппозиции» делал Орджоникидзе. Он приписывает заслугу разгрома оппозиции одному человеку. Ну, а как же со всем тем, что сказала партия о Сталине? Ведь это напечатано не в тридцатые годы, а сейчас, в 1967 году?..

В. Закруткин заранее отвечает на этот вопрос. Отвечает недвусмысленно. «Кто знает, — меланхолично и трогательно размышляет о Сталине положительный герой Закруткина (Долотов) — может, тюрьмы, ссылки, таежное одиночество, холод и голод, все, что он перенес, действительно ожесточили его душу, сделали его резким и грубым, но он по-солдатски верен и предан Ленину (!) и всей своей силой и волей защищает учение Ленина от оппозиционной сволочи, бережет чистоту и дисциплину партии».

Итак, по Закруткину, XX-го съезда не было. Как говорится, приснился в дурном сне.

Кажется, дальше уж ехать некуда. Но, оказывается, иные ростовские писатели — робкие провинциалы

по сравнению со столичным поэтом Сергеем Смирновым. Поэт С. Смирнов, по мнению газеты «Литературная Россия», выступает от высокого имени народа. Там эти слова есть. Что же говорит он от этого высокого имени? В журнале «Москва», в десятом номере за 1967 год? Даже если эти дифирамбы Сталину вам известны, их нельзя не повторить здесь.

...Не о нем ли, как о капитане,
Мы трубили тоже неспроста!
Это он в годины испытаний
Не сходил с командного поста.
Это мы, по-своему законно,
Чтили в нем могущество свое,
Из живого делали икону
И молились, глядя на нее.

Товарищи! Вдумайтесь только! Трубили неспроста! Законно чтили! Законно молились на Сталина! Законно делали икону! И это пишется и печатается, — снова вынужден повторить, — не в сороковых годах, а в 1967 году, на пятидесятом году Советской власти, в юбилейном, тщательно подготовленном номере.

В юбилейных Тезисах ЦК Коммунистической партии сказано, как вы знаете, прямо противоположное: «Проводя курс на дальнейшее развитие социалистической демократии, партия на XX съезде решительно осудила культ личности Сталина, который выражался в чуждом духу марксизма-ленинизма возвеличении роли одного человека, в отступлении от принципа коллективного руководства, в необоснованных репрессиях и других нарушениях социалистической законности, нанесших ущерб нашему обществу».

Генеральный секретарь ЦК тов. Брежнев еще раз подтвердил незыблемость позиции партии в своем юбилейном докладе.

А С. Смирнов в юбилейной же поэме твердит напе-

рекор партии: *«Я и сам еще не знаю объективной истины о нем»*... Значит, по прямому смыслу смирновских строк, основополагающие документы нашей партии объективной истины не выражают? Пусть, мол, в ЦК пишут, что хотят, а мы тут знаем свое! Поразительно! Но именно эти строки вызвали особую похвалу газеты «Литературная Россия», которая устами писателя Михаила Алексеева заявила: «Не скажи этого последнего, поэт не исполнил бы долга, добровольно возложенного на себя». И затем лишь, скороговоркой, без цитат, М. Алексеев говорит, что поэт главного еще не сообщил, и они явились, главные строки поэта, о залпе «Авроры», о партии.

О партии, добавим, ленинские взгляды которой С. Смирнов подверг публичному поношению. А вдумайтесь-ка, товарищи, в эти позорные рабские строки:

И тогда, возвышенный над каждым,
Он ушел от нас не одинок.
Сотни душ растоптанных сограждан
Траурный составили венок.
(Шум в зале.)

Что это такое? Сталин унес в могилу миллионы коммунистов, а народ — по С. Смирнову — с восторженным чувством даже венок ему сплел из убитых, растоптанных душ?! *(Шум в зале.)*

Это у С. Смирнова не описка. Не ошибка. Это еще один прямой удар по решениям партии. Более того — глумление над ними.

А что же газета «Литературная Россия» и ее автор — писатель Михаил Алексеев? Протестуют против кощунства? Ну, хотя бы против вот этого — бесчеловечного кроваво-средневекового возвеличения Сталина? Ничуть не бывало. «По сложившейся традиции, — пишет М. Алексеев, — мне бы полагалось отметить и недостатки работы С. Смирнова... Я же нахожусь по сию

пору под сильным впечатлением от прочитанного и пока что, кроме слов благодарности, ничего не имею сказать Сергею Смирнову за его замечательный труд».

Ну, а как отнесся к этому Главлит? Как видим, он благословил и С. Смирнова и М. Алексеева. Это напечатано. Михаил Алексеев не частное лицо — он влиятельный руководитель Союза писателей РСФСР, который, как вы знаете, вот уже несколько лет широко шагает по служебной лестнице. Значит, антипартийные разглагольствования С. Смирнова развернули, как юбилейное знамя — не только Главлит, но и руководитель Союза писателей РСФСР...

Но, может быть, товарищи, все же это случайность? Недосмотр, или групповщина? Приятельские отношения? Словом, частный случай?

Нет!

За подобные взгляды не только С. Смирнова, но и любого писателя или поэта благословляют, благодарят. Стоит им только недвусмысленно выступить против линии XX-го съезда партии.

Многие ли из вас знали о молодом поэте Ф. Чуеве? Он еще ничем не обогатил литературу как поэт. Известно было только, что над ним шефствует кто-то из ЦК ВЛКСМ, в частности, рекомендует его для поездки за границу. Но вот Чуев показал свое политическое лицо, стал писать о Сталине. Да так писать, что этим немедля были вынуждены заняться общественные организации. В военной части привлекли к строжайшей партийной ответственности офицера, который распространял стихи Чуева.

Унялся ли Чуев? Нет! В различных учреждениях, вызывая скандалы, он читает свои стихи, в которых рефреном проходит главная мысль: «Верните Сталина на пьедестал».

Ф. Чуеву к пятидесятилетию Октября вручена правительственная награда — медаль «За трудовое отличие». Вот ведь как отличился Ф. Чуев!..

Каверин не отличился, Бек не отличился, потому их ничем и не отметили. А Чуев отличился! Кто ответит за то, что ЦК партии был введен в заблуждение? Кто, конкретно, кто воспитатели этого хунвейбина в Союзе писателей? В издательстве?!

В конце концов, у нас будут отвечать за те кадры, которые воспитываются?

Когда пытаются отмести критику рецидивов прошлого, твердят порой и так: «Не надо ворошить старое», не надо «бередить раны» или «сыпать соль на раны» и так далее, и тому подобное... Но ведь не кто иной, как именно они — В. Закруткин, С. Смирнов, Ф. Чуев и подобные им — «бередят раны», «ворошат прошлое», приковывая к нему разгневанное внимание народа и отвлекая от сегодняшних забот.

Ленин говорит, что нельзя врать даже врагам. У нас лгут друзьям. Сколько лгали за последние годы! Лгали о Пастернаке, о Солженицыне, лгали о Вознесенском, об Евтушенко, об Евгении Гинзбург, о Булате Окуджаве. Лгали, что они не патриоты, что они потворствуют отсталым элементам... Чего только ни лгали! Мы так привыкли ко лжи, что порой не заботимся даже и о тени правдоподобия. Мы втягиваем в эту ложь самих писателей, которые вынуждены говорить неправду, лгать, что называется, в порядке высокой дисциплинированности.

Получается — призывы-то не обращаться к прошлому, не «бередить раны», «не ворошить» — ханжеские призывы. А. Бек — не вороши, Е. Евтушенко — не вороши, Евг. Гинзбург — не вороши, Е. Мальцев — не сметь, а С. Смирнов — пожалуйста!.. Смирнов прекрасно уловил это и, зная (кто из нас этого не знает!) — о запрещенных книгах серьезных писателей, о запрещенных главах, о выброшенных абзацах — о подлинных бедах своих товарищей по литературному цеху, пишет в той же поэме с поразительным цинизмом:

Сочиняй, как требует эпоха,
И не празднуй труса вместе с тем.
Хоть убей, а сказано неплохо:
— В наше время нет запретных тем...

Нет запретных тем именно для Смирнова, для Закруткина и иже с ними...

Хоть убей, лучше не скажешь!

Я знаю, безответственные элементы, — в какой уж раз! — начнут трубить, будто писатели, особенно московские, требуют свободы печати для всех — от монархистов до анархистов... Ишь, де, чего захотели!..

Так что же, старая большевичка Драбкина, работавшая с Лениным — анархистка? Ее книга воспоминаний «Зимний перевал», единодушно одобренная нашей партийной организацией, без конца задерживается. Или, может быть, автор «Волоколамского шоссе» А. Бек — монархист? Клейма негде ставить на наших литературных вопленниках!..

Да, мы требуем свободы! Но свободы не от партии, кровь от крови, плоть от плоти которой — мы сами. Интересы партии — наши интересы. Мы требуем свободы от извращенной линии партии, безнаказанно осуществляемой воинствующими групповщиками... Идеологические диверсии зарубежных недругов нашей страны в последнее время участились. Враги и раньше не брезговали ничем: ни перебежчиками типа Аллилуевой, ни клеветниками.

Председатель. Вы говорили 20 минут.

Голоса. Дать еще!

Теперь взяты на вооружение и наши доморощенные реакционеры. Их охотно цитируют за рубежом. Их позиции как нельзя лучше укладываются во враждебный тезис, будто извращения периода культа личности Сталина органически присущи системе коммунизма. Враг понял, что нет на свете более страшной, более взрывной идеи, чем утверждение, тем более в некото-

рых советских книгах, будто Сталин — это верный ленинец, будто Сталин всегда отстаивал идеи Ленина. Эта архиклеветническая мысль — для врагов сущая находка. Ведь они соотносят ее сейчас с великой трагедией китайского народа, с бесчисленными убийствами коммунистов под лозунгами: «Да здравствует Мао Цзэ-дун! Да здравствует Сталин!»

Мы называем себя интернационалистами. А в какое положение мы ставим своих товарищей — коммунистов Италии, Франции, да и всех зарубежных коммунистов, которые вынуждены выгораживать нас перед своим всесторонне информированным читателем!

...Сколько уж лет мы говорим о групповщине в Союзе писателей. Заклинаем ее. Требуем примирения сторон... Одни говорят, что писателей разделяют жанры, другие, что — возраст, третьи намекают на литературные пристрастия и издательские связи.

Все это — пустейшая болтовня! Надо сказать прямо. Да, в Союзе писателей две группы. Их разделяют не жанры, не возраст, не литературные пристрастия. Водоразделом между ними является Двадцатый съезд партии. *(Аплодисменты.)*

И когда мы говорим о консолидации, давайте скажем полную правду, не может быть консолидации писателей — коммунистов и беспартийных — вне главного вопроса нашего времени — вопроса о Двадцатом съезде партии. Како веруеши? Выстрадал ли ты вместе с партией и народом великие решения этого съезда, или ты перерожденец, замышляющий предать их?! Консолидация — только на партийной основе! Никаких беспринципных блоков и группочек!

Остается рассмотреть самое важное. Почему живучи эти антипартийные тенденции? Кто гальванизирует их? И главное — зачем?!

В последнее время просто ожили люди, крикливо выступающие за реабилитацию Сталина. Среди них и иные литераторы, главным образом те, кто в прошлом

возвышались средствами, далекими от литературы. *За Сталина все, кому собственные привилегии дороже интересов партии и народа.*

Этим людям нужны порядки, утвердившиеся при Сталине, хотя они отлично знают, что эти порядки стоили жизни миллионам их сограждан. *По сути, им необходим произвол.*

Недобросовестные люди могут сказать, что я сейчас акцентирую внимание на Сталине, на прошлом.

Но... пройдем мимо недобросовестных людей. Как видите, я говорю о сегодняшнем дне литературы, о сегодняшней реальной опасности, о тех, кто порой и сами не скрывают, что не в имени дело, а в одном лишь: *в праве на произвол.* Поэтому-то так жестоко преследуются книги, в которых пусть нет ни Сталина, ни лагерей, но где анализируются механика и психология произвола в обыденнейших условиях нашей жизни. Остановлюсь только на одном примере. На собственном. Не хотелось говорить о себе, но, простите меня, очень уж это болит.

Тринадцать лет назад, в 1954 году, я написал роман «Государственный экзамен». О судьбе кибернетики в 1949 - 1953 годах, о мужестве ученых, отстоявших науку от поругания, об ученых, запустивших, в конце концов, спутник.

Книга не может выйти вот уже 13 лет. Даже подписанная в печать издательством «Советский писатель», книга задержана цензурой. Задержана, как и другие книги, где обличается повседневный чиновничий произвол. Кто за это ответит? Никто! В отделе пропаганды ЦК говорят: «Требуйте от издательства!» В издательстве кивают на Главлит... На поручика КИЖЕ...

Искоренение дискуссионных книг — симптом особо опасный. Это значит — не нужны мыслящие люди. Мыслящий в условиях произвола — это, в потенции, инакомыслящий.

В архитектуре существует такое понятие: «иезуит-

ский стиль». Наружная церковная стена продолжается и на втором этаже, но уже как стена ложная, декоративная. За ней — совсем иное, чем кажется с первого взгляда.

Этот иезуитский стиль, оставшийся от прежних лет, все еще не преодолен в нашей идеологической работе. Да он и не мог быть искоренен, коль сама организационная структура руководства искусством осталась прежней. Снаружи — декоративная стена: правильные речи, посулы, цитаты. А за ними, за этой стеной, Главлит — секрет полишинеля в идеологии. Главлит, получивший неслыханные права, Главлит, чаще всего, некомпетентный, но всегда обладающий правом запрета. Почему этот, давно скомпрометировавший себя стиль, все еще жив? Создается впечатление, что Главлит нередко дезинформирует Политбюро ЦК, оперируя выхваченными из контекста цитатами, репликами, принадлежащими отрицательным героям и прочее.

Как необходимо, чтобы руководители идеологической работы, члены Политбюро ЦК, время от времени приезжали сюда, в Союз писателей и говорили с нами без посредников *(аплодисменты)*, не всегда, как показала жизнь, — объективных.

Я хотел бы обратиться к этим товарищам с тревожным вопросом: когда же уберут барьеры на пути литературы, исследующей жизнь?

Может быть, хватит уступок запретителям, позорящим высокое звание коммуниста: пора дать бой тем, кто не думает ни о своем народе, ни о международном коммунистическом движении, тем, кто наносит ущерб достоинству и престижу нашей страны. *(Аплодисменты.)*

ПИСЬМО В. КАВЕРИНА К. ФЕДИНУ

Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше чем право, это долг. Твои бывшие друзья не раз задумывались над тем, какие причины могли руководить твоим поведением в тех, навсегда запомнившихся, событиях нашей литературной жизни, которые одних выковали, а других превратили в послушных чиновников, далеких от подлинного искусства.

Кто не помнит, например, бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране, истории с романом Пастернака. Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты вынужден был сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение 23 лет жил рядом с тобой. Может быть, из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?

Как случилось, что ты не только не поддержал — затоптал «Литературную Москву», альманах, который был необходим нашей литературе. Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной опасно-предательской речью в кармане, ты хвалил нашу работу, не находя в ней ни тени политического неблагополучия. Это далеко не все, и я не собираюсь в этом письме подводить итог твоей общественной деятельности, которая широко известна в писательских кругах. Недаром на 75-летии Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в «Новом мире» роман Солженицына «Рако-

вый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топотом ног.

Конечно, твоя позиция в литературе должна была в известной мере подготовить этот поразительный факт. Придется шагнуть далеко назад, чтобы найти тот первоначальный сдвиг, с которого начались душевные деформации, необратимые изменения. Годы и годы они происходили как бы в глубине, не входя в разительное противоречие с позицией, которую подчас можно было если не оправдать, то хоть как-то объяснить причинами исторического порядка. Но что толкнуло тебя *теперь* на этот шаг, в результате которого снова тяжело пострадает наша литература? Неужели ты не понимаешь, что самый факт опубликования «Ракового корпуса» разрядил бы неслыханное напряжение в нашей литературе, подорвал бы незаслуженное недоверие к ней, открыл бы дорогу другим книгам, которые обогатили бы нашу литературу. Лежит в рукописи превосходный роман А. Бека, сперва разрешенный, потом запрещенный, но безоговорочно одобренный лучшими писателями страны. Лежат военные дневники К. Симонова. Едва ли найдется хоть один серьезный писатель, у которого не лежала бы в столе рукопись, выношенная, обдуманная и запрещенная по необъяснимым, выходящим за пределы здравого смысла причинам. За кулисами мнимого благополучия, о котором докладывается по начальству, растет сильная, оригинальная литература — духовное богатство страны, в котором она нуждается настоятельно остро: неужели ты не видишь, что громадный исторический опыт требует своего воплощения и что ты присоединяешься к тем, кто ради своего благополучия пытается остановить этот неизбежный процесс.

Но вернемся к роману Солженицына. Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опуб-

ликование романа и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался *против*. Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам и продающихся, говорят, за немалые деньги. Это значит, что он будет опубликован за границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Англии, Западной Германии, т. е. произойдет то, против чего энергично и неоднократно протестовал сам Солженицын.

Возможно, что в руководстве Союза писателей найдутся люди, которые думают, что они накажут писателя, отдав его зарубежной литературе. Они накажут его мировой славой, которой наши противники воспользуются для политических целей. Или они надеются, что Солженицын «исправится» и станет писать по-другому? Это смешно по отношению к художнику, который представляет собой редкий пример, который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в литературе Чехова и Толстого.

Но твой шаг означает еще и другое. Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения. Писатель, накидывающий петлю на шею другого писателя, — фигура, которая останется в истории литературы, независимо от того, что написал первый, в полной зависимости от того, что написал второй. Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу.

Измениться это может только в том случае, если ты найдешь в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения.

Ты понимаешь, без сомнения, как трудно мне было написать тебе это письмо, но промолчать я не имею права.

25 января 1968 года *В. Каверин*

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА ЧЛЕНАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Скоро год, как я послал свое безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор еще дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничто не переменилось и по сегодня: мой архив мне не возвращен, книги не издаются, имя под запретом. Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в «Новом мире» «Ракового корпуса», но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы *обсудить* 2-ю часть повести.

Упущен год, неизбежное произошло: на днях главы из «Ракового корпуса» напечатаны в литературном приложении к «Таймс». Теперь не исключены и другие публикации — быть может, с неточных и неокончательных редакций повести. Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилагаемых писем и высказываний — чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата от 22. 9. 67, записанное лично мною, разумеется не полно, но совершенно достоверно и может слу-

жить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

Солженицын

16 апреля 1968 г.

Приложения:

1. Мое письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12. 9. 67.
2. Изложение заседания в Секретариате от 22. 9. 67.
3. Письмо К. Воронкова от 25. 11. 67.
4. Мое письмо в Секретариат от 1. 12. 67.

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА СЕКРЕТАРИАТУ СП СССР

Копии: в журнал «Новый мир»,
в «Литературную газету»,
членам Союза писателей.

В редакции «Нового мира» мне показали телеграмму:

IMO 177. Франкфурт-на-Майне. Ch 2 9 16.20.
Твардовский. «Новый мир».

Ставим Вас в известность комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на запад еще один экземпляр «Ракового корпуса» чтобы заблокировать его публикацию в «Новом мире» Стоп Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу
редакция журнала «Грани»

Я протестую и против публикации в «Гранях» и против действий В. Луи. Но туманный и провокационный характер телеграммы требует, прежде всего, выяснения следующего:

1. Послана ли телеграмма действительно редакцией «Граней» или же некой фиктивной личностью (это можно установить через международную телеграфную сеть; Московский телеграф может запросить Франкфурт-на-Майне).

2. Кто такой Виктор Луи, что он за человек, подданный какого он государства? Действительно ли он

Часть текста этого письма А. Солженицына печатается в переводе с английского.

вывез экземпляр «Ракового корпуса» из Советского Союза, кому он его передал и где еще его грозятся опубликовать? Далее: что общего имеет с этим Комитет Государственной Безопасности?

Если Секретариат Союза писателей заинтересован установить правду и остановить грозящее опубликование «Ракового корпуса» за границей по-русски, то, я думаю, он поможет получить немедленный ответ на эти вопросы.

Этот эпизод заставляет задуматься о странных и темных путях, какими могут попадать на Запад рукописи советских писателей. Он есть крайнее напоминание нам, что нельзя доводить литературу до такого положения, когда литературные произведения становятся выгодным товаром для любого дельца, имеющего проездную визу. Произведения наших авторов должны допускаться к печатанию на своей родине, а не отдаваться в добычу зарубежным издательствам.

Солженицын

18 апреля 1968 года

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей повести «Раковый корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту повесть (поскольку СССР не участвует в международной конвенции по авторским правам) — это при живом авторе!

Заявляю, что никто из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать ее. Поэтому ничью состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав, а всякое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном размножении и распространении рукописи), равно как и всякую самовольную экранизацию и инсценировку, буду преследовать.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен «Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждет и «Раковый корпус». Но, кроме денег, существует литература.

А. Солженицын

21 апреля 1968 г.

Это письмо опубликовано «Литературной газетой» 26 июня 1968 г.

СООБЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

Редакция выходящего во франкфуртском издательстве «П о с е в» русского литературного журнала «Г р а н и» уже в течение продолжительного времени располагала экземпляром рукописи «Ракового корпуса» А. Солженицына. До сих пор журнал воздерживался от опубликования этой рукописи, так как казалось, что еще можно надеяться на опубликование «Ракового корпуса» в московском «Новом мире». После речи Л. Брежнева в конце марта перед московским партийным активом, стало, однако, ясно, что режим не намеревается допускать опубликования этого произведения в Советском Союзе.

В то же самое время редакции журнала «Г р а н и» стало известно, что служба советской государственной безопасности (КГБ) предприняла диверсию и доставила на Запад еще один экземпляр рукописи «Ракового корпуса», — точно так же, как она в свое время поступила с экземпляром частично измененной рукописи воспоминаний Светланы Аллилуевой.

Редакция «Г р а н е й» направила редакции журнала «Новый мир» 8-го апреля следующую телеграмму:

«А. Твардовский, «Новый мир», Москва, Малый Путниковский пер. 1/2.
Ставим Вас в известность Комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад еще один экземпляр «Ракового корпуса» чтобы заблокировать его публикацию в «Новом мире» Стоп Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу
редакция журнала «Грани»

Важнейшие главы «Ракового корпуса» появятся в 67-ой книжке «Граней» в мае.

Кроме того, редакции «Г р а н е й» известно, что подлинными экземплярами рукописи А. Солженицына располагают некоторые известные западноевропейские издательства и таким образом следует считаться с появлением «Ракового корпуса» также на иностранных языках.

Франкфурт-на-Майне, 30 апреля 1968 г.

ИДЕЙНАЯ БОРЬБА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Редакционная статья «Литературной газеты» от 26 июня 1968 года

Великий Октябрь, открыв новую главу в истории человечества, положил начало и новому искусству. Воодушевляемая идеями марксизма-ленинизма, советская литература правдиво отражает жизнь народа, нравственный облик нового человека, активного строителя коммунизма. По произведениям, созданным советскими писателями, можно проследить весь славный и трудный путь, что пройден нашей страной за полвека. Октябрьская революция и гражданская война, годы первых пятилеток и социалистического преобразования деревни, героическая борьба с фашистским нашествием и коммунистическое строительство послевоенных лет — каждому этапу нашей истории посвящены значительные произведения прозы, поэзии, драматургии.

Сила советских писателей в беззаветной преданности идеям коммунизма, в безграничной верности делу партии. Потому-то связь советской литературы с политикой Коммунистической партии и вызывает такие яростные нападки враждебной нам пропаганды. Наши недруги не могут понять, сколь тщетны их усилия вбить клин между партией и советскими писателями.

Идеологические центры западного мира испытали в прошлом году горькое разочарование: Четвертый съезд писателей СССР, рассмотрев важнейшие проблемы развития нашей литературы, продемонстрировал незыблемую сплоченность писателей вокруг Коммунистической партии Советского Союза и ее ленинского Центрального Комитета. На съезде присутствовали

представители 33 литератур мира. Наперекор мутной волне клеветы за границей появилось немало выступлений с объективной оценкой работы съезда; отмечался его деловой, конструктивный характер, соответствующий всей атмосфере советской жизни.

В юбилейном 1967 году нашу страну посетило около шестисот писателей из 55 стран. Вернувшись на родину, они правдиво рассказывали широким кругам читателей о том, как живет и трудится советский народ, какую большую роль играет в жизни нашего общества творческая деятельность писателей.

Мировое значение советской литературы находит выражение в постоянном расширении международных связей Союза писателей СССР. Регулярные встречи руководителей писательских организаций социалистических стран, тесные контакты между литературными газетами и журналами, международные встречи прозаиков, поэтов, переводчиков способствуют творческому общению и сотрудничеству деятелей литературы и искусства всего мира.

Западная пропаганда всячески изощряется в том, чтобы извратить высказывания советских писателей на встречах и дискуссиях со своими зарубежными коллегами. Провокационная деятельность врагов получает достойный отпор. Политическую зрелость, высокий гуманизм, коммунистическую убежденность проявляют наши писатели на международных форумах. Их выступления заслужили всеобщее признание творческим духом, последовательным отстаиванием коренных принципов искусства социалистического реализма, готовность вести бескомпромиссную борьбу против врагов мира, демократии, социализма.

Такая борьба требует классовой мобилизованности, идейной вооруженности, умения распознавать формы и методы, к каким прибегает буржуазная пропаганда. Конечно, для наших врагов чрезвычайно заманчиво поссорить советский народ с партией, посеять рознь в среде

интеллигенции, разделить ее на «правых» и «левых», на «прогрессистов» и «догматиков», противопоставить одних писателей другим. В стремлении выдать желаемое за действительное они используют любые средства.

В подсчет идет все. Какого-то бездельника-фарцовщика соблазнили нейлоновыми тряпками, либо провернули с ним валютные махинации — готова легенда о моральной неустойчивости советской молодежи. Какой-то цирковой акробат не вернулся на родину из заграничной гастрольной поездки — гремят колокола: он-де просит «политического убежища», потому что марксизм лишил его свободы акробатического творчества. Кто-то послал неумеренно похвальное письмо зарубежной радиостанции, восторгаясь ее концертными программами, — отличный повод поверещать о бедности музыкальной культуры Советского Союза. Но это все больше так, для арифметического счета и для расширения «номенклатуры» в реестрике фактов. Вот, дескать, как во все стороны социалистического бытия проникает несогласие с этим бытием.

С наибольшим злорадством западная пропаганда смакует любые случаи, которые можно не так, так эдак связать с именами писателей, художников, композиторов. Еще бы! Ведь они так популярны в народе, их творчество — частица самой души народной. Это не просто «единичка» в реестрике фактов — это бум. Тут уже можно пуститься в пространнейшие рассуждения о том, что «настоящий» советский писатель и не обязан служить своим искусством народу, строящему коммунизм и верящему в коммунизм, поскольку, мол, подлинное искусство стоит вне всякой политики и даже над политикой. При этом господа из западного мира без всякого смущения обходят одно щекотливое обстоятельство: в качестве идеального образца писателя они провозглашают тех, кто нападал бы на советскую политику, то есть тех, кто отнюдь не стоит вне политики.

Подобные образцы не так-то просто обнаружить в

нашей стране! Что ж, тогда приходится пускаться на дешевые трюки и, подобно древним алхимикам, выращивать в колбе неких «гомункулусов», искусственных человечков, объявлять талантом любую бездарь. И в писатели срочно производится, к примеру, графоман и шизофреник В. Тарсис, строчивший в огромных количествах свои бесталанные, но зато открыто антисоветские писания, сдобренные ярой злобой и ненавистью к нашему общественному строю. «Вырвавшись» из социализма в капитализм, а точнее — будучи вышвырнутым с советской земли, хлеб которой он ел и на которую клеветал, Тарсис прогремел в радиопередачах и бульварных листках, хвастливо обещая предстать перед миром новым Достоевским.

Хотя из рукописей Тарсиса политические коммерсанты-издатели за рубежом кое-что сварганили, интерес к нему долго не продержался и ожидаемых прибылай коммерсанты не получили. Пропали надежды на иудины миллионы и у самого Тарсиса. Но «воспитатели» такого рода «талантов» никак не хотят отказываться от скомпрометировавших себя методов. И вот выращивается в колбе очередной «гомункулус» — на щит поднимается со своими «мемуарами» Светлана Аллилуева. Финал тот же: и от ее книжки брезгливо отвернулись читатели.

Теперь «обнаружены» новые сверхталантливые «интеллектуалы»: Гинзбург, Галансков и иже с ними. Не беда, что никто из них никогда не напечатал в советской прессе ни одной строчки и к Союзу писателей не имеет ни малейшего отношения. Все равно подпольных пасквилянтов, попавшихся на удочку НТС и связавших с этой бандитской организацией свою судьбу, немедленно вписали в бухгалтерский счет западной пропаганды, в ее реестрики: глядите, как много советских писателей активно борется с советской политикой...

Весь наш народ, вся творческая интеллигенция с презрением относятся к ренегатам. Только отдельные

литераторы, не разобравшись в духовном обличье названных отщепенцев, дали буржуазной пропаганде повод зачислить себя в ряды «адвокатов» Гинзбурга, Галанскова и им подобных, а перед общественным мнением родной страны предстали в качестве людей политически незрелых, безответственных.

К сожалению, под письмами, в которых берутся под защиту такие антисоветчики, как Гинзбург и Галансков, стоит несколько давно уважаемых писательских имен. А ведь это как раз то, что позарез нужно враждебной пропаганде. Она немедленно пускает в оборот наряду с измышлениями прожженных клеветников и проходимцев документы, подписанные такими «добряками».

Секретариат правления Союза писателей СССР и секретариат Московской писательской организации сурово осудили политическую безответственность литераторов, подписавших письма в защиту антисоветчиков. Пусть дело касается очень немногих — все равно писательская организация не может мириться с подобными поступками. Они, эти поступки, в корне расходятся с нормами общественной жизни, принятыми в среде советских литераторов.

Писатели, дорожащие своим добрым именем и честью Родины, писатели, глубоко убежденные в том, что их творческая деятельность не может быть отделена от интересов народа, партии, идей социалистического общества, эти писатели, когда становятся невольными объектами враждебной пропаганды, дают достойный отпор своим непрошеным зарубежным радетелям. Можно напомнить целый ряд примеров. Так, нашим идейным недругам несколько лет тому назад не удалось повернуть против Советской власти повесть А. Кузнецова «Продолжение легенды» — повесть о юноше, который после окончания школы пошел работать на строительство, духовно вырос в рабочей среде. Пустив в дело клей, ножницы и бесчестное редакторское перо,

заменив название повести, изобразив на обложке паутину из колючей проволоки, сотрудники одного французского издательства пытались создать у читателей «Продолжения легенды» впечатление, что действие книги происходит не на строительстве, а в... концентрационном лагере. Кузнецов публично в печати отхлестал мошенников по щекам и возбудил против них судебное дело. Процесс кончился тем, что даже буржуазный суд был вынужден наказать фальсификаторов.

За последнее время участились случаи, когда отдельные высказывания советских писателей грубо фальсифицируются. Участились и такие случаи, когда рукописи советских писателей, еще не готовые к печати, жульническими путями добываются и публикуются ради все той же цели: выставить авторов в роли политических оппозиционеров. Естественно, что все это вызывает со стороны советских писателей решительный протест. Так поступил в свое время В. Тендряков. «Литературная газета» опубликовала письмо В. Катаева, категорически отвергшего попытки зарубежных пропагандистов приписать ему недружелюбные высказывания о советской литературе. Против беззаконного опубликования на Западе выкраденного у нее недоработанного произведения печатно протестовала Г. Серебрякова.

Сегодня «Литературная газета» публикует заявление А. Солженицына.

Нужно сказать, однако, что еще много месяцев назад на заседании Секретариата правления Союза писателей СССР А. Солженицыну говорилось, что имя его взято на вооружение реакционной западной пропагандой и широко используется в провокационных, антисоветских целях. А. Солженицын тогда остался глух к такого рода предостережениям и не пожелал высказать своего отношения к той неблаговидной шумихе, «героем» которой он стал.

А. Солженицын — человек многоопытный, полу-

чивший высшее физико-математическое образование, работавший преподавателем. Последние годы Великой Отечественной войны Солженицын провел на фронтах в качестве командира зенитной батареи, имеет награды. Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбывал наказание в лагерях. В 1957 году реабилитирован.

В общественной жизни Союза писателей А. Солженицын участия не принимал. Он предпочел избрать другой путь — путь атак на основные принципы, которыми руководствуется советская литература, которые записаны в Уставе Союза писателей СССР и которые, вступая в Союз писателей, добровольно обязался соблюдать и Солженицын.

За несколько дней до открытия IV съезда писателей А. Солженицын направил съезду письмо, одновременно, в нарушение общепринятых норм поведения, разослав его по меньшей мере еще в 250 самых различных адресов, с очевидным расчетом на то, что оно, уже бесконтрольно, будет и дальше размножаться, пойдет по рукам и станет литературной сенсацией.

Естественно, западная пропаганда легко заполучила это письмо и немедленно подняла вокруг него разнузданную антисоветскую шумиху, поскольку автор в своем письме утверждал, что наша литература находится в тисках угнетения, а признанные во всем мире достижения советской литературы начисто зачеркивал.

Далее А. Солженицын требовал включить в Устав Союза писателей специальный пункт, предусматривающий «все те гарантии защиты, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям». Такой пункт ставил бы Устав Союза писателей над общегосударственными законами, обеспечивающими равную для всех советских граждан защиту от клеветы и несправедливых преследований. Это требование Солженицына западной пропагандой было встречено с ликованием и толковалось

как «доказательство» полной беззащитности советских писателей перед лицом закона.

Буржуазной пропаганде очень по душе пришлись утверждения А. Солженицына, будто бы органы государственной безопасности изъяли у него архивы и рукописи. Однако на запрос Секретариата правления Союза писателей Прокуратура СССР сообщила, что в квартире А. Солженицына, проживающего в Рязани, никаких обысков никогда не производилось и никакие рукописи и архивы у него не отбирались. *Машинописные копии* некоторых рукописей Солженицына, *как анонимные,* были обнаружены при обыске и изъяты вместе с другими компрометирующими материалами в Москве у некоего гр. Теуша. А к Теушу привел ход следствия, возбужденного соответствующими органами в связи с тем, что при таможенном досмотре у одного иностранного туриста были обнаружены рукописные клеветнические измышления о жизни Советской страны.

Среди рукописей, изъятых у гр. Теуша, оказалась, например, пьеса «Пир победителей», в которой Советскую Армию, освободившую мир от фашистской чумы, А. Солженицын представляет как скопище тупиц, насильников, мародеров, вандалов, живущих только шкурными интересами. При этом он весьма сочувственно отзывается о власовцах. В пьесе кощунственно высмеиваются бессмертные подвиги Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Симпатии автора отданы одному «герою» — капитану Нержину, который помогает изменнице родины тайком перейти к власовцам через линию фронта.

А. Солженицын в своем письме IV съезду писателей негодовал: «Эта пьеса приписывается мне теперь как самоновейшая моя работа». И на заседании Секретариата правления Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года, посвященном рассмотрению его письма, он выступил с возражениями против каких-либо упоминаний

«Пира победителей», поскольку, дескать, эта пьеса была сочинена наизусть в лагере и лишь после реабилитации зафиксирована на бумаге. Действительно, «Пир победителей» не является «самоновейшей работой» А. Солженицына. Но как можно делать вид, что такой пьесы не существует, если, доверив хранение своих сочинений поставщику антисоветчины для заграницы, Солженицын тем самым утратил над ними, над пьесой в частности, всякий контроль? Как можно возражать против упоминания «Пира победителей», не протестуя публично против главного — против того, что само имя Солженицына, все вообще его литературные работы и письмо IV съезду писателей западной пропагандой используются в идеологической борьбе против Советского Союза?

Тем не менее на заседании секретариата, в котором участвовали известные советские писатели, обсуждение письма А. Солженицына и всех его «претензий» велось в деловом тоне, с искренней заинтересованностью в творческой судьбе автора.

Участники обсуждения, естественно, ожидали, что Солженицын прислушается к их советам, а также выразит свое отношение к политическим провокациям враждебной западной пропаганды, связанным с его именем. Однако все поведение Солженицына на заседании секретариата носило подчеркнуто демагогический характер. Сославшись на «нехватку времени», Солженицын отказался ознакомиться с высказываниями антисоветской зарубежной печати, воздающей хвалу его письму. Вместо этого он в ультимативном тоне настаивал на немедленной публикации его новой повести «Раковый корпус», которая в идейном отношении, как отмечалось на секретариате, нуждалась в существенной переработке. А затем пытался вступить в своеобразный торг с секретариатом относительно того, на какие «уступки» он согласен будет пойти, если секретариат выполнит его требования.

25 ноября 1967 года Секретариат правления Союза писателей послал А. Солженицыну письмо, в котором просил его сообщить, намерен ли он все же тем или иным способом высказать свое отношение к непрекращающейся антисоветской шумихе вокруг его имени. Последовал ответ, размноженный опять-таки во многих экземплярах, из коего следовало, что Солженицын и впредь намерен использовать «общественное мнение» Запада, как инструмент давления на Союз писателей.

На этих позициях А. Солженицын оставался и на последовавших затем личных с ним беседах в секретариате.

В апреле 1968 года снова во множестве копий А. Солженицын разослал еще два письма, в которых высказывает деланную тревогу относительно предстоящей публикации «Ракового корпуса» в реакционнейших издательствах Запада и лицемерно возлагает моральную ответственность за это на Секретариат правления Союза писателей СССР. Кстати, на этот раз адресаты Солженицына получили и приложение к письму — запись заседания секретариата, сделанную им самим, сделанную тенденциозно, крайне необъективно, с таким расчетом, чтобы создать выгодное для него представление о характере и тоне обсуждения. Запись эта, разумеется, тут же была включена в реестр антисоветских материалов и пущена в оборот буржуазной пропагандой.

Раздувая провокационную шумиху вокруг повести «Раковый корпус», враждебные нам радиоцентры взяли на вооружение еще один «документ», именуемый ими «открытым письмом В. Каверина». Превратно толкуя ряд событий нашей литературной жизни последних лет, В. Каверин в том же духе, что и А. Солженицын в своей распространенной на Западе записи, извращает отношение некоторых членов секретариата к изданию повести «Раковый корпус».

Нет нужды разбирать это письмо в подробностях.

Достаточно сказать, что, слушая его чуть ли не ежедневно в исполнении зарубежных «голосов», В. Каверин не счел нужным выступить против этого враждебного нам «хора».

Письмо А. Солженицына было написано в апреле с. г., когда, по словам самого же автора, на Западе в разных изданиях уже *началось* печатание отрывков из «Ракового корпуса». Ясно — и Солженицыну прежде всего, — что публикация письма ничего не могла изменить. Тем более, что в нем высказывалась по существу лишь забота о том, чтобы издатели, не дай бог, в спешке не исказили текста повести. А против использования его имени и его произведений в антисоветских целях А. Солженицын не протестовал.

Хотелось надеяться, что А. Солженицын наконец осознает необходимость выступить с резким протестом против действий зарубежных издательств, отмежуется от непрошеных «опекунов», во всеуслышание заявит о нежелании иметь что-либо общее с провокаторами-недругами нашей страны. Но Солженицын этого не сделал.

Не сделал он этого и после того, как ряд зарубежных издательств, продолжая разжигать антисоветские страсти, объявили недавно о том, что они готовятся опубликовать еще одно произведение А. Солженицына — «В круге первом», — содержащее злостную клевету на наш общественный строй. Стало окончательно ясно, что А. Солженицына вполне устраивает роль, отведенная ему нашими идейными недругами, и что он готов выражать протесты, лишь подобные публикуемому сегодня.

Писатель А. Солженицын мог бы свои литературные способности целиком отдать Родине, а не ее злопыхателям. Мог бы, но не пожелал. Такова горькая истина. Захочет ли А. Солженицын найти выход из этого тупика, зависит прежде всего от него самого.

История возложила на советских писателей большую и благородную ответственность глашатаев передо-

вых идей века, идей коммунизма, борцов за социальные, духовные ценности, завоеванные социалистическим строем. Это ответственность перед историей, обществом, собственным талантом, который расцветает только в служении большой цели, в служении народу. Это ответственность человека, чувствующего себя в современном мире не сторонним наблюдателем или брюзжащим нигилистом, а бойцом за коммунистические идеалы.

Решения апрельского Пленума ЦК КПСС еще раз напоминают каждому работнику идеологического фронта, что живем мы в нелегкое время, что острие главного удара врага направлено сейчас именно против духовных ценностей социализма.

Когда мы окидываем мысленным взором все, что сделано нашей литературой за годы Советской власти, и размышляем о новых задачах, стоящих перед нею, мы отчетливо видим — сделано много. Нужного, полезного для народа и с благодарностью принятого, высоко оцененного народом. Создана новая, высокоидейная и высокохудожественная литература социалистического реализма, творческие возможности которого неисчерпаемы. Не обольщаемся: были на сложном, трудном пути нашей литературы и огорчительные неудачи. Но писатели Страны Советов всегда оставались с народом, с партией, вместе с ними прошли через все испытания, вместе пойдут и в новые сражения за торжество коммунистических идей, за мирный труд на всей планете, за подлинную свободу для всего человечества.

ПИСЬМО В. ТУРЧИНА А. ЧАКОВСКОМУ

«Литературная газета» опубликовала статью «Идейная борьба. Ответственность писателя».* Если не считать вводной части, содержащей лишь хорошо известные общие положения, статья эта целиком направлена на дискредитацию писателя А. И. Солженицына. Содержание и тон этой статьи вызывают у меня глубокое возмущение. Поскольку статья появилась в газете без подписи, она воспринимается как редакционная, и я обращаюсь к вам, как к ее автору.

В этой статье вы преследуете цель опорочить А. И. Солженицына и представить его в глазах читателя человеком непорядочным и враждебным своему народу, причем вы пытаетесь достичь этого не указанием на какие-либо реальные факты (да я убежден, что таких фактов и нет), а путем голословных, ничем не подтвержденных обвинений, путем литературных ругательств, путем фальсификации и клеветы. Ваша статья пестрит такими выражениями, как «высказывает деланную тревогу», «пытался вступить в своеобразный торг», «лицемерно возлагает моральную ответственность» и т. п. Даже приводя биографические сведения о Солженицыне, вы называете его человеком «многоопытным». Вы, очевидно, не можете не знать, что выражение «многоопытный» применяется только по отношению к жуликам. Какое право имеете вы говорить так о солдате, защищавшем Родину от фашистов, о гражданине, незаслуженно пострадавшем от сталинского произвола, о писателе, каждая строчка которого свидетельствует о его искренности, о его любви к людям?

---

* 26 июня 1968 г.

Вы называете «Раковый корпус» идейно незрелым произведением, а «В круге первом» — злостной клеветой на наш общественный строй. Я читал и то, и другое и нахожу оба произведения правдивыми и глубокими, составляющими большой вклад в русскую литературу, как и те рассказы Солженицына, которые были опубликованы в нашей печати. Солженицын поражает советского читателя тем мужеством, с которым он пишет правду — так, как он ее видит и понимает. Конечно, вы можете не соглашаться с его ви́дением и пониманием правды; в отличие от вас, я признаю это право за каждым человеком. И если бы вы напечатали статью с анализом этих двух произведений Солженицына, содержащим сколь угодно резкую критику (именно, критику произведений, а не ругательства в адрес автора), то никто не мог бы предъявить вам никаких претензий. Правда, такую статью вы могли бы опубликовать — если вы порядочный человек — лишь после того, как опубликованы произведения, о которых идет речь, чтобы каждый читатель мог составить о них свое мнение. Но этого-то вы как раз ни в коем случае не хотите допустить по той простой причине, что вы боитесь правды, правды как таковой, в чьем угодно понимании: Солженицына, моем или вашем... Да, вы боитесь правды даже в вашем собственном понимании! Вы так привыкли к маскараду, что писать то, что думаешь, представляется вам прямо-таки непристойным; это вроде как попасть голым в общество прилично одетых господ. Именно такое содержание скрывается обычно под маскарадным термином «идейно незрелое произведение».

Теперь о клевете. Я, конечно, не отрицаю права обвинять кого-либо публично в клевете, и несколько ниже я сам воспользуюсь этим правом. Но давайте вспомним, что мы называем клеветой. Я думаю, вы согласитесь с таким, например, определением: клевета это распространение заведомой лжи (то есть такой лжи, о которой распространитель точно знает, что она — ложь) с целью

опорочить объект клеветы. Вы называете «В круге первом» злостной клеветой на наш общественный строй, иначе говоря, вы утверждаете, что Солженицын написал это произведение не для того, чтобы поделиться со своими соотечественниками пережитым и передуманным во время заключения, а специально сочинил ряд небылиц, руководствуясь лишь желанием опорочить наш строй. Я заявляю, что не верю вам. Я не верю, что вы так думаете. Не может так думать человек, прочитавший «В круге первом». Если бы вы написали, что это произведение тенденциозное, вредное и т. п., то я, пожалуй, поверил бы вам, что это ваше действительное мнение (в конце концов, для вас оно, быть может, и в самом деле вредное). Но вы перестарались, гражданин редактор, несмотря на весь свой опыт в подобного рода делах. Писатель раскрывается в своих произведениях. Поверить, что Солженицын клеветник, невозможно, и невозможно поверить, что вы так думаете о нем. Но отсюда следует, что вы распространяете ложь, в которую не верите сами, а это есть не что иное, как клевета.

Ваше освещение писем Солженицына, написанных в связи с отказом печатать «Раковый корпус» и другими обстоятельствами, мягко выражаясь, тенденциозно. Что касается пьесы «Пир победителей», то я не вижу большой разницы в том, изъяты ли архивные материалы из квартиры писателя или из квартиры его знакомого, у которого он по каким-то соображениям решил их хранить. Он имеет также полное право хранить копию с этих материалов. До тех пор, пока писатель не публикует своего произведения или не распространяет его каким-либо другим способом, оно остается его личным архивным документом, у вас же нет никаких фактов о том, что Солженицын распространял пьесу «Пир победителей». Напротив, он распространил письмо, в котором подчеркивал личный характер этого документа и возражал против его распространения. Если бы не вмешательство государственных органов, то никто и не

знал бы об этой пьесе. Так что, если он и «утратил контроль» над ней, как вы выражаетесь, то отнюдь не по своей вине.

Каковы же реальные, наблюдаемые факты, которые вызвали появление вашей статьи? Вот они.

А. И. Солженицын пишет повесть «Раковый корпус» и направляет ее в печать. Сначала ее намереваются печатать, но затем отказываются. Солженицын пишет письма в разные инстанции, добиваясь издания повести, но безуспешно. Между тем, повесть вызывает большой интерес и начинает распространяться в машинописи. В конце концов она попадает на Запад, и становится известно, что она будет в ближайшее время издаваться там. Солженицын пишет письмо в «Литературную газету», в котором заявляет, что рукопись он зарубежным издателям не передавал, что поэтому все зарубежные публикации объявляет незаконными и будет преследовать всякое искажение текста, а также его экранизацию или инсценировку.

Вот и все. Теперь скажите, пожалуйста, что вызывает здесь вашу злобу? В чем неправ Солженицын? Его заявление написано ясно, четко и достойно. Оно преследует цель пресечь использование его произведения в целях, враждебных по отношению к его родине и к нему самому. Вам следовало бы напечатать это заявление тогда, когда вы его получили, то есть два месяца назад. Почему вы не сделали этого?

Я вижу только одно объяснение: заявление Солженицына, напечатанное само по себе, было бы встречено нашей общественностью с сочувствием, и всем было бы ясно, что ответственность за то, что «Раковый корпус» издается впервые не на родине автора, а за границей, а также за возможное использование этого факта в антисоветских целях, лежит не на авторе, а на тех, кто препятствовал публикации повести. Вас это не устраивает, и вы решаетесь опубликовать заявление Солженицына лишь потратив два месяца на сочинение оскор-

бительной статьи, ставящей целью опорочить Солженицына путем ругани и фальсификации. В заявлении Солженицына вам недостает дюжины стандартных проклятий по адресу лакеев империализма. Вы не можете простить Солженицыну его независимости и чувства собственного достоинства. Это-то и вызывает вашу злобу. Подобно этому, взяточники, например, больше всего на свете ненавидят бескорыстных людей: ведь они разрушают их теорию, что иначе жить нельзя, и лишают их морального оправдания. При этом вы отлично знаете, что Солженицын лишен возможности дать вам отпор в печати. Ах, как любите вы и вам подобные бить связанного по рукам и ногам человека, особенно когда этот человек выше вас в профессиональном и нравственном отношении!

Я хочу еще отдельно остановиться на тех нескольких фразах, в которых вы касаетесь биографии Солженицына, ибо значение этих фраз выходит за рамки темы статьи. Вы пишете: «Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбывал наказание в лагерях. В 1957 году реабилитирован». Вот как, оказывается, «отбывал наказание»! Не «был заключен», а «отбывал наказание»! Вы что же, не знаете, что понятие «наказание» включает в себя понятие «преступление»? Вы, конечно, можете возразить, что в следующей фразе написано «был реабилитирован», а это указывает на отсутствие преступления. Да, формально это так, но от этого гнусный намек, заключенный в словах «отбывал наказание», не снимается. После слов «был осужден и отбывал наказание» слова «был реабилитирован» воспринимаются просто как «был освобожден», то ли по амнистии, то ли по окончании срока. В подтексте этих строчек мне видится один из самых отвратительных типов русской истории — тупой самодовольный мещанин, который в 1968 году рассуждает примерно так: «Да, реабилитирован, ну и что? Раз посадили, значит была при-

чина. Меня вот, например, не посадили же! Просто так Хозяин не сажал!.. Конечно, потом времена изменились, пришлось реабилитировать... Но все равно, антисоветчик он и есть антисоветчик...» Да, таков подтекст, и не вздумайте сказать, что вы его не чувствуете! Как и любой советский редактор, вы большой специалист по подтекстам и контекстам, вы по тридцать раз ощупываете и обнюхиваете каждую фразу, прежде чем пропустить ее в печать. Именно с намерением получить такой подтекст вы и сформулировали эти фразы. Они относятся, по существу, ко всем невинно осужденным людям. Вам мало перенесенных ими нравственных и физических мучений, вы продолжаете их травлю, начатую в сталинское время, делая это исподтишка через подтекст. В этих фразах вы не на стороне невинно осужденных, а на стороне сталинских доносчиков и палачей.

В течение некоторого времени я поддерживал связи с «Литературной газетой», моя фамилия даже появлялась на ее страницах. Теперь мне приходится стыдиться этого. Я заявляю, что до тех пор, пока вы остаетесь главным редактором «Литературной газеты», я отказываюсь в какой бы то ни было форме сотрудничать с ней, отказываюсь подписываться на нее и покупать ее. Я полагаю, что для всякого человека, разделяющего мою точку зрения на статью о Солженицыне, это единственно возможная реакция на нее.

В. Ф. Турчин

28 июня 1968 г.

ПИСЬМО ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ

Ответственность писателя
и безответственность «Литературной газеты»

Бывают статьи, которые читаешь с натугой. Пытаешься читать — и невольно откладываешь в сторону. Берешь снова, пробуешь что-нибудь извлечь, получить — и опять не удается. Статья сама мешает себя читать. Не от того, что она предлагает уму и сердцу новую пищу, которая тебе не по зубам. Наоборот, чувство такое, будто жуешь пережеванное. Автор не произвел никакого труда мысли; он лишь механически повторил привычные слепления слов, а иногда и фраз, а иногда и целых абзацев. Ему было легко писать — вот почему читать затруднительно.

Статью под названием «Идейная борьба. Ответственность писателя», помещенную в «Литературной газете» 26 июня с. г., я несколько раз брала в руки — и снова откладывала, не преодолев затруднений. Речь идет о борьбе идей, а идей-то и не ухватишь; не борьба, а скольжение по накатанной дорожке; не идеи, а вереницы слов. Если преданность, то беззаветная, если верность, то безграничная, если волна клеветы, то мутная, если отпор, то достойный. Воображения не хватает, чтобы за этим набором готовых штампов увидеть преданность, верность или обжечься ядом клеветы. Если встречи, то регулярные, если клеветническая кампания, то разнузданная, если отстаивание, то последовательное, а если речь зашла о литераторах, требующих пересмотра дела Гинзбурга, то они, эти литераторы, уж конечно «отдельные». Не работа мысли, а механическая перестановка значков.

И я сдалась бы на свое нежелание дочитать статью до конца... Но дочитала: в середине речь зашла о Солженицыне. Все эти пустые словеса вели, оказывается, к обсуждению его работы и жизни.

Автор взялся изложить биографию А. Солженицына. Но изложил ее без надлежащей точности.

Помянул письмо Съезду писателей, «Раковый корпус», «В круге первом» — осудил их, не представив для того оснований.

Имя Солженицына — слишком дорогое имя в нашей литературе, чтобы позволительно было оставлять без опровержения малейшую неправду о нем. Тем более, что в данном случае читатель вполне беззащитен, книг Солженицына и сведений о его жизни взять ему неоткуда.

Я попытаюсь хоть отчасти восполнить этот пробел и сделать для читателя ясной истинную подоплеку борьбы, завязавшейся вокруг Солженицына.

«Последние годы Великой Отечественной войны, — сообщает газета, — Солженицын провел на фронтах в качестве командира зенитной батареи, имеет награды».

Солженицын был призван в армию в 1941 г. Через год, по окончании специального училища, назначен командиром артиллерийской батареи. Артиллерийская батарея, как известно, — не зенитная, а 1942 — не один из последних, а, напротив, один из первых годов войны. Разумеется, ошибки эти ничтожны, но в статье об ответственности писателя не следовало бы допускать и таких. Журналистика — тоже дело ответственное.

Читаем дальше: «Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбывал наказание в лагерях. В 1957 г. реабилитирован».

Тут нет фактических неточностей. Но этот абзац — нечто гораздо худшее, чем неточности.

Солженицын действительно реабилитирован. Какое же право, моральное и юридическое, имеет «ЛГ»

публично заговаривать о несовершенном им преступлении? Ведь граждане, реабилитированные после смерти Сталина, — это же жертвы ежовского, бериевского, абакумовского — короче, сталинского террора, которые не были виновны перед законом и обществом; напротив, общество и учреждения, призванные вершить и охранять закон, оказались виновны перед ними. Зачем же газета бесстрастным голосом и как бы между прочим снова преподносит читателю уже разоблаченную ложь? Оба факта на выбор: хотите — верьте обвинению, хотите — реабилитации... Совсем как в известном анекдоте: «Петров? Ах, это тот, с которым что-то случилось, не припомню, что именно: то ли он кого-то обокрал, то ли его обокрали... Во всяком случае, будьте осторожны».

Могу заверить «ЛГ»: обокрали е г о. На 8 лет жизни. Украли бы и целую жизнь («вечная ссылка»), да Сталин оказался не вечен.

В 1963 г. (в предисловии к книге «Один день Ивана Денисовича») было сказано: «арестован по ложному политическому доносу». Прошло всего 5 лет — и бедная «ЛГ» заблудилась в тумане и снова не знает, где истина.

Реабилитация Солженицына («Определение № 4 н-083/57 Верховного Суда СССР от 6 февраля 1957 г.») * составлена, к счастью, очень подробно и дает полное представление о его боевом пути и о причинах обрушившихся на него гонений.

Солженицын «храбро сражался за Родину, — написано в этом документе, — неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям». «...Награжден орденами: Отечественной войны II степени и Красной Звезды».

За что же этот боевой офицер, прошедший с нашей

---

* Срав. «Документ о реабилитации...», стр. 151. Дата и № расходятся.

армией путь до Восточной Пруссии, был в феврале 1945 г. арестован, без суда осужден и отправлен в лагерь?

Тот же документ отвечает на этот вопрос совершенно исчерпывающе: «Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и в письмах к своему товарищу, говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина...»

Вот в чем причина, вот где ключ к пониманию судьбы Солженицына. Он смолоду, раньше других разгадал Сталина; возмужав, сделавшись писателем, начал разоблачать сталинщину не только в дневниках и письмах. Вот причина гонений на него в прошлые времена и горестных особенностей его литературной биографии в наши...

«ЛГ» в той же статье об идейной борьбе и ответственности, с полнейшей безответственностью и не утруждая себя доказательствами, называет роман «В круге первом» — клеветническим.

Не потому ли, что среди других заплечных дел мастеров там выведен в том же качестве Сталин?

— А разве нельзя, — спросит читатель, — разоблачать Сталина?

Инструкции такой я не читала, распоряжения не слышала, но, судя по всему, оно существует. Судя по тому, хотя бы, что вот уже несколько лет редакции, за редчайшими исключениями, аккуратно вычеркивают из всех статей упоминания о гибели наших соотечественников в сталинских лагерях и тюрьмах. «Нам разъяснили, — любезно сообщил мне один редактор, — что если каждый раз указывать, у читателя может создаться впечатление будто и х было слишком много».

И х — то есть заключенных. Погибших.

Ну как же при таких разъяснениях напечатать «В круге первом», роман Солженицына, где основное дей-

ствие происходит в тюрьме в Москве, где собрана техническая, инженерная, филологическая интеллигенция из несметных тюрем и лагерей Сибири? У читателя в самом деле может создаться впечатление, что и х было много, слишком много! Гораздо естественней в наши дни звучит хвала Сталину, изделия С. Смирнова. Про это произведение «ЛГ» не напишет, что оно клеветническое.

Вот как изображает С. Смирнов похороны своего героя:

И тогда, возвышенный над каждым,
Он ушел от нас не одинок:
Сотни душ растоптанных сограждан
Траурный составили венок.

Читатель должен представлять себе, при какой погоде совершаются попытки романа «В круге первом» и повести «Раковый корпус» появиться на свет. Погода такая: можно напечатать в толстом журнале, что растоптанные люди — венок.

Утром, просыпаясь, и вечером, засыпая, мы должны помнить, что гениальный «Реквием» Ахматовой, этот плач обо всех замученных и убиенных, до сих пор не напечатан, а кособокие вирши Смирнова, этот плач на могиле их мучителя, беспрепятственно опубликован в журнале «Москва», 1967, № 10.

Вот какая у нас нынче погода!

С точки зрения цензур и редакции в стихах Смирнова все обстоит благополучно: о н и там не упомянуты — т е, кого успел растоптать Сталин д о своих похорон.

Рассказав о XX съезде («Мы потом сошлись в Колонном зале — Лучший цвет завода и села»), Смирнов мимоходом осуждает культ личности, но тем не менее от самой личности продолжает оставаться в восторге:

Да! В таких — буквально — людях-глыбах,
До вершин вознесшихся не вдруг,
Надо не замалчивать ошибок,
Но и не зачеркивать заслуг.

Вряд ли истребление миллионов неповинных людей Смирнов осмеливается считать заслугой Сталина. Стало быть оно в его глазах «ошибка». Не преступление против человечности, за которое должны нести ответственность сообщники сталинских злодейств; не зверство, не самая грандиозная провокация, какую когда-либо знала история, — провокация, едва не сбившая с толку целый народ, — а деликатненько: «ошибка» (со стороны «буквально человека-глыбы, до вершин вознесшейся не вдруг»).

В дальнейших строках Смирнов признается, что он до сих пор не знает объективной истины о Сталине. Ну, уж если до сих пор не знает, — тут уж боюсь, ему не поможешь ничем. Вот разве что: не почитать ли ему Солженицына?

Я вовсе не намерена сводить все богатство философского, социального, нравственного содержания книг Солженицына к разоблачению сталинщины. Для них это слишком узко. И если я подчеркиваю сейчас антисталинскую направленность его произведений, то лишь потому, что у «ЛГ» о ней ни слова, а между тем в нейто и зарыта собака. В ней — и в перемене погоды.

В 1964 году на роман «В круге первом» с автором заключил договор журнал «Новый мир». Сегодня, в 1968 году «ЛГ» сообщает, что роман — это «злостная клевета на наш общественный строй». Что же переменилось? Роман? Нет. Строй? Тоже нет. Наше прошлое? Оно неизменяемо. Изменилась погода. Дана новая беззвучная команда: окутать прошлое туманом. Не расслышав этой команды, читатель не поймет, почему не напечатаны до сих пор ни «Раковый корпус», ни «В круге первом». Почему у автора два года назад конфискован архив и до сих пор не возвращен ему. Почему перестали в библиотеках выдавать «Один день Ивана Денисовича». («И х там слишком много!»). Почему на специальных инструктажах, из года в год, распространяются о

Солженицыне злобные выдумки: сотрудничал с немцами! был в плену! уголовник, блатной! шизофреник!

Надо ведь изобрести способ расправиться с писателем, который продолжает разоблачать сталинщину уже после того, как дана команда забыть о ней. Нет, конечно, вспоминать можно, но лишь на такой манер:

Всенародно, в октябре и в мае,
Мы сверяли чувства по нему.
И стоял он, руку поднимая,
Равный громовержцу самому.

В повести «Раковый корпус» Сталин не изображен. Это скорее философская, нежели историческая повесть. Тут, как в повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», автор ставит своих героев лицом к лицу со смертью и каждого заставляет оглянуться на прожитую жизнь и задуматься над ее смыслом. Над смыслом жизни — своей и общей. В туго завязанном жизненном узле переплетаются не только судьбы — мысли; тут что ни человек — то носитель идеи, завоеванной, выстраданной целой жизнью, — накануне конца. Повесть совершает то великое дело, которое и должна творить литература: она учит работать мысль читателя. Но издана она лишь в Самиздате; 8 глав, сверстанные в «Новом мире», были из журнала вынуты. Вынуты, несмотря на то, что секция прозы обсуждала повесть и все 24 выступавших говорили о необходимости ее напечатать.

«В идейном отношении, — глубокомысленно заявляет «ЛГ», — повесть, как отмечалось на секретариате, нуждалась в существенной переработке». И это в статье единственная характеристика повести! Искусство бюрократического письма в том и состоит, чтобы осудить чью-то мысль (или книгу), не дав читателю ни малейшего представления о ней.

А любопытно было бы узнать: какая именно идея

из проповедуемых автором не устраивает секретариат? Идея очеловечивания человека? Ненависть к бессмысленной жестокости, пропитывающей жизнь до краев? Преклонение автора перед самоотверженной работой врачей? Размышления о том, в какой мере врач может самостоятельно решать судьбу больного? Какая именно?

На все эти вопросы «ЛГ» ответить не только не хочет — не может. Тут в самом деле должен совершаться труд мышления, а думать и обосновывать свои мысли — это вовсе не то же самое, что переставлять словечки: настойчивый отпор и мутная волна. Тут нужен анализ чужих идей, чужих аргументов, нужны поиски собственных доводов, живая, напряженная, страстная, строгая работа ума. Статья же «Идейная борьба...» поражает своей безыдейностью. Какая уж тут борьба идей, если свежим и грозным раздумьям Солженицына, скорбным укоризнам Каверина, выступившего на защиту солженицынской повести, всем их мыслям, основанным на целой груде тут же приведенных ими фактов, газета противопоставляет не идеи, не мысли и, уж конечно, не факты, а либо порочащие ярлыки, либо какие-то пустые придирки, совершенно внешние, не касающиеся сути идущего спора... Солженицын, видите ли, отправил свое письмо съезду «в нарушение общепринятых норм поведения», т. е. не в одном экземпляре, как положено, а в сотнях — Президиуму, журналам, делегатам. Да забудьте вы хоть на минуту о способе, каким было послано письмо, вспомните о самом письме, напечатайте его или расскажите читателю его содержание, ответьте на него, попробуйте противопоставить мыслям автора свои собственные, если они у вас есть, опрокиньте, опровергайте его утверждения в открытом бою — тогда это будет называться идейной борьбой! А до тех пор это бюрократическая придирка. На роман «В круге первом» вы истратили 6 слов: «содержит злостную клевету на наш общественный строй» — а в романе 35 печатных листов, а в романе десятки героев, а дейст-

вие охватывает самые разные слои нашего общества, разные его этажи, а сумма идей такова, что их хватило бы на 10 романов; где же именно скрывается злостная клевета? Из чего она складывается? В чем состоит? Почему бы вам не вытащить ее наружу и не опровергнуть?

Вы ставите в вину Каверину, что он будто бы ежедневно слушает по иностранному радио свое письмо Федину (какая богатая осведомленность о домашнем быте писателя), когда же дело доходит до дела, т. е. до содержания письма, вы замечаете: «нет нужды разбирать это письмо в подробностях».

Нет нужды? Если так, — не называйте свое выступление идейной борьбой. Это какая-то другая борьба, не идейная.

У «ЛГ» своя забота: Солженицын должен отмежеваться от шумихи, поднятой вокруг его имени на Западе. Вот тогда-то он сделается, наконец, идейным писателем и может надеяться быть удостоенным упоминания рядом с самой Галиной Серебряковой. (А не отмежуется — пусть пеняет на себя.) Главное, от чего ему следует отмежеваться, — это от шумихи, поднятой на Западе вокруг письма съезду. (А заодно, хорошо бы и от идей письма.)

Когда я впервые прочитала это необыкновенное письмо, мне представилось, что сама русская литература оглянулась на пройденный путь, обдумала, взвесила все, что ей довелось пережить, подсчитала утраты и потери, помянула гонимых — тех, кого загубили на воле, взвесила урон, нанесенный гонениями на писателей духовному богатству страны и голосом Солженицына произнесла: довольно! больше так нельзя! будем жить по-другому!

Солженицын сделал все возможное, чтобы голос русской литературы раздался на съезде. Но несмотря на то, что десятки делегатов поддержали его и обратились в президиум съезда с требованием обсудить письмо, — оно ни оглашено, ни обсуждено не было.

Трудненько, видно, бороться с идеями; гораздо легче замалчивать их, и, замалчивая, порочить.

Голос литературы так и не прозвучал на писательском съезде.

И это понятно. Их, проклятых, и в этом письме слишком много: среди писателей одних лишь реабилитированных 600 человек, из них посмертно — 180! Опровергнуть письмо невозможно — и факты, и выводы неопровержимы; гораздо легче сообщить, как сделала «ЛГ», что «западная пропаганда подняла вокруг письма разнузданную антисоветскую шумиху». Шумиха-шумихой, а в чем же дело в письме? В чем его содержание? Почему шум шумихи заглушает для «ЛГ» смысл самого письма?

Единственное место, которое газета рискует изложить и на которое пытается ответить, — это предложение внести в Устав СП пункт об обязанностях Союза защищать неправо гонимых.

Как? Защищать? Своих членов? Союз?

В самом деле, развернем это предложение в жизнь, — и мы сами убедимся, что оно фантастическое.

Например: дан сигнал травить Пастернака. Выступает тов. Семичастный, большой знаток литературы, и публично, с трибуны, объявляет великого поэта — свиньей. Да, да, попросту свиньей — чавкающей или хрюкающей, не помню.

А тут СП — слушайте! слушайте! — вместо того, чтобы, покрыв себя навеки позором, исключить Пастернака, вступается за своего собрата и спокойно, с достоинством объясняет на страницах своей газеты невеждам, кто такой Пастернак.

Или вот другой пример: Солженицын. Помечтаем! Вместо того, чтобы сообщать, что архив, отобранный у него, отобран не в Рязани, а в Москве, и не на квартире у Солженицына, а на квартире у его друга (как будто это имеет какую-нибудь важность!), Союз в газете начинает борьбу за возвращение архива. Газета напоми-

нает общественности, что архив писателя — его святое святых, что никто не смеет лезть туда руками, что довольно уже погибло драгоценных писательских архивов в таинственных недрах, что распространять, вопреки воле автора, выкраденную из его архива рукопись, от которой он давно и громогласно отказался, — беззаконие и бесстыдство... Увы! все это лишь в мечтах. А в действительности газета стала соучастницей похитителей: в той же статье пересказала содержание отвергнутой автором пьесы.

Второго такого случая в нашей печати я не знаю. Умышленно не давать читателю представления о повести и романе, за опубликование которых открыто годами борется автор, — и пересказать во всеуслышание пьесу, никогда для распространения и печати не предназначавшуюся и хранившуюся в личном архиве... Это беспримерно. Не выкрасть ли у Солженицына (на этот раз уже из его квартиры в Рязани, а не из квартиры его друга в Москве) дневник или письма к жене и не пересказать ли в «ЛГ»? Это было бы еще интереснее.

Несмотря на горестный и богатый опыт разнообразных писательских гибелей, газета отвергает необходимость внести в Устав Союза пункт об обязанности Союза защищать своих членов: «Такой пункт, — пишет газета, — ставил бы Устав СП над общегосударственными законами, обеспечивающими равную для всех граждан защиту от клеветы и несправедливости».

Да почему же непременно *ставил бы над*? Каждый местком каждого профсоюза имеет такие права — защищать своих членов, и это нисколько не ставит его над судом или прокуратурой, а лишь способствует общей борьбе с произволом и несправедливостью.

Но «ЛГ» столько же дела до справедливости, сколько и до литературы. У нее своя навязчивая идея: добиться, чтобы писатель Солженицын, а заодно и писатель Каверин, вступившийся за Солженицына, отмежевались от шумихи, поднятой на Западе вокруг их

имен. Вокруг их писем: Солженицына — съезду, Каверина — Федину. В письмах обоих писателей заключена неоспоримая правда, а правда, как известно, не превращается в кривду в зависимости от шумихи или от того, на какой волне она передана. Шуми или замалчивай, а правда остается сама собой. И не о шумихе должна думать в первую очередь газета, а о сущности дела: истинно ли то, что вызывает шум?

Я не спорю — это большое несчастье, большое унижение для нашего народа, для всех нас, получать собственное богатство из чужих рук. Но чтобы избежать этого, есть одно-единственное средство: значительные произведения советской художественной литературы и советской общественной мысли надо печатать дома. И передавать по станциям «Маяк» и «Юность». Тогда и читатель окажется духовно накормлен, и шумихи не будет, и заставлять писателей отрекаться и отмежевываться не станет нужды.

Упрекая Федина в том, что он, именно он, помешал напечатать «Раковый корпус» в «Новом мире», Каверин пишет: «Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам. Это значит, что он будет опубликован за границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Англии, Западной Германии, т. е. произойдет то, против чего энергично и неоднократно протестовал сам Солженицын. Возможно, что в руководстве СП найдутся люди, которые думают, что они накажут писателя, отдав его зарубежной литературе? Они накажут его мировой славой, которой наши противники воспользуются для своих целей. Или они надеются, что Солженицын «исправится» и станет писать по-другому? Это смешно по отношению к художнику, который представляет собой пример поглощающего призвания, пример, который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в литературе Чехова и Толстого».

Истину этих слов не заглушит ни шумиха на Западе, ни административный окрик «ЛГ».

«Редкий пример поглощающего призвания»... — точнее о Солженицыне не скажешь. Каждая из его вещей — точно свидетельство на каком-то незримом судилище, где он минуту назад принял присягу говорить правду, одну лишь правду и в с ю правду.

Присягнул — собственной прожитой жизни, людям, с которыми вместе шел по жизненным путям.

Письмо Солженицына кончается так: «Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть».

И такого человека «ЛГ» вздумала обучать ответственности!..

Ну, разве не смешно?

27/VI — 4/VII 1968 г.

ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4 ноября 1969 г.

(Заседание длилось с 15 час. до 16 час. 30 мин.)

Присутствовали из семи членов Рязанской писательской организации — шестеро (секретарь Рязанского отделения Эрнст Сафонов лег на операцию); секретарь СП РСФСР — Ф. Н. Таурин; секретарь по агитации и пропаганде Рязанского обкома КПСС — Александр Сергеевич Кожевников; редактор издательства Поваренкин и еще три товарища из областных организаций.

Данная запись в ходе заседания велась Солженицыным.

На повестке дня — один объявленный вопрос: «Информация секретаря СП РСФСР Таурина о решении Секретариата СП РСФСР 'О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей'».

Сама информация не занимает много времени. Ф. Таурин прочитывает решение секретариата СП РСФСР, вызванное побегом А. Кузнецова за границу, с указанием новых мер идейного воспитания писателей. Сообщает, что подобные заседания уже проведены во многих областных писательских организациях и прошли на высоком уровне, особенно — в Московской писательской организации, где были выдвинуты обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы, а также и против члена Рязанской организации СП — Солженицына.

Прения (регламент — 10 минут).

Василий Матушкин (член СП, Рязань). После нескольких общих фраз о состоянии Рязанской организации: Не могу не сказать об отношении т. Солженицына к литературе и к нашей писательской организации. Тут есть и моя ответственность: я когда-то давал ему рекомендацию при поступлении в Союз писателей. Таким образом, критикуя сегодня его, я критикую и сам себя. Когда появился «Иван Денисович», — не все в нем сразу принималось, многое в нем не нравилось. Но после рецензии Симонова и Твардовского мы не могли спорить. Все же у нас были надежды, что Солженицын станет украшением нашей писательской организации. Эти надежды не сбылись. Взять его отношение к нашей писательской организации. За все эти годы — никакого участия. На перевыборных собраниях он, правда, бывал, но не выступал. Помощь молодым писателям — одна из важнейших наших обязанностей по уставу, — он ее не оказывал, не участвовал в обсуждениях произведений начинающих авторов. Работы никакой у него не было. Возникает мнение и боль, что он высокомерно относится к нашей писательской организации и к нашим небольшим достижениям в литературе. Скажу честно и откровенно, что все его последнее творчество (правда, мы его не знаем, не читали, нас на обсуждение не приглашали) идет вразрез с тем, что пишем мы, остальные. Для нас существует Родина-мать, и нет ничего дороже. А творчество Солженицына публикуется за рубежом, и все это потом выливается на нашу родину. Когда нашу мать поливают грязью, используя его произведения, и Александру Исаевичу дают указания, как надо ответить, и даже печаталась статья в «Литературной газете», то он не реагировал, считая себя умнее.

Баранов (председательствующий). Ваш регламент кончился, 10 минут.

Матушкин — просит еще.

Солженицын. Дать — сколько товарищ просит.

М а т у ш к и н ....* нам придется расстаться с вами.

Николай Р о д и н (член СП, г. Касимов, для создания кворума срочно доставлен на это собрание в больном состоянии). Василий Семенович сказал так, что и добавить нечего. Если взять устав Союза и сравнить с ним гражданскую деятельность Александра Исаевича, то увидим большие расхождения. Мне после Василия Семеновича и добавить нечего. Он не выполнял устава, не считался с нашим Союзом. Бывает так, что некому отдать на рецензию рукопись начинающего писателя, а Солженицын не рецензировал. У меня к нему большие претензии.

Сергей Б а р а н о в (член СП, Рязань). Это очень серьезный вопрос, и своевременно его поднимает правление Союза писателей. Мы в Союзе должны хорошо знать душу друг друга и помогать друг другу. Но что будет, если мы разбежимся по углам, кто же будет воспитывать молодежь? Кто же будет руководить литературными кружками, которых у нас много на производстве и в учебных заведениях? Правильно Василий Семенович затронул вопрос об Александре Исаевиче. Творчества его мы не знаем. Вокруг его произведений вначале была большая шумиха. А я лично в «Иване Денисовиче» всегда видел сплошные черные краски. Или «Матренин двор» — да где он видел такую одинокую женщину с тараканами и кошкой, и чтоб никто не помогал — где такую Матрену найти? Я все же надеялся, что Александр Исаевич напишет вещи, нужные народу. Но где он свои вещи печатает, о чем они? Мы не знаем. Надо повысить требования к себе и друг к другу. Солженицын оторвался от организации, и нам, очевидно, придется с ним расстаться...

С о л ж е н и ц ы н просит разрешения задать один общий вопрос выступающим товарищам, председательствующий отказывает.

---

* Несколько строк неразборчивы.

Евгений М а р к и н (член СП, Рязань). Мне труднее всего говорить, труднее всех. Глядя правде в глаза, — речь идет о пребывании Александра Исаевича в нашей организации. Я не был еще членом Союза в то время, когда вы его принимали. Я нахожусь в угнетенном состоянии вот почему: небывалое колебание маятника из одной амплитуды в другую. Я работал сотрудником «Литературы и жизни» в то время, когда раздавались Солженицыну небывалые похвалы. С тех пор наоборот: ни о ком я не слышал таких резких мнений, как о Солженицыне. Такие крайности потом сказываются на совести людей, принимающих решение. Вспомним, как поносили Есенина, а потом стали превозносить, а кое-кто теперь опять хотел бы утопить. Вспомним резкие суждения после 1946 года*. Разобраться мне в этом сейчас труднее всех. Если Солженицына сейчас исключат, потом примут, опять исключат, опять примут, — я не хочу в этом участвовать. Где тогда найдут себе второй аппендикс те, кто ушли от обсуждения сегодня? А у нас в организации есть большие язвы: членам Союза не дают квартир. Нашей Рязанской писательской организацией два года командовал проходимец Иван Абрамов, который даже не был членом Союза, он вешал на нас политические ярлыки. А с Анатолием Кузнецовым я вместе учился в Литинституте, интуиция нас не обманывает, мы его не любили за то, что ханжа. На мой взгляд, статьи Устава Союза можно толковать двойственно, это — палка о двух концах. Но, конечно, хочется спросить Александра Исаевича, почему он не принимал участия в общественной жизни. Почему по поводу той шумихи, что подняла вокруг его имени иностранная пресса, он не выступил в нашей печати, не рассказал об этом нам? Почему Александр Исаевич не постарался

---

* Т. е. после постановления ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград».

правильно... ...* товарищами вопрос освещен. Мне бы хотелось поставить себя на место Александра Исаевича и представить, как бы я себя вел. Если бы все мое творчество поставили на вооружение за границей, — что бы я делал? Я бы пришел к товарищам посоветоваться. Он сам себя изолировал. Я присоединяюсь к большинству.

Поваренкин. На протяжении многих лет Александр Исаевич был в отрыве от Союза писателей. Не приезжал на перевыборные собрания, а присылал телеграммы: «Я присоединяюсь к большинству» — разве это принципиальная позиция? А Горький говорил, что Союз писателей — это коллективный орган, это — общественная организация. Александр Исаевич, видимо, вступил в Союз с другими целями, чтобы иметь писательский билет. Идейные качества его произведений не помогают нам строить коммунистическое общество. Он чернит наше светлое будущее. У него самого нутро черное. Показать такого бескрылого человека, как Иван Денисович, мог только наш идейный противник. Он сам поставил себя вне писательской организации.

Солженицын снова просит разрешения задать вопрос. Ему предлагают вместо этого выступать. После колебаний разрешают вопрос.

Солженицын просит членов СП, упрекавших его в отказе рецензировать рукописи, в отказе выступать перед литературной молодежью, назвать хотя бы один такой случай.

Выступавшие молчат.

Матушкин. Член Союза писателей должен активно работать по уставу, а не ожидать приглашения.

Солженицын. Я сожалею, что наше совещание не стенографируется, даже не ведется тщательных записей. А между тем оно может представить интерес не только завтра и даже позже, чем через неделю. Впро-

---

* Несколько строк неразборчивы.

чем, на Секретариате СП СССР работали три стенографистки, но Секретариат, объявляя мои записи тенденциозными, так и не смог или не решился представить стенограмму того совещания.

Прежде всего, я хочу снять камень с сердца товарища Матушкина. Василий Семенович, напомню вам, что вы никогда не давали мне никакой рекомендации, вы, как тогдашний секретарь СП, принесли мне только пустые бланки анкет. В тот период непомерного захваливания Секретариат РСФСР так торопился меня принять, что не дал собрать рекомендации, не дал принять на первичной Рязанской организации, а принял сам и послал мне поздравительную телеграмму.

Обвинения, которые мне здесь предъявили, разделяются на две совсем разные группы. Первая касается Рязанской организации СП, вторая — всей моей литературной судьбы. По поводу первой группы обвинений скажу, что нет ни одного обоснованного обвинения. Вот отсутствует здесь наш секретарь т. Сафонов. А я о каждом своем общественном шаге, о каждом своем письме Съезду или в Секретариат ставил его в известность в тот же день и всегда просил познакомить с этими материалами всех членов Рязанского СП, а также нашу литературную молодежь. А он вам их не показывал? По своему ли нежеланию? Или потому, что ему запретил присутствующий здесь товарищ Кожевников? Я не только не избегал творческого контакта с Рязанским СП, но я просил Сафонова и настаивал, чтобы мой «Раковый корпус», обсужденный в Московской писательской организации, был бы непременно обсужден и в Рязанской. У меня есть копии письма об этом. Но обсуждение не было организовано. Я не присутствовал на всех заседаниях Рязанской организации СП — это правда, но причиной то, что я большую часть времени не живу в Рязани, живу под Москвой, вне города. Когда только что был напечатан «Иван Денисович», меня усиленно звали переезжать в Москву, но я боялся там рас-

средоточиться и отказался. Когда же через несколько лет я попросил разрешения переехать, — мне было отказано. Я обращался в Московскую организацию с просьбой взять меня там на учет, но секретарь ее, В. Н. Ильин, ответил, что это невозможно, что я должен состоять в той организации, где прописан по паспорту, а неважно, где я фактически живу. Из-за этого мне и трудно было иногда приезжать на перевыборы.

Что же касается обвинений общего характера, то я продолжаю не понимать, какого такого «ответа» от меня ждут, на ч т о «ответа»? На ту ли пресловутую статью в «Литературной газете», где мне был противопоставлен Анатолий Кузнецов, и сказано было, что надо отвечать Западу так, как он, а не как я? На ту анонимную статью мне нечего отвечать. Там поставлена под сомнение правильность моей реабилитации — хитрой уклончивой фразой «отбывал наказание» — отбывал наказание и все, понимайте, что отбывал за дело. Там высказана ложь о моих романах, будто бы «Круг первый» является «злостной клеветой на наш общественный строй», — но кто это доказал, показал, проиллюстрировал? Романы никому не известны и о них можно говорить все, что угодно. И много еще мелких искажений в статье, искажен весь смысл моего письма Съезду. Наконец, опять обсасывается надоевшая история с «Пиром победителей» — уместно, кстати, задуматься: о т к у д а редакция «Литературной газеты» имеет сведения об этой пьесе, откуда получила ее для чтения, если е д и н с т в е н н ы й ее экземпляр взят из письменного стола госбезопасностью?

Вообще, с моими вещами делается так: если я какую-нибудь вещь сам отрицаю, не хочу, чтобы она существовала, как «Пир победителей», — то о ней стараются говорить и «разъяснять» как можно больше. Если же я настаиваю на публикации моих вещей, как «Ракового корпуса», или «Круга», то их скрывают и замалчивают.

Должен ли я «отвечать» Секретариату? Но я уже отвечал ему на все заданные мне вопросы, а вот Секретариат не ответил мне ни на один! На мое письмо Съезду со всей его общей и личной частью я не получил никакого ответа по существу. Оно было признано малозначительным рядом с другими делами Съезда, и его положили под сукно, и, я начинаю думать, нарочно выжидали, пока оно две недели широко циркулировало, — а когда напечатали его на Западе, в этом нашли удобный предлог не публиковать его у нас.

Такой же точно прием был применен и по отношению к «Раковому корпусу». Еще в сентябре 1967 года я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности, что «Корпус» появится за границей из-за его широкой циркуляции у нас. Я торопил дать разрешение печатать его у нас, в «Новом мире». Но Секретариат — ждал. Когда весной 1968 года стали появляться признаки, что вот-вот его напечатают на Западе, я обратился с письмами: в «Литературную газету», в «Монд» и в «Унита», где запрещал печатать «Раковый корпус» и лишал всяких прав западных издателей. И что же? Письмо в «Монд», посланное по почте заказным, не было пропущено. Письмо в «Унита», посланное с известным публицистом-коммунистом Витторио Страда, было отобрано у него на таможне — и мне пришлось горячо убеждать таможенников, что в интересах нашей литературы необходимо, чтобы это письмо появилось в «Унита». Через несколько дней после этого разговора, уже в начале июня, оно-таки появилось в «Унита», а «Литературная газета» все выжидала! Ч е г о она ждала? Ведь она скрывала мое письмо в течение д е в я т и недель — с апреля до 26 июня?..* Зачем «Литгазета» держала протест 9 недель? Расчет ясен: пусть «Корпус» появится на Западе, и тогда можно будет проклясть и не допустить до советского читателя. А ведь

---

* Несколько строк неразборчивы.

напечатанный вовремя, протест мог остановить публикацию «Корпуса» на Западе, — вот, например, два американских издательства, Даттон и Прегер, когда слухи дошли до них, что я протестую против напечатания «Корпуса», в мае 1968 года, отказались от своего намерения печатать книгу. А что было бы, если б «Литгазета» напечатала мой протест тотчас?

Председательствующий Баранов. Ваше время истекло, 10 минут.

Солженицын. Какой может быть тут регламент? Это вопрос жизни.

Баранов. Но мы не можем вам больше дать, регламент.

Солженицын — настаивает. Голоса — разные.

Баранов. Сколько вам еще надо?

Солженицын. Мне много надо сказать. Но, по крайней мере, дайте еще десять минут.

Матушкин. Дать ему три минуты.

(Посовещавшись, дают еще десять.)

Солженицын *(еще убыстряя и без того быструю речь)*: Я обращался в Министерство связи, прося прекратить почтовый разбой в отношении моей переписки — недоставку или задержку писем, телеграмм, бандеролей, особенно зарубежных, например, когда я отвечал на поздравления к моему пятидесятилетию. Но что говорить, если Секретариат СП СССР сам поддерживает этот почтовый разбой? Ведь Секретариат не переслал мне ни одного письма, ни одной телеграммы из той кипы, которую получил на мое имя к моему пятидесятилетию.* Так и держит беззвучно.

Переписка моя вся перлюстрируется, но мало того: результаты этой незаконной почтовой цензуры используются с циничной открытостью. Так, секретарь Фрунзенского райкома партии г. Москвы вызвал руководителя Института русского языка Академии наук и запретил запись моего голоса на магнитофон в этом ин-

* См. Приложение III.

ституте — узнал же он об этом из цензурного почтового извлечения, поданного ему.

Теперь об обвинении в так называемом «очернении действительности». Скажите: когда и где, в какой теории познания о т р а ж е н и е предмета считается важнее самого предмета? Разве что в обыденных философиях, но не в материалистической же диалектике. Получается так: неважно, что мы делаем, а важно, что об этом скажут, и чтобы ничего худого не говорили, — будем обо всем происходящем молчать. Но это — не выход. Не тогда надо мерзостей стыдиться, когда о них говорят, а когда их д е л а ю т. Сказал поэт Некрасов:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

А тот, кто все время радостно-лазурен, тот, напротив, к своей родине равнодушен.

Тут говорят о маятнике. Да, конечно, огромное качание маятника, не со мной только одним, а во всей нашей жизни: хотят закрыть, забыть сталинские преступления, не вспоминать о них. «Да надо ли напоминать прошлое?» — спросил Льва Толстого его биограф Бирюков. И Толстой ответил, — цитирую по бирюковской «Биографии Толстого», том 3/4, стр. 48...* ...и прямо взглянем ему в лицо — и наше теперешнее насилие откроется».

Нет! Замолчать преступления Сталина не удастся бесконечно, идти против правды не удастся бесконечно. Это преступления над миллионами, и они требуют раскрытия. А хорошо б и задуматься: какое моральное влияние на молодежь имеет укрытие этих преступлений, это — р а з в р а щ е н и е новых миллионов. Молодежь растет не глупая, она прекрасно понимает: вот, были миллионные преступления, и о них молчат, все шито-крыто. Так что же каждого из нас удерживает принять участие в несправедливостях? Тоже будет шито-крыто.

* Несколько строк неразборчивы.

Мне остается сказать, что я не отказываюсь ни от одного слова, ни от одной буквы письма Съезду писателей. Я могу закончить теми же словами, как и то письмо (читает):

«Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды и за движение ее я готов принять и смерть» — смерть, а не только исключение из Союза. «Но, может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни? Это еще ни разу не украсило нашей истории».

Что же, голосуйте, за вами большинство. Но помните: история литературы еще будет интересоваться нашим сегодняшним заседанием.

Матушкин. У меня вопрос к Солженицыну. Чем вы объясните, что вас так охотно печатают на Западе?

Солженицын. А чем вы объясните, что меня так упорно не хотят печатать на родине?

Матушкин. Нет, вы мне ответьте, вопрос к вам...

Солженицын. Я уже отвечал и отвечал, у меня вопросов больше, и поставлены они раньше: пусть Секретариат ответит на мои.

Кожевников (останавливая Матушкина): Ладно, не надо. Товарищи, я не хочу вмешиваться в ваше собрание и в ваше решение, вы совершенно независимы. Но я хотел возразить против (голос с металлом) того политического резонанса, который Солженицын хочет навязать нам. Мы берем один вопрос, а он берет другой. В его распоряжении все газеты, чтобы ответить заграница, а он ими не пользуется. Он не желает ответить нашим врагам. Он не желает дать отповедь заграница — и не ссылаясь на Некрасова и Толстого, а своими словами ответить нашим врагам. Съезд отверг ваше письмо как ненужное, как идейно неправильное. Вы в

том письме отрицаете руководящую роль партии, а мы на этом стоим, на руководящей роли партии. Я думаю, что правильно здесь говорили ваши бывшие товарищи по Союзу — мы не можем мириться! Мы должны идти все в ногу, спаренно, стройно, все заодно, — но не под кнутом каким-то, а по своему сознанию!

Франц Таурин. Теперь этим делом придется заниматься Секретариату РСФСР. Это правильно, что главная суть не в рецензировании рукописей, не в ведении литературных кружков. Главное, что вы, Солженицын, не дали отпора использованию вашего имени на Западе. Это можно отчасти объяснить и несправедливостью давнего приговора...* Но каждый — творец своей собственной судьбы. Поймите, никто не хочет поставить вас на колени. Это заседание — попытка помочь вам распрямиться от всего, что на вас навешали на Западе. Там изображается Солженицын как талантливейший...* Любое решение, которое сегодня будет принято, будет обсуждено и в Секретариате РСФСР.

Левченко (встает читать написанный заранее на машинке проект решения. Читает):

...«Пункт 2-й. Собрание считает, что поведение Солженицына носит антиобщественный характер, в корне противоречащий целям и задачам Союза писателей СССР.

За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам Союза писателей СССР, за грубое нарушение основных положений Устава СП СССР, исключить литератора Солженицына из членов Союза писателей СССР.

Просим Секретариат утвердить это решение».

Маркин. Хотелось бы знать мнение нашего секретаря, т. Сафонова. Он — информирован или нет?

Баранов. Он болен. Собрание наше правомочно.

Голосуют. За резолюцию — пятеро. Против — один.

---

* Несколько строк неразборчивы.

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

«Литературная газета» от 12 ноября 1969 г.

Состоялось собрание Рязанской писательской организации, посвященное задачам усиления идейно-воспитательной работы. Участники собрания в своих выступлениях подчеркивали, что в условиях обострившейся идеологической борьбы в современном мире возрастает ответственность каждого советского писателя за свое творчество и общественное поведение.

В этой связи участники собрания подняли вопрос о члене Рязанской писательской организации А. Солженицыне. Собрание единодушно отметило, что поведение А. Солженицына носит антиобщественный характер и в корне противоречит принципам и задачам, сформулированным в Уставе Союза писателей СССР.

Как известно, в последние годы имя и сочинения А. Солженицына активно используются враждебной буржуазной пропагандой для клеветнической кампании против нашей страны. Однако А. Солженицын не только не высказал публично своего отношения к этой кампании, но, несмотря на критику советской общественности и неоднократные рекомендации Союза писателей СССР, некоторыми своими действиями и заявлениями, по существу, способствовал раздуванию антисоветской шумихи вокруг своего имени.

Исходя из этого, собрание Рязанской писательской организации постановило исключить А. Солженицына из Союза писателей СССР.

Секретариат правления Союза писателей РСФСР утвердил решение Рязанской писательской организации.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА СЕКРЕТАРИАТУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что решение предшествовало «обсуждению». Удобней ли было вам без меня изобретать новые обвинения? Опасались ли вы, что придется выделить мне десять минут на ответ? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное* время, когда вот так же угодливо вы исключили Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключили Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжелобольному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держать и не пущать»!

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелились ответить ни Шолохов, ни все вы

---

* По другому варианту: безвыходное.

вместе взятые. А готовятся на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают? Раз инстанции решили тебя не печатать — задавись, удушись, не существуй! Никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же он виноват, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил тайну кабинета. А зачем вы ведете такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить открыто?

«Враги услышат» — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что бы вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала ненависть, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды Антарктики — и все превратимся в тонущее человечество — и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечеству. А человечество отделилось от животного мира мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать, — мы превращаемся* в животных.

---

* По другому варианту: возвращаемся.

Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности, — тот не хочет очистить его от болезни, а загнать ее внутрь, чтоб она гнила там.

А. Солженицын

12 ноября 1969 г.

Приложение I

ДОКУМЕНТ О РЕАБИЛИТАЦИИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Верховный Суд Союза ССР
Определение № 4н-083/56

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе председательствующего советника юстиции Борисоглебского и членов — полковников юстиции Долотцева и Конева рассмотрела в заседании от 6 февраля 1956 г.

Протест Главного военного прокурора

на постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 7 июля 1945 г., на основании которого по статьям 58-10, ч. 2, и 58-11 УК РСФСР был заключен в ИТЛ сроком на 8 лет Солженицын Александр Исаевич рождения 1918 года, уроженец г. Кисловодска, с высшим образованием; до ареста являлся командиром батареи, участвовал в боях против немецко-фашистких войск и был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

Заслушав доклад тов. Конева и заявление зам. Главного военного прокурора, полковника юстиции Терехова, полагавшего протест удовлетворить,

установила:

Солженицыну вменялось в вину то, что он с 1940 г. и до дня ареста среди своих знакомых проводил антисоветскую агитацию и предпринимал меры к созданию антисоветской организации.

В протесте Главный военный прокурор ставит вопрос об отмене в отношении Солженицына указанного постановления Особого Совещания и прекращения о нем дела за отсутствием состава преступления по следующим основаниям:

Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и в письмах к своему товарищу Виткевичу Н. Д., говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов, о нереалистичности многих из них, а также о том, что в наших художественных произведениях не выясняется объемно и многосторонне читателю буржуазного мира историческая неизбежность побед советского народа и армии и что наши произведения художественной литературы не могут противостоять ловко состряпанной буржуазной клевете на нашу страну.

Эти высказывания Солженицына не содержат состава преступления.

В процессе проверки жалоб Солженицына были допрошены Решетовская, Симонян, Симоньянц, которым Солженицын якобы высказывал антисоветские измышления. Указанные лица охарактеризовали Солженицына как советского патриота и отрицали, что он вел антисоветские разговоры.

Из боевой характеристики на Солженицына и отзыва служившего вместе с ним капитана Мельникова видно, что Солженицын с 1942 г. до ареста, т. е. до февраля 1945 г., находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям.

Исходя из изложенного, Главный военный прокурор считает, что осуждение Солженицына является неправильным, и в связи с этим ставит вопрос о прекращении о нем дела на основании ст. 4, п. 5 УПК РСФСР.

Рассмотрев материалы дела и дополнительной проверки, соглашаясь с доводами, изложенными в протесте, и принимая во внимание, что в действиях Солженицына нет состава преступления и дело о нем подлежит прекращению за отсутствием состава преступления, Военная Коллегия Верховного Суда СССР

определила:

постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 7 июля 1945 г. в отношении Солженицына Александра Исаевича отменить и дело о нем за отсутствием состава преступления на основании ст. 4, п. 5 УПК РСФСР прекратить.

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно: ст. офицер Военной коллегии
майор (Дегтярев)

Приложение II

ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПОВЕСТИ «РАКОВЫЙ КОРПУС» НА ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ ПРОЗЫ МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

17 ноября 1968 года

Г. Березко. Я очень рад, что на наше заседание, обычно не столь многолюдное, пришло сегодня так много народу. Мы обсуждали рукописи и в прошлом. Я и мои товарищи считаем это одной из самых важных форм работы. Такое, необходимое для литературы обсуждение рукописи, чаще всего возникает, когда есть дискуссия между писателем и издателем. Иногда наше вмешательство бывает действенным.

Писатель по характеру своей работы обречен на одиночество. В процессе работы возникает естественное желание посоветоваться с товарищами по ремеслу, — или по искусству, — это кто как считает.

К нам обратился с просьбой писатель А. Солженицын, — я просил бы Вас сюда, в президиум *(А. Солженицын садится за стол)*. Мне очень приятно, что наша первая встреча с талантливым произведением происходит на деловой почве. Это рабочее обсуждение незаконченного романа. Надеюсь, что оно будет плодотворным. *(Обращаясь к Солженицыну:)* — Вы не хотите что либо сказать?

А. Солженицын. — Нет.

А. Борщаговский. Я начну с читательского признания. Готовясь к сегодняшнему обсуждению, я добыл экземпляр рукописи, думая, что бегло пролистаю ее, — я читал рукопись совсем недавно, — но это не

получилось. Я жадно, насквозь, ничего не пропуская, снова прочитал «Раковый корпус». Говорю это, конечно, не к собственной доблести. Думаю, что взяв в руки книгу, когда она выйдет, — а я уверен, что она выйдет, — я снова всю ее прочитаю.

Книга написана на труднейшем материале, на труднейшем сечении жизни, она входит в тебя не сразу. Можно сказать, что трудно обсуждать незаконченную книгу. И это не просто формальный момент. Есть вещи, над которыми думай, не думай сам все равно не решишь. Нельзя ответить на простейшие читательские вопросы о судьбах действующих лиц, нельзя игнорировать эти вопросы. Полный ответ на все эти вопросы даст вторая книга. Но и сейчас то, что есть в первой части, настолько значительно, весомо, радостно по моему восприятию, так необходимо, — что вряд ли мы скоро дождемся произведения столь нужного.

Солженицын выбирает самый необходимый разрез жизни, — в этом помогает выдающийся характер его дарования, — без Вас А. И., эти слова говорить было бы легче. «Раковый корпус» — вещь глубины «Смерти Ивана Ильича»; если брать ее сатирические пласты, — уровня «Господ Головлевых».

Наша литература идет к новому уровню по краям, по обочинам, в новых произведениях Белова, Можаева, — происходит бесконечно важное вглядывание в человека, человека, как он есть, а не такого, каким его можно сконструировать.

Все это мы находим в «Раковом корпусе». Вспомните, как мы бесконечно бились с проблемой положительного героя, она стала прямо каким-то проклятьем. А книги, о которых я говорю, — книги о положительных героях. Кто такой Ефрем? Не очень-то красиво прожил он свою жизнь. Но пусть поздно, пусть за три дня до скончания жизни, он задумался над тем, над чем человеку полагается задумываться раньше. Именно писатели должны толкать людей к этим мыслям. Как и дру-

гих героев Солженицына, Ефрема я вижу. Я чувствую тяжесть его шагов по палате. Он мне преподает важный нравственный урок: если он в состоянии задуматься над смыслом жизни, когда вроде только и остается что зверем завыть и возненавидеть всех, кто остается в живых, — значит это человек.

Палата, в которой происходит действие, поворачивается по-разному. Когда она показана глазами Русанова, — перед нами быдло, нацмены, запах гноя, ужас. Но все другие, — как прекрасно они видят друг друга. Перед читателем возникает характер людей, созданных, воспитанных нашим обществом. Они не прокламируют дружбу народов. Но в них — истинная дружба, и мир глубокой деликатности, свойственной именно человеку из народа, не деликатности воспитанной, потому что «так принято», а истинной. В палате люди, приговоренные к смерти не злобствующим автором, а жизнью. Я вижу этих людей в стремлении понять друг друга, в изначальных мерах. И в этом — нравственная высота книги.

Экземпляр рукописи, который был у меня, прочитало немало писателей. Он испещрен чьими-то пометками чисто цензорского характера. Если отвлечься от многоструйного течения жизни, то выхваченные из контекста фразы могут «насторожить». Особенно некоторые слова Костоглотова. Он раздражен, он не может иначе, он имеет на это право, — но я в нем вижу многие прекрасные черты моего современника. У меня, как и у каждого есть свой внутренний список любимых героев, — и они теперь должны посторониться, дать место Костоглотову.

Все мы знаем, что цензура существует, ей приходит свой черед. Но мне вдруг показалось, что если бы цензорами стали мы, писатели, то всем нам было бы гораздо хуже. Даже школьники не получили бы многих книг, которые давно уже стали классикой.

Я спорю с невидимым противником, ибо будучи

прирожденным полемистом, я, в положении первого выступающего, выброшен как рыба на лед.

Время романа точно обозначено, — февраль 1955 года, канун очистительной грозы прекрасного партийного форума XX партсъезда, которому весь коммунистический мир верен, и будет верен.

Русанов не представляется мне абсолютной удачей книги. Прямая гражданская ненависть столь велика, — и она вполне понятна, — что лишила художника Солженицына тех оттенков, тех толстовских подходов, при которых Русанов был бы живым, не публицистическим, не карикатурным.

Мне не пришлось по душе и все, что связано с литературной жизнью. Дело, конечно, не в том, что я как литератор защищаю литературу, — просто в «Раковом корпусе» идет фельетонный, порядком набивший оскомину разговор. Книги названы случайные. Дёма, великолепно показанный живой мальчик, — я не очень верю, что он набрел на статью об искренности, что он затеял дискуссию об этой статье. Это от лукавого.

На мой личный вкус есть и натуралистические излишества. Я не против того, чтобы зримый мир опухолей наступал бы на человека. Но такие фразы как *(цитирует слова Евгении Устиновны, — отрезанные* груди составили бы гору)*, — такие фразы на мой вкус излишни.

Почему фигура Русанова так нужна? Ведь все сказано о таких, как он, в партийных документах? Так могут думать только прямолинейные люди. Александр Исаевич не зря возвращается к нему. Литература все равно должна такими заняться, — хоть сейчас, хоть через пятнадцать лет. Потому что необходимо воспитать ненависть к русановым. Поразительна в этом смысле глава сна, казнь, которая постигает Русанова во сне. Воспитать ненависть необходимо во имя борьбы с живыми остатками русановщины. И здесь большой

* В тексте «Ракового корпуса» — «удаленные».

гражданский успех книги.

«Раковый корпус» — выдающееся произведение, которое, конечно же, увидит печатный станок, вносит много нового в наше понимание жизни. И приближает нас к тем рубежам, без которых наше общество не может дальше развиваться.

В. К а в е р и н. Когда работаешь в литературе много лет, начинаешь видеть ее не глазами месяца, даже года, а глазами 10, 15, даже 25 лет. Мы незаметно для себя вступили в новый период. Произошло это неощутимо. Мне вспоминается такой эпизод: шли мы с Ю. Тыняновым, мимо проехал грузовик, я посторонился. «Стоит ли, — сказал Тынянов, — пыль как время, даже еще и не замечая, уже живешь им».

Вся деятельность Солженицына характерна для нового времени. Пришла новая литература, — и со старой, рептильной, ползающей, с литературой, признающей только прямую линию, — с нею покончено. Кто теперь помнит о книгах, изданных в миллионах экземпляров, книгах лживых, восхваляющих Сталина прямо или косвенно?

Покончено с позорящим нашу страну пугалом Лысенко. Я много лет был связан с миром науки и я знаю, что это значит. Издаются и имеют успех у читателей те писатели, которые устояли, которые сопротивлялись лжи, — Платонов, Зощенко, Бабель, Булгаков, Заболоцкий. В литературу возвращаются блеск, оригинальность. Эта литература будет иметь мировой успех, если этому не помешают.

Что ни месяц появляются новые имена, новые произведения, вызывающие удивление, радость, зависть. Я назову нескольких, — Казаков, Конецкий, Сёмин, Можаев. На первое место среди них я ставлю Солженицына. В чем сила его таланта? Не только в умении воплотить пережитое, — хотя в этом он и достигает необыкновенных высот. Мне как-то уже приходилось говорить о поразительной гармонии «Одного дня Ивана

Денисовича». Есть у него еще две драгоценных черты, — внутренняя свобода и могучее стремление к правде. Что такое внутренняя свобода? Ведь мы, писатели старшего поколения, много лет скрывали себя от самих себя, путались в противоречиях, — это было естественным следствием сталинского двадцатилетия. Солженицын и лучшие в новой литературе свободны от всего этого. Они отрешились от любой целенаправленности, кроме желания сказать правду.

Пастернак писал Табидзе: «...революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к общественной благотворительности, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буравом без страха и пощады, но в себя, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать».

Увидеть в себе народ, вольно или невольно найти отражение его надежд, радостей и страданий, — вот задача писателя. Наивно представлять себе, что все, что происходило с двухсотмиллионным, великим народом можно забыть по чьему-то указанию. И система сдерживаний тут ни к чему не приведет.

Солженицын очень большой писатель. От него самого зависит станет ли он великим писателем. Все знают, что у нас существует машинописная литература, которая ходит по рукам. Среди этой литературы есть превосходные произведения, например, первоклассный рассказ Солженицына «Правая кисть».

Почему мы сейчас обсуждаем рукопись, а не книгу? Почему до сих пор не издан роман Бека «Новое назначение»? Лучшие, самые опытные литераторы высказались за издание книги Бека. На другой чаше весов было мнение какой-то дамы. И мнение дамы перевесило. И в промышленности и в науке уже прислушиваются к мнению специалистов, в литературе — нет.

Какова идея еще незаконченной книги «Раковый корпус»? Поставить людей разных профессий, разного

уровня образования, разной степени нравственной тонкости лицом к лицу со смертью. Это задача огромная, — бóльшая, чем в «Смерти Ивана Ильича». У меня большие надежды, что эта задача будет решена автором. Он совершает умный психологический разрез, и люди познают неведомые им самим глубины. Это не может не затронуть. Все мы окажемся перед лицом смерти. Характеры не только написаны, но и устремлены к самопознанию. Глубоко задуман Ефрем. Костоглотовым движет не только воля к жизни, но и небоязнь смерти. Это мысль великая и глубоко конструктивная. Небоязнь смерти стала залогом нашей победы в войне. Небоязнь смерти стала залогом сохранения науки и искусства в условиях террора и лагерей.

Автор производит вивисекцию Русанову, — в точном патолого-анатомическом смысле слова и обнаруживается страшная пустота. Я согласен с Александром Михайловичем, возможно Русанов слишком прямолинеен. Автор скальпелем вскрывает его страх. Русанов — сильное воплощение мертвого идола сталинизма. Интересен Вадим, супруги Кадмины, — хотя здесь немного затянуто. (Березко: «А по-моему мало о них, об этих прекрасных людях».) Неслучайно в конце ощущение шагов истории. Как и всеми нами, Костоглотовым движет не злоба, не ненависть, а надежда.

Трудно судить о неоконченном произведении, но и сейчас можно сказать, что это книга огромной совести, которая всегда воодушевляла русскую литературу. Сюжета в собственном смысле слова нет, ничего не происходит, а как держит читателя! Почему до сих пор не напечатана эта рукопись? Найдутся ли нравственные уроды, которые будут защищать русановский террор? Неужели не ясно, что здесь, — свобода, добро, надежда, — все то, на чем была замешана наша революция, те понятия, которые были искажены русановыми?

Новая литература представляет собою мост между двадцатыми и шестидесятыми годами. Все попытки за-

молчать Солженицына обречены на провал. Он не может писать иначе, чем пишет.

И. Винниченко. Начну с предисловия, — я испытываю смущение, потому что я не готовился к выступлению. Я просто прочитал рукопись. Я не критик, не романист. Но прочитал я взахлёб, и меня настолько это взволновало, что я считаю своим долгом высказаться. Я не согласен с Кавериным, — нам представляется счастливый случай, ведь, обсуждая рукопись, мы можем прикоснуться к самому творческому процессу. Здесь много говорили о силе таланта Солженицына. Не думаю, что его надо называть великим, — это не на пользу. Но, несомненно, он выдающийся писатель. Я слышал выражение «врать правду». Он писатель, который органически не может врать правду. Начну с художественных достоинств. Солженицын несколько отошел от своего первоначального стиля. Первые его произведения были перенасыщены диалектизмами.

Говорят, что в рукописи есть натуралистические подробности, есть рассуждения о тяжелом состоянии онкологии. Но и в этом отношении нам не следует бояться правды. Но, может быть, автору все же следует учесть возможную болезненную реакцию читателей.

Я не согласен с теми, кто считает, что в рукописи есть пессимизм, неверие в науку. Еще высказываются сомнения, — ведь в «Раковом корпусе» — пресловутая лагерная тема. Сначала стали писать о лагерях, а потом появилось мнение, — а нет ли перехлёста? Стоит ли это продолжать? Но ведь в данном случае перед нами настоящее художественное произведение, вскрывающее раковую опухоль нашего общества.

Вот что мне кажется нездоровым: вскрывая пороки, присущие культу личности, мы обращали внимание прежде всего на крайности, — например, лагеря, но очень мало внимания обращали на огромный ущерб экономике, нравственности. И здесь автор прав, — мы потерпели большой нравственный ущерб.

Мне не понравился образ Капы, она однолинейна, неясно, почему она в курсе доносов мужа? Совершенно неестественно и что дочь об этом знает и даже успокаивает отца. Рассуждения о литературе, вложенные в уста Авиеты производят странное впечатление. Этот образ не удался. Трудно судить по первой части. Хотелось бы, чтобы автор рассказал нам сегодня, как он собирается строить вторую часть.

Н. А с а н о в. С моей точки зрения наше ощущение идеала, которое мы воспитывали в себе сорок лет давало бы право каждому писателю публиковать свои произведения и без таких обсуждений. Каждый из нас способен быть для себя редактором. И только странное недоверие к нашему клану заставляет нас собираться здесь в таком количестве и обсуждать произведение, которое выше большинства написанных нами книг. Надо восставать против такого положения, — восставать, конечно, не в большом, а в малом плане, надо защищать то, что нуждается в защите.

Мне не очень понравилась панегирическая часть выступления А. Борщаговского, но ведь потом и он сам встал на позиции редактора, подсказчика, советчика. Нам не доверяют, нам все пытаются помогать, даже цензоры.

Произведение А. Солженицына очень опасно, чревато. Вот Винниченко здесь обмолвился о раковой опухоли, — это же невольно сразу сближается, раковая опухоль, неизлечимость рака не только у одного человека. А если вдруг речь идет и об обществе? Мы, конечно, надеемся, что наше общество излечится. Но это опаснее, чем какие-то отмеченные красным карандашом отдельные фразы. Речь идет о том, чтобы книга с нашей помощью вошла бы в жизнь. А вдруг автор и примет что-то из того, что сейчас вызывает наше неудобство.

Что в книге наиболее сильно и вместе с тем наиболее тягостно читать? День доктора Донцовой. Чувство приближающегося к ней самой рака. Она заведует от-

делом, она прекрасный врач, а жизнь ее за пределами больницы нищенская, ужасная. И это правда. Положение с интеллигенцией в нашей стране тягостно; инженеры, врачи мало зарабатывают, отвечают за все, кроме, разве что управления государством. *(Смех в зале.)* Как подумаешь об этом, — ком становится в горле. Я не говорю, что это надо переписывать.

Очень сильны все сцены, связанные с Костоглотовым. Образ Русанова слабее. Не нужно, чтобы и жена и Авиета знали о его доносах. Хорошо о реабилитированных, — они же действительно ничего ни с кого не требуют, это и я могу сказать по собственному опыту.

Литературные реминисценции в повести не стоят выеденного яйца, они ослабляют вещь. По-видимому, врач Гангарт будет играть главную роль в жизни Костоглотова, не надо и сравнивать ее с Зоей, а то у читателя ощущение неловкости за Костоглотова. Нужно ли было Ефрема Поддуева делать с первых же страниц столь беспощадно грубым?

Не думаю, что можно кончать этим литературным спором между Дёмой и Авиетой. Это не обогащает Вашу прекрасную вещь, — это я говорю не как цензор, а как товарищ по профессии.

Если уж автор задумал показать смерть 26 человек, то надо внести в поле зрения мир, окружающий раковый корпус. А то есть только литературные ссылки. Сколько сил и жизни отдает больным Донцова, как интересна мать Вадима, разыскивающая лекарство для сына, — сколько упущено возможностей. Вы сами обеднили себя тем, что слишком ограничили действие в пределах палаты. Тем самым подчеркивается второе значение заглавия, а я надеюсь, что ваш раковый корпус окружен здоровой землей. Очень хочется, чтоб эта вещь обросла бы плотью нашего общества. Тогда она станет более движущейся к печати работой.

А. М е д н и к о в. А. Борщаговский сделал наиболее

обстоятельный разбор произведения и мы все вольно или невольно движемся по его следам. В «Раковом корпусе» намечена интернациональная тема. В палате много немцев. Я имею к этой теме личное касательство. В начале войны я был бойцом истребительного батальона НКВД. Наряду с другими было нам дано особое задание — за одну ночь выселить всех немцев из Москвы. Было очень тяжело. Выселяли всех, — членов партии, женщин, детей. Не знаю, не вхожу в рассуждения была ли нужна такая превентивная мера, но я и тогда думал, как будут дальше жить эти люди? В книге Солженицына я их увидел, увидел Федерау, Веру Гангарт, — это хорошие, светлые люди. Здесь уже говорили о врачах Кадминых *(цитирует)*. Ни в одном произведении Солженицына не было такого количества чистых, светлых образов. Я тоже думал, — почему называется «Раковый корпус»? Речь идет о переломном времени. Ломается общественная атмосфера. В сущности все, описанное в книге могло бы происходить и на шахте, и на заводе. Автор взял раковую палату, чтобы обнажить драматизм. Я не буду повторяться, — Русанов утрирован. Образ мог бы быть мягче. Мне очень нравится Костоглотов, — во все верю. Но фраза Борщаговского, что этот образ «выражает прекрасные черты современника», кажется мне претенциозной. Это образ автобиографический, я удовлетворен тем, что происходит с ним как с человеком. Я о 37 годе знаю не по наслышке, не из литературы, — это все коснулось моей семьи, моей судьбы. Но в самые трудные моменты мы всегда думали более масштабно, думали о политике, о судьбах страны. Мне этого не хватает у Костоглотова. У автора есть полная возможность показать его и с этой стороны.

Солженицын — тот, которого читают все писатели. Критики со временем разберутся, почему он занял такое место в литературе, в общественной жизни. Он писатель трагической темы. Если бы его судьба и сложилась иначе, он все равно был бы трагическим писателем.

Если бы не родился Солженицын, — сказанное им все равно обязательно было бы сказано кем-то другим.

Л. С л а в и н. Я читал рукопись с карандашом в руках, зная, что предстоит обсуждение. В пределах моего вкуса я обнаружил некоторые промахи, — не надо об этом молчать. По мере чтения я начал находить симптомы рака у себя, как студенты медицинских факультетов находят все болезни у себя. Художественная сила автора не в этом, она — в социальном диагнозе, который поставлен очень точно. Через опухоль дан разрез общества. Происходит поединок со смертью. Свойственная автору беспощадная искренность дана на фоне демократичности смерти. Я с волнением ждал — кто-кого? Автор — смерть или наоборот. Найдет ли он то, что преодолевает смерть? Или поддастся? Я не согласен с теми, кто находит Русанова неудачным. Наряду с Донцовой, это одна из крупнейших удач. Меня меньше всего удовлетворяет Костоглотов.

Русанов — бюрократический середняк — становится гадом, который губил людей ради собственного благополучия. Такой силы образа еще не было в нашей литературе. И семья его хороша. Образ воздействует с тем большей силой, что автор как бы и добр к нему. Единственный промах, — бредовой сон. Не хватает художественной строгости. Пленительна Донцова. Хорош Вадим, Мита, Дёма, особенно разговор Дёмы с Асей. Сила образности — огромна, убедительна. Неуклюжая меткость языка — от Лескова, а стиль — от Бунина. Солженицын — резкий, жестокий автор, он принадлежит к линии Достоевского.

О Костоглотове, — не достигает силы выразительности. Речь его очень похожа на авторскую. Он вложил слишком много себя, образ теряет в конкретности. Временами натыкаешься на блестящее щегольство образностью. Например, — воспоминание о симфонии Чайковского. Кое-что очерково. В этом смысле «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Случай на стан-

ции Кречетовка» обладают большей цельностью, большей свободой от беллетристики.

В конце, с Авиетой врывается памфлет, и это сразу переводит вещь на более низкий уровень. Но и сейчас — это одно из самых сильных, самых нужных произведений последних лет, с которым я могу сравнить только «Новое назначение» Бека.

З. К е д р и н а. Мне представляется, что то, что мы можем здесь разговаривать о произведении далеко не ординарном, не должно восприниматься болезненно. Мы работаем, не надо бояться как бы не сказать чего-либо, что не понравится автору. Ведь перед нами не нервный начинающий, которого мы боимся травмировать, перед нами безусловно талантливый и зрелый писатель. Мы должны работать доброжелательно, чтобы данный автор развивался наиболее естественно. *(Во время выступления Кедриной начинают уходить из зала, председатель призывает дослушать.)* Мне кажется очень интересным поговорить о почве, о традиции, на которой растет этот интересный автор. Это традиция Толстого. «Раковый корпус» — вещь менее выговоренная, чем другие произведения Солженицына. Это естественно, ведь когда автор проходит спор с редакцией, он и выявляет себя с большей полнотой. *(Громкий смех, люди продолжают уходить, председатель обращается к залу: «Уважайте президиум!», указывает на Солженицына. Кедрина продолжает говорить.)* Что же тут особенного, в этом наша повседневность, ничего неожиданного. Это творческий спор, если, конечно, автор хороший и редактор хороший.

Верно, что «Раковый корпус» связывают со «Смертью Ивана Ильича». Это для нас очень актуально, — человек на грани жизни и смерти, — то, что Федин подчеркивал в восприятии Толстого. Наследники не только следуют традиции, они развивают ее. Солженицын преодолевает то, что у Толстого связано с непротивлением злу насилием. Но позиция автора здесь вы-

ражена не ясно. Отсюда происходит и противоречивость оценок: вот, видите, одним нравится Костоглотов, другим — нет, одним нравится Русанов, другим — нет. Мы согласны с Костоглотовым в его ненависти к Русанову, не найдется ни одного человека, который будет защищать Русанова. *(Крики из зала: «Кроме самих русановых!»)*

Но в Русанове все только названо. Мне сон не понравился. Со времен Чернышевского мы настороженно относимся к снам. Сон — эквивалент того, что недовыражено реалистическими средствами. Все дано прямолинейно. Было бы гораздо убедительнее, если бы Русанов с ужасом подумал, что скажут дети о его доносах. Авиета введена, чтобы характеризовать нашу литературную обстановку не с лучшей стороны. И тут Лев Толстой ни при чем как родоначальник традиции. Костоглотов, показанный в жажде жизни, очень хорош. Он противостоит Русанову. Но что не удовлетворяет в противопоставлении этих двух характеров? Только Русанову надо говорить о самых святых для нас вещах. Да, он лишь прикрывается этими словами. Но в повести кто произносит их всерьез? Кто отражает то, что ведет наше общество вперед? Да, есть атмосфера вещи, есть Донцова, есть Гангарт. Но ведь есть еще и общественный идеал, общественные страсти. Он должен быть отражен. Костоглотов отражает жажду жизни вообще, но общественных страстей не выражает.

Сама тема Толстого в книге очень убедительна. Хотелось бы, чтобы Ефрем был дан более ярко. Есть натуралистические детали, есть излишества. Надеюсь, что сам автор это увидит. Но в целом автор не натуралист.

Важна тема молодежи. Ася, Зоя не просто девушки, женщины, обездоленные войной. Когда автор заставляет Костоглотова почувствовать, что Вера ему ближе, чем Зоя — здесь он подходит к истине. Он ведь создает персонажи не по методу «кап-кап». *(В ответ на выкрики*

из зала объясняет, что один критик ввел этот термин «кап-кап».)

В образе Аси отражена скорее сегодняшняя молодежь, — во время войны не так уж много было танцулек.

Вещь очень интересна, не сомневаюсь, что она будет напечатана. Но требуется еще много работы, и не для того, чтобы она прошла редакции, а чтобы полнее воплотился замысел автора, чтобы четко обозначилась общественная позиция автора.

(Солженицын дает фактическую справку: о доносах Русанова была осведомлена только его жена; дочери они решили сказать лишь в последний момент.)

Перерыв.

Л. Кабо. Хотелось поделиться непосредственным ощущением прочитанной вещи. Начать читать необыкновенно трудно, все в тебе противится: не хочу, чтобы меня вели в мир страданий, смерти, ужаса. А потом совершенно неожиданно наступает просветление. Лицом к лицу со смертью начинаешь думать о том самом главном, о том, к чему мы очень мало приучены советской литературой. О смысле жизни не в прямолинейном, а в самом глубинном смысле слова. Я не ощутила, что не хватает мира за стенами больницы. Сюда пришли люди самого разного жизненного опыта и они принесли сюда этот опыт. Они уравнены одним страданием и опасностью, и как по-разному они реагируют на эту опасность!

Если говорить о Толстом, я вспомнила не «Смерть Ивана Ильича», а госпиталь на Бородинском поле, Анатоля Курагина, князя Андрея. Автор там перед лицом смерти амнистирует своих героев. Насколько же поиному относится к своим героям наш современный писатель. И здесь, на краю страданий он вершит свой суд, суд страстный и суд пристрастный. С нами говорит человек, умеющий взлетать на вершины и ступающий с нами вместе по грешной земле.

Здесь мало говорили о Вадиме. Очень не хочется, чтобы он умирал, — такой в нем заряд мечты, таланта, наконец просто молодости. Поразительна зоркость писателя, — он ведь открыл в нем черты опасные, открыл душевную слепоту и глухоту. Вадим очень плохо разбирается в людях. Он и Русанова зачисляет в «честные трудяги». Он судит по поверхности. В нем есть суперменство, свойственное части нашей технической интеллигенции. Тем отраднее видеть в авторе боевого соратника.

Костоглотов — громаднейшая удача автора. Более всего в нем активнейшего самоутверждения, стремления распоряжаться собой. Это естественно при той биографии, которая предшествовала больнице.

Решительно не согласна с Асановым в его критике изображения любви. Наша дорогая советская литература прививала тот рационалистический взгляд на любовь, согласно которому, если ты хорош, то и полюбишь хорошую, если ты лучше, — то и полюбишь лучшую и т. д. А здесь у Солженицына поразительно как входит противоречивое, земное чувство. Кстати, Зоя сама очень хороший человек. Как свободно, широко дышится в этом произведении, не стесненно. Женщины поразительны, изображены не только с лиризмом, но и с глубоким состраданием, — это новая, щемящая нота.

Русанов написан неровно. Я вся зашлась (простите за вульгаризм), когда он вступает в спор на тему «чем люди живы» и уверенно произносит: «идейностью и служением обществу», а в это время прокусывает самый сладкий хрящик курицы. Но кое-где в этом образе есть публицистические перехлёсты. Все пережитое, ненависть к Русанову хватает автора за горло и это понятно. Еще раз повторю, — как хорошо, что мы в произведении, где автор так же страстен и так же пристрастен, как и современные читатели.

Великолепен штрих из биографии Русанова, когда он, еще молодой рабочий, идет чистить интеллигенцию.

Корни очень многого из того, что мы пережили в 37 году и позже были заложены тогда, в двадцатых, тогда были заложены основы к перепугу. И за это я хочу поблагодарить автора.

Рукопись производит громаднейшее впечатление. Конечно, она станет книгой. Присоединяюсь к высказанному уже неудовлетворению последней главой. Здесь Александр Исаевич мельче самого себя.

В. С а р н о в. Шкловский в одной из давних статей заметил, что Булгарин не травил Пушкина, — он просто давал ему руководящие указания. С тех пор утекло много воды, отменили крепостное право, произошла великая революция, — а Кедрина и Асанов продолжают давать руководящие указания Солженицыну.

Мы обсуждаем рукопись неспроста. Литературная судьба Солженицына уникальна. Лет десять тому назад один молодой человек сказал мне: великая русская литература кончилась на Бунине и только в 56 году молодые писатели начали все заново. Это точка зрения невежественная, чтобы так сказать, надо не знать Бабеля, Платонова, Булгакова, Зощенко, Пастернака, Ахматову. Солженицын и среди этих имен занимает особое место.

Автор одного из писем в редакцию об «Одном дне Ивана Денисовича» сказал, что до Солженицына литература обходилась без грубых словечек. И никто не догадался ответить этому человеку, что до Солженицына литература, к сожалению, обходилась без многого. Прочитав «Один день» я испытал радость и счастье, — великая литература продолжается. Я не поставил бы «Раковый корпус» рядом с повестью «Один день Ивана Денисовича».

Солженицын ввел в литературу новый мир, подобно тому, как в свое время Горький рассказом «Страстимордасти». Нельзя говорить о Солженицыне как об одном из советских писателей. В 1934 году во время первого съезда была выпущена сатирическая книга «Парад

бессмертных». Там предлагался литературный табель о рангах — шпала, ромб и т. д. Советская литература — моя профессия, однако, я не знаю большинство тех писателей, которые тогда наделялись самыми высокими званиями в соответствии с занимаемыми местами в литературной жизни. Достаточно вспомнить, что в президиуме съезда рядом с Горьким и А. Толстым сидели А. Караваева, Кирпотин, Чумандрин. А Булгаков не получил на съезд даже гостевого билета. *(Крики из зала: «Чумандрин хороший писатель», «Чумандрин убит на фронте!», «Не надо нам нового табеля о рангах!».)*

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» печатается в журнале «Москва» с № 11, видимо для того, чтобы поднять подписку. *(Снова крики, неразборчивые.)* В 1932 году Замятин начал письмо Сталину словами, — к Вам обращается писатель, приговоренный к высшей мере. Нет. Замятина не приговаривали к расстрелу. Но для писателя не печататься, — это и есть высшая мера.

Незадолго до смерти Вас. Гроссман написал рассказ «Тиргартен» и «Армянские записки». Ни то, ни другое не было опубликовано. А потом оба произведения напечатали, значит ничего особенного в них не было. Автор между тем тоже был приговорен к высшей мере.

Я желаю долгих лет жизни Александру Исаевичу, но я хочу, чтобы все его произведения увидели свет при его жизни. Ведь у «Театрального романа» Булгакова отняли 25 лет литературной жизни.

Ю. Карякин. В своем завещании Ленин высказал страстную и трагическую надежду, что придут люди, необходимые нам, со следующими качествами: они ни слова не скажут против совести; не побоятся вслух сказать о любых ошибках; не побоятся борьбы. Мы забываем эти слова, хотя часто цитируем завещание. А Солженицын отвечает этим статьям.

В записках Достоевского есть слова, — что было бы, если бы Толстой соврал, если бы Гончаров соврал. Какая это была бы безнравственность, если эти лгут.

Извините за невольный каламбур, — но Солженицын не солжет. Так на вершинах политики и на вершинах культуры сходятся требования — жажда бескомпромиссной правды. Повесть «Раковый корпус» отвечает этим критериям. Меня поразило, что Маркс, уже автор «Капитала», уже основатель Интернационала, задумал написать драму о Гракхах. Есть такие разрезы действительности, которые не познать никаким иным способом, кроме искусства.

Мне понравилась статья Дымшица о повести «Один день Ивана Денисовича», я бы и заменил предисловие Твардовского этой статьей.

Всем очевидно, что «Раковый корпус» должен выйти в свет. Я хочу привести политические аргументы в защиту этой мысли. Именно политические, а не политиканские. Мне пришлось собрать едва ли не все зарубежные отзывы о книге «Один день Ивана Денисовича». Эта книга единодушно была осуждена на страницах троцкистской, китайской, албанской, корейской печати. С теми людьми, которые и сейчас ее осуждают, я расхожусь не по вопросу о том, надо ли применять политические критерии к произведениям искусства. Нельзя не применять. Подавляющее большинство положительных отзывов о повести «Один день...» дали руководители крупнейших компартий, самые выдающиеся марксисты современности. Публикацией этой повести мы приобрели огромное количество союзников, ибо люди поверили, что вернулась, как верно говорил Каверин, подлинность тем идеям, которые губили русановы.

Надо учесть печальный урок с повестью «Один день...», — ее противники повторяют (быть может, и не по злому умыслу) все то, чем начинается и чем кончается хунвейбинство.

Вадим пострашнее Русанова. Им движет червоточинка тщеславия, он может еще очень много натворить. Образ, к сожалению, очень перспективен. Это настоящая находка автора. Тов. Кедрина уверяла нас тут, что

с Русановым покончено, что сейчас его уже никто не поддержит. Это заблуждение, — не знаю злонамеренное ли, во всяком случае это неправда. Русанов — не вчерашняя опасность, не только опасность 55 года. Они живы, они мечтают о своем дне. Быть может, как показывает сегодняшнее обсуждение, их мечты и утопичны.

Есть у меня одно единственное внутреннее несогласие с автором, которое мне трудно сформулировать. Я вижу человека Солженицына, который не может простить Русанову все, что тот совершил. Камю при получении Нобелевской премии сказал, что высшее искусство не прокурорно. Человека можно повернуть и так и этак. Великая победа художника Солженицына состояла бы в том, что, ненавидя Русанова и благословляя смерть за то, что хоть смерть — управа на русановых, — он тем не менее и в нем сумеет найти, обнаружить человечное. Если это невозможно, тогда мы остаемся с безнадежной концепцией первородного греха.

Меня потряс Фетюков в «Одном дне», — этот шакал, лижущий миски, — а Иван Денисович вдруг говорит: «а разобраться, так жаль его»... Высшая мера наказания в искусстве не совпадает с высшей человеческой мерой. В искусстве надо, чтобы злодей либо, как Иуда, повесился, либо — иди искупай. Это намечается. Это с огромным тактом намечается во сне. Все человеческое в Русанове пока загнано под кожу. *(Громкие аплодисменты.)*

Е. М а л ь ц е в. Только вчера я кончил вновь читать эту замечательную книгу. Я не собираюсь учить Сарнова. Меня не удивишь острыми выступлениями, я и сам выступаю остро. Но мне кажется, что человек, выходящий на эту ответственную трибуну, должен выбирать слова. Обсуждение идет прекрасно, мне очень понравилось замечательное выступление Каверина. А Сарнов проявил здесь лихость, безответственность, а это не может сейчас нам помочь. О самом произведении Солженицына он не сказал ни слова, но зачем-то на-

чал сравнивать советских писателей с работниками Третьего отделения... *(Реплика из зала: «Вернемся к теме!»)*

Я прочитал рукопись во второй раз и нашел много нового, много новых оттенков. Больше всего меня взволновала мысль об ответственности человека перед жизнью, перед собой. Люди должны ответить на вопрос: для чего они жили, так ли они жили?

Как верно говорила здесь Любовь Рафаиловна, читая книгу, постепенно от оторопи перед жестокостью приходишь к просветлению. Приходишь к мысли о том, как трудно в этой нашей жизни быть человеком до конца. Здесь спорили о символике заглавия. Говорили будто бы речь идет о раковой опухоли нашего общества. Если бы наше общество было бы неизлечимо больно, мы здесь с вами не сидели бы, не обсуждали бы это произведение. Я решительно отметаю это толкование. *(Аплодисменты.)* О Костоглотове Кедрина считает, что этот характер не выражает ведущие тенденции времени. Это совершенно неправомерное требование, — ведь в этом характере автор и не ставил такой задачи. Не нужно забывать в какой момент происходит наша встреча с героем, — Костоглотов находится в вечной ссылке. То, о чем он говорит, то, о чем он спорит, мне дорого. Он — замечательный человек, прошедший через страдания, унижения и не потерявший веры в себя, в людей. Сильнее всего это дано в сопротивлении смерти.

В этом больничном корпусе очень много хороших людей.

Я люблю и другие вещи Солженицына, но в этой все мотивы его творчества получают более широкое, объективное выражение.

Мне тоже кажется, что Русанов излишне прямолинеен и однозначен. Даже где-то и оглуплен. Автор взял совсем нетронутый искусством пласт, но в жизни все сложнее. Когда я буду читать уже вышедшую из печа-

ти книгу, я хотел бы почувствовать эту бóльшую сложность.

И разговоры о литературе мельчат произведение.

Мы собирались здесь в Союзе, обсуждали роман Бека. Собрались тогда люди серьезные и ни у кого не возникала мысль, что роман Бека не будет напечатан. Я и сейчас уверен, что книга Бека будет издана. У нас идут сложные и необратимые процессы демократизации, — догматики и субъективисты могут помешать этим процессам, но не могут их остановить.

Я хочу видеть напечатанной рукопись Солженицына. Я испытывал, когда читал, огромное чувство радости, праздничности, и сегодня я счастлив, что познакомился с автором.

П. С а ж и н. Писатели необычного таланта всегда трудно проходят по жизни. Я смотрел недавно передачу по телевизору, посвященную Булгакову, — при жизни его такая передача была бы невозможна. Такая же судьба у Ахматовой, Зощенко, Пастернака, — не буду перечислять всех.

Я не могу отделаться от сомнений, — вправе ли мы давать советы автору, — ведь будет же вторая часть. Одно мы вправе сделать, — сказать, что книга — большая удача. Автор свел своих героев не на случайной остановке.

Появление Солженицына мешает всем нам писать плохо. *(Из зала: «Не надо себя недооценивать!»)*

Часто слышишь у нас жалобы, что мы не можем наладить в Союзе настоящую творческую жизнь. А вот смотрите, сколько народу пришло сегодня. Конечно, здесь есть и элемент сенсации. Рукопись Солженицына переживает трудную судьбу, — мы хотим помочь автору. А кроме того, каждый думает о том, что и его рукопись может постигнуть такая же судьба. Но есть и другая причина, — нам всем интересно, нам всем важно это обсуждение. Автор слушает нас, пользуясь его выражением, «вбирчиво». Я хотел бы, чтобы он сумел от-

бросить все то лишнее, что мы здесь наговорили. Я покорен повестью. Согласен с теми, кто говорил о слабости Русанова. Можем себя поздравить с такой удачей.

Г. Березко. Все у нас шло бы очень хорошо, если бы не огорчительное выступление Сарнова. Нельзя сравнивать советских писателей с работниками Третьего отделения.

Е. Тагер. Все выступавшие до меня сходились в одном, — перед нами явление художественно поразительное. Стало быть нет сомнения: затруднения у повести Солженицына с печатанием основаны на том, что в повести нашлось место для изображения отрицательных черт нашей действительности. Весь опыт мировой литературы говорит, что нельзя замалчивать зло. Оно тогда становится сильнее. *(Далее оратор подробно рассматривает главу романа «Воскресение».)* Солженицын — на уровне великой традиции и не растворяется в ней. Умеет все свести к главному фокусу, — один день, один случай, здесь — одна палата. При этом, — огромная идея, всесторонне раскрыта картина большого мира. Узкие, тесные рамки палаты нисколько не давят. Запоминаются не только главные персонажи, но и самые второстепенные, лишь едва мелькнувшие. Солженицын — крупный мастер эпической формы. Другая его стихия, — стихия сказа.

Русанова не поняли те, кто обвиняли здесь Александра Исаевича в отсутствии добротной художественной ткани. Ведь Русанов искренне впитал в себя всю атмосферу лжи, при которой стали возможны доносы.

А. Турков. Я считал, что самое трудное поле боя, которое берет для себя Солженицын, — это сам раковый корпус, сражение со смертью. Но это обсуждение еще больше укрепило меня в том, что самое трудное поле боя, — столкновение с нормативной эстетикой. Один герой Платонова говорит: «без меня народ не полон». Это убеждение свойственно и Солженицыну. Он преодолевает нормативную эстетику прежде всего в

изображении народа. Очень важно и переосмысление такого, якобы, героического образа, как Вадим. Он дал нам многообразие народных миров, а мы до сих пор поучаем писателя, исходя из готовых схем.

Г. Бакланов. Что должна отражать литература, — саму жизнь или сложившиеся представления о жизни? Все ответят на этот простейший вопрос, — конечно, саму жизнь. А между тем мы до сих пор судим произведение в зависимости от того, отражает ли оно сложившиеся представления о жизни.

Литература не только отражает жизнь. Литература — часть жизни. При раскопках находят и обугленные зерна и наскальные рисунки, — хлеб насущный и хлеб духовный.

Есть ли у общества иной способ изжить свои беды, кроме как публично переболев, пережив их? Нет иного способа!

Эту задачу и решает произведение Солженицына.

Меня приучила армия к тому, что когда начальство советуется, это вовсе не означает, что оно действительно хочет выслушать совет. Мне кажется, что некоторые ораторы сегодня злоупотребили своим правом давать советы рядовому Солженицыну. *(Смех.)*

Великое чувство меры, полностью присутствующее в книгах «Один день...», «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка» здесь, в этом произведении ощущается не везде. В наибольшей мере оно присутствует в главе Уш-Терек.

Больно, что уже второе поколение русановых идет в литературу, — но что же тут сердиться, это факт жизни. А Вы, Александр Исаевич, Вы рассердились и начали сечь следствие. Отсюда излишняя публицистичность Русанова.

Просто стыдно не печатать «Раковый корпус».

(Председатель объявляет последнего, как он сказал, из записавшихся А. Белинкова, но Белинков, в виду

позднего времени, отказывается от слова, просит приложить его написанную речь к стенограмме.)

А. Белинков. Замечательное достоинство произведений Александра Исаевича Солженицына состоит главным образом в том, что они написаны.

Человек догадался написать свои книги.

Я знаю многих людей, которые могли бы тоже писать замечательно, но они не догадались это сделать. Простой мысли помешали многие другие, очень серьезные, очень сложные. Случается так, что люди, обладающие большим жизненным опытом, иногда знают больше, чем следует знать писателю. Например, они знают, что всегда может что-то случиться, и их книгу не издадут.

Я не выдумал людей, о которых сказал сейчас. Я говорю о людях, которых мы все хорошо знаем. Некоторые из них пришли даже сюда. Я говорю о тех, кто когда-то писал хорошо, а потом решил, что для общества будет гораздо полезнее, если они начнут писать плохо. И многим это действительно удалось.

Внимательно изучая русскую литературу, мы узнали цену этим догадкам: когда Пушкин начал писать стихотворения и поэмы, из которых «не выжмешь... ничего» (а хотели выжать дифирамб победоносному оружию, покоряющему Кавказ), то критика ответила на это чрезвычайно сердито. Она строго сказала: «Упадок таланта Пушкина». А когда Пушкин написал «Графа Нулина», один из ранних подступов к «Повестям Белкина», а «Повести Белкина» были прямыми предшественниками «Шинели», а из «Шинели», как хорошо известно всякому русскому писателю, мы вышли все, то было сразу с необыкновенной проницательностью замечено, что «Граф Нулин» есть подлинный нуль в нашей литературе.

Александр Исаевич Солженицын догадался написать замечательные книги.

Такие книги получаются при сочетании двух ка-

честв: таланта и смелости. Это необходимый минимум, без которого в искусстве не получается ничего.

Талант и смелость Александра Солженицына проявились в том, что он после некоторого перерыва, имевшего место в истории нашего искусства, стал говорить голосом великой литературы, главное отличие которой от литературы незначительной в том, что она занята категориями добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества, власти и личности. В великой литературе действующими лицами могут быть титан Прометей или богоборец Каин, но для великого искусства важны не большие чины, а значительные художественные идеи, и поэтому повесть о страданиях Акакия Акакиевича Башмачкина раскрыла людям с неоспоримой убедительностью категории добра и зла, хотя во всей повести нет ни одного слова, которое следовало бы искать в философском словаре, а из важных персон лишь мельком упоминается «значительное лицо» в генеральском чине, которому далеко до Прометея, не говоря уж о Каине.

Александр Исаевич Солженицын не написал трагедии о титане и не написал мистерии о богоборце. Он написал повесть об «*Одном* дне...» и рассказы об *одном* «дворе», *одном* «случае»...

День, двор и случай Александра Исаевича Солженицына это синекдохи добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества.

Я читал заметку в почтенном журнале и слышал разговор в высокочтимом Союзе, порицающие Александра Исаевича Солженицына за части, по которым читатели самостоятельно должны воспроизводить целое. От писателя не желали получать мир по частям. От него требовали сразу весь мир, да еще такой, которого не бывает. Это естественно для мышления людей, хорошо понимающих, что часть может быть лишь воспроизведением недостатков, а целое, несомненно, воспроизводит сразу всю гидроэлектростанцию.

Прочитав заметку и вникнув в разговор, я, наконец, понял, что один писатель не может исчерпать потребности целой национальной литературы. Я вспомнил, что и Бальзаку помогали в правильном и исчерпывающем освещении эпохи другие хорошие писатели: Констан, Стендаль, Мюссе, Гюго, Виньи, Мериме. Писатель Солженицын существует в одной литературе вместе с другими писателями, и правильное, а главное, исчерпывающее освещение эпохи он создает вместе с ними. Все писатели нашей доблестной литературы изо всех сил воспроизводят многоликий и ликующий образ времени. Так, писатель Софронов воспроизводит оптимистическую Стряпуху, а писатель Солженицын — пессимистическую Матрену. Если сложить, то мы получим... гидроэлектростанцию. Писателю Солженицыну, как и другим большим художникам, удалось показать еще одну незамеченную до него грань времени. Многогранность искусства так важна и так отвратительна некоторым искусствоведам, что первая потребность, которая возникает у людей, обладающих прирожденной любовью к порядку, это сделать что-нибудь с многогранником. Например, треугольник. Для этого стараются убрать все лишнее. Таким способом производится превращение рукописи в книгу.

Что же такое смелость человека, написавшего повесть «Раковый корпус»?

Одна из главных забот нашей литературы последних тридцати лет связана преимущественно с развитием классической традиции. В сочетании этих трех слов не все слова равноценны, и предпочтение чаще отдается двум последним, а иногда одному последнему. Александр Исаевич Солженицын сосредоточен главным образом на первом слове — развитии.

За тысячелетия своего существования художественная литература не становилась все лучше и лучше. Часто трудно понять, как после блестящего десятилетия она падала столь низко. Но всякий раз, когда снова при-

ходило блестящее десятилетие, появлялся новый и почти всегда более совершенный метод исследования мира. Нужно иметь в виду, что искусство, как и другие виды восприятия и воспроизведения, проходит определенные стадии развития и, не становясь от этого ни хуже и не лучше («Фауст» не превзошел «Илиаду», «Моцарт и Сальери» оказался значительнее «Дворянского гнезда»), все время последовательно изменяет и чаще совершенствует метод исследования. В других видах исследования, главным образом в естественных науках, это более заметно. Поэтому я привожу пример из их истории.

После изобретения микроскопа естествоиспытатели увидели клетку, и с этого времени изучение перешло на новый — клеточный — уровень. На этом уровне были совершены решающие биологические открытия. Микроскоп появился не потому, что жаждали именно его, не потому, что естествознание предшествующего периода исчерпало возможности, и необходимо было что-то придумать, чтобы двигаться дальше. Решающие открытия физики, математики, химии и кибернетики перевели естествознание на иную — молекулярную — стадию. Сейчас происходят радикальные события, приближающие новый уровень.

Молекулярный уровень исследований А. Солженицына связан с пристальностью анализа, то есть с извлечением исторического обобщения не из больших масс, а из элементарной частицы, и включением в систему восприятия явлений, недоступных и не представлявших интереса для предшествующей стадии литературного развития.

Поэтому в повести «Раковый корпус» могли появиться такие люди, как Русанов и Костоглотов, которые вступают в неведомые предшествующей литературе взаимоотношения. Взаимоотношения между вечноссыльным и начальником отдела кадров, который ссылал, создают иную прозу, нежели та, которую мы уже знаем.

Так как в первую очередь читательское внимание сосредоточивается на языково-образной системе писателя, а она у Солженицына кажется похожей на обыкновенную великую русскую прозу, то ее легко и охотно стали принимать за традиционное письмо. Но великое искусство традиционным не бывает: это не надо доказывать, нужно просто перечислить: Аристофан, Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин, Бальзак, Достоевский, Блок, Пастернак — они ни на кого не похожи. Солженицын создает новую систему русской прозы, потому что вводит в состав искусства новые, неведомые или забытые представления о добре и зле, жизни и смерти, взаимоотношениях человека и общества. Кажущаяся традиционность его манеры сходна искусству Возрождения, которое было близко античному, но только издали и при невнимательном разглядывании. Творчество Солженицына не только похоже на Возрождение, оно и есть Возрождение русской духовной жизни.

Вот как похожа проза Солженицына на русскую классическую литературу и как явственно она лишь помнит ее опыт и пользуется им для создания нового искусства.

«...в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему (Костоглотову. — *А. Б.*)... Русанов... с обидой выговорил лаборантке...

— Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газеты первому мне!..

— А почему это вам первому?

— Ну, как почему? Как почему? — вслух страдал Павел Николаевич, страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами...

Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему умелому человеку можно было по разным признакам, по расположению статей, по тому, что *не* указано и опу-

щено, — составить верное понятие о новейшем направлении».

Безошибочность искусства Солженицына оказалась столь очевидной, что в многочисленных статьях, посвященных ему, рассуждения о том, как сделаны его произведения, казались несущественными, даже неуместными. Говорили о главном: о том, что писатель рассказал людям и от чего до сих пор литература бежала. Некоторые говорили о другом: о том, что было бы лучше Солженицына не печатать. С этими я не спорю, потому что откровенно дурные поступки обсуждению не подлежат: их нужно предупреждать, а если это не удается, то стараться как можно скорее исправить.

Так как об искусстве Солженицына до сих пор говорили мало, и это совершенно естественно, потому что в связи с его творчеством нужно было говорить о добре и зле, жизни и смерти, то я говорю лишь о самых заметных вещах.

Александр Исаевич Солженицын рассказал о людях, характерах, событиях и взаимоотношениях, которых до него мы не знали. До него в русской литературе не было таких людей, взаимоотношений и событий, каких мы увидели в куске о встрече молоденькой медсестры с ссыльным навечно человеком, от которого она услышала что-то непонятное и тревожное о темном куске эпохи, тайном крае века, закрытом от молодых и старых медсестер и даже иногда от начальников отдела кадров занавесами, статуями и страхом.

Только такой уровень художественного исследования дал возможность писателю сказать, что же происходит в мире, когда Лев Толстой, симпатичный геолог (который еще угрожающе и зловеще покажет, каков он), а также начальник отдела кадров говорят *одними* словами и мы начинаем понимать, что вещи, о которых они говорят, враждебны, и тогда возникает осязательная сложность непригнанных частей мира, враждебность

вещей и доброжелательность слов, среди которых живут и умирают люди.

Солженицын принадлежит к тем замечательным писателям, которые возрождают в русской литературе великие категории добра и зла, жизни и смерти.

Он рассказал о том, что так важно для всех нас, то, с чем мы встречаемся каждый день и поэтому знаем сами. Но отличие его от других писателей в том, что другие писатели об этом не написали, а он написал. Он сделал то, что доступно лишь истинному таланту и настоящей смелости. И в этом значение и смысл искусства Александра Солженицына.

А. С о л ж е н и ц ы н. Главное чувство, которое я пережил сегодня, это чувство благодарности. Я тронут тем вниманием, которое секция прозы Московской писательской организации оказала моему произведению и теми высокими оценками, которые, среди прочих, здесь прозвучали. В Рязанской писательской организации, в которой я состою, я не смог бы получить и тени подобного.

В тех условиях, когда я пишу книгу за книгой, а их не печатают, для меня такое обсуждение — единственная возможность услышать профессиональное мнение, услышать критику.

Я сидел у себя дома, писал год за годом и думать не думал о том, — напечатают ли, понравится ли то, что я пишу. Та позиция утеряна. Но в ней были не только плюсы, но и минусы. Оказывается в единоборстве с бумагой, когда у меня и было всего несколько читателей, неизбежно теряешь требовательность к себе.

И вот при выходе на публичную арену я почувствовал, как мне не хватало профессионального обсуждения, — мне и сейчас его не хватает, поскольку меня не печатают, но сегодня я испытал огромное удовлетворение.

Что касается незаконченности «Ракового корпуса», я считал возможным обсудить и первую часть саму по себе. Бывало же в истории литературы, что вторые

части и вовсе не писались, или уничтожались, всякое бывало.

Я не обижен ни на одно выступление. Я настолько польщен всем услышанным здесь, что знаю только один способ оправдать высокие оценки, — оправдать уровнем второй части. Но справлюсь ли?

Несколько частных вопросов: о названии. За название шел бой в «Новом мире». Бой этот я проиграл. Лагеря, конечно, были опухолью. Но я не побоялся дать такое название потому, что рассчитывал: преодолею. Я не хотел ни угнести, ни задавить читателя. Я надеюсь преодолеть в главном вопросе — борьба жизни против смерти.

Литература никогда не может охватить всего в жизни. Я приведу математический образ и поясню его: всякое произведение может стать пучком плоскостей. Этот пучок плоскостей проходит через одну точку. Эту точку выбираешь по пристрастию, по биографии, по лучшему знанию и т. д. Мне подсказала эту точку — раковую палату — моя болезнь. Мне пришлось всерьез заняться онкологией, чтобы контролировать, как меня лечат. Но описывать территорию республики за пределами ракового корпуса я не чувствую необходимости. Все отразить нельзя, а та часть целого, которая необходима, — она может быть изображена и через эту точку.

Большая часть высказываний о Русанове подтверждает, что я с ним сделал что-то не то. Я не смею спорить с таким числом критиков. Но что делать конструктивно, — не знаю. Очень важна мысль Карякина, — она выходит за пределы моей книги, моего творчества, — как в произведении искусства должны соотноситься современность и вечность. Это труднейшая проблема. Как и любому писателю мне хотелось бы воспитать в себе чувство гармонии. Я пытался рисовать и Русанова с симпатией, иногда всеми силами, — ну, пожалуй, не всеми силами. *(Смех.)* Ведь вход Русанова в палату ав-

тобиографичен, это я сам переступаю порог ракового корпуса.

Есть известное положение, — когда рисуешь хорошего, покажи, где он зол. Когда рисуешь негодяя, покажи, где он добр. Но ведь при этом можно потерять и негодяя.

Бакланов прав, — я в Русанове секу следствие, а надо бы мне художественно дотянуться и до причин. Вероятно, судьба моей вещи при этом не станет легче *(смех)*, но замечание верное, я его принимаю.

Об Авиете: говорят, фельетон — согласен. Говорят, фарс — согласен. Говорят, я сорвался со своего метода, — согласен. Но фельетон не мой и фарс — не мой. Я применил здесь недопустимый прием, — в Авиете нет ни одного моего слова, — она говорит слова, сказанные за последние 15 лет крупнейшими нашими писателями и литературоведами. С точки зрения вечности, — не надо бы эту главу. Но ведь как долго произносились подобные слова с трибун повыше этой, перед аудиториями побольше этой. Справедливо ли забыть об этом? Да, это откровенный фарс, но не мой.

Здесь, в профессиональной аудитории нетрудно убедить вас, что Костоглотов — не автор. Я старался всемерно от него отдалиться, — если дистанция не удалась, — буду еще работать. Черты автобиографии есть и в других образах. Говорят, что неправдоподобна дискуссия о статье об искренности. Я вернулся из ссылки и сразу же натолкнулся на голубую затрепанную книгу журнала с этой статьей. Юра Маслов, с которого я писал Дёму, заговорил со мной об этой статье. И, когда я начал писать «Раковый корпус» и должен был просмотреть литературную историю года, вновь перечитал статью и считаю, что она была для того времени очень важной. Я ничего не выдумал. И десятый том Толстого в огоньковском издании 28 года был в моей палате.

Бывает и так: писатель не может бороться против своего воспоминания. Знаешь, что героя надо писать бе-

лым, а ты помнишь его черным. И ничего тут не сделаешь.

Я кончаю тем же, чем и начал: благодарностью.

Мне вернули мою рукопись в «Новом мире», я послал ее еще в два журнала: в «Звезду» и в «Простор». Ответа еще не получил. *(Громкие аплодисменты.)*

Г. Березко. У нас нет оснований сожалеть о проведенной работе. Будет прекрасно, если большой писатель Солженицын еще о чем-то подумает. Речь идет не об элементарных советах. Речь идет о бóльшем.

Мне очень понравились и меня очень обнадежили слова Солженицына: «я не собираюсь угнетать и доводить до отчаяния читателя».

Повесть производит оглушительное впечатление, вещь необычайной художественной силы. В чем-то правы те товарищи, которые говорили о неполноценности образа Русанова.

*

Бюро с активом принимает решение: содействовать тому, чтобы повесть «Раковый корпус» была опубликована. Стенограмму обсуждения решено послать в «Звезду» и «Простор».

О. Войтинская считает, что секция прозы должна активно бороться за «Раковый корпус». «Надо потребовать, чтобы наш журнал «Москва» напечатал бы это произведение».

Когда обсуждение кончилось и все встали, к столу президиума подбежала Белла Ахмадулина и обращаясь к Солженицыну закричала: «Прекрасный человек! Помолимся Господу Богу, чтобы Он дал здоровья Александру Солженицыну!»

Приложение III

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Копия: Журнал «Новый мир».

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России».

Солженицын

Рязань, 12 декабря 1968 г.

Письмо это не было напечатано ни в «Лит. газете», ни в «Новом мире», а появилось в парижской «Русской мысли», 1969, № 24.

Протесты западных деятелей культуры

Исключение А. Солженицына из Союза писателей СССР вызвало на Западе возмущение. В прессе было опубликовано много протестов видных писателей, художников, композиторов, историков, социологов. Если бы собрать все эти протесты и отклики, они могли бы составить отдельную книгу. Мы ограничиваемся здесь помещением трех особенно характерных и веских.

ПРОТЕСТ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПИСАТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ

Исключение Солженицына из Союза писателей СССР, — о чем сперва сообщили, а потом опровергли и что наконец подтвердили, в стиле техники управления на расстоянии, к которому мы начинаем привыкать, — в глазах всего мира — огромная ошибка, не только наносящая вред Советскому Союзу, но и подтверждающая то, что говорят о социализме его враги...

Мы слышали, что в прошлом наиболее благоразумные люди, даже на самых высоких ступенях власти, сильно раскаялись в аналогичной ошибке с Борисом Пастернаком. Разве так уж необходимо обращаться с большими писателями Советского Союза как с вредителями?

Всё это показалось бы необъяснимым, если бы не

Опубликован в еженедельнике французской компартии «Летр франсэз» от 19-25 ноября 1969 г.

приходилось считаться с очевидностью, что этой мерой — при странном соучастии некоторых коллег по перу — хотят запугать не только писателей, но и всю мыслящую интеллигенцию, хотят, чтобы все ее представители, как один, замаршировали парадным солдатским шагом.

Мы верили, что прошло время, отмеченное кровью Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Егише Чаренца, Михаила Кольцова, Тициана Табидзе — если говорить только о больших национальных источниках советского духа.

Мы считали, что события того периода, который, к счастью уже в прошлом, никогда не повторятся.

Как могли мы предполагать, что сегодня на родине победившего социализма против писателя Александра Солженицына, наиболее типичного представителя великих русских традиций, писателя, который уже был жертвой сталинских репрессий и чье величайшее преступление только в том, что он остался в живых, будут предприняты шаги, которые даже и в голову не приходили Николаю II в отношении Чехова, беспрепятственно опубликовавшего свой «Сахалин».

Неужели мы еще раз должны задать вопрос нашим советским коллегам по перу — тем, кто молчит, тем, кто пытается говорить, и тем, кто связывает свое имя с подобными действиями, — разве они не видят во всем этом повторение недавнего прошлого? Разве они не помнят, что подпись некоторых их предшественников под такими решениями была одновременно и полномочием для палача? Разве они не понимают, что даже то, что прошло, трудно забыть?

Но всё же, несмотря на это, нам еще хочется верить — как тогда, когда решение жюри, захотевшего отметить величайшего из живших в то время русских поэтов, вызвало разнузданную злобу, — что в веду-

щих кругах народа, которому мы обязаны зарей Октября и победой над фашизмом, найдутся люди, способные осознать совершенное зло и не допустить, чтобы оно было доведено до конца.

Во имя того, что нас объединяет в жизни, борьбе и надеждах на будущее.

От имени Национального комитета писателей,
Исполнительный комитет:

Эльза Триоле, Веркор, почетные председатели,

Жак Мадол, председатель,

Артюр Адамов, Луи Арагон, Жан-Луи Бори, Мишель Бютор, Жан-Пьер Фай, Жорж Гови, Гилевич, Пьер Параф, Владимир Познер, Ален Превo, Кристиан де Рошфор, Жан Руссело, Жан-Поль Сартр.

Члены Правления:

Макс-Поль Фуше, Реймон Жан, Альбер Мемми, Гобер Мери.

Члены Национального комитета:

г-жа Марсель Оклер, г-жа Элен Пармелен, Бернар Клавель, Пьер Дэкс, Роже Гароди (член Политбюро французской компартии и директор Высшей партийной школы), Арман Лану (председатель общества «Франция — СССР»), Пабло Пикассо, Андре Стиль (бывший главный редактор «Юманите»), Андре Вюрмзер (главный редактор «Летр франсэз»).

17 ноября 1969 г.

ПИСЬМО ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЭН-КЛУБА СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Константину Федину, первому секретарю Союза писателей СССР

Нижеподписавшиеся писатели, романисты, драматурги, композиторы и поэты желают поставить в известность Союз писателей СССР и правительство СССР о том, что исключение Александра Солженицына из Союза писателей нас глубоко потрясло, поскольку это явное проявление желания запугать крупнейшего художника и запретить его творчество.

Мы отвергаем концепцию, что отказ художника от покорного подчинения государственной цензуре является в какой-либо мере преступным в цивилизованном обществе или что публикация его книг иностранными издательствами является основанием для его преследования.

Отдавая себе отчет, что исключение из Союза писателей означает одновременно невозможность зарабатывать себе на жизнь писательским трудом, мы осуждаем жестокость этого наказания и искренне призываем вас восстановить его право издаваться.

Каждый из нас предан делу международного мира, который не может воцариться без ослабления напряжения с Советским Союзом, установлению же необходимого доверия грозят цинизм и неизбежная подозрительность, когда вы обрушиваетесь всей силой государственной власти на писателя столь глубокой человечности.

Мы подписываем наши имена как миролюбивые люди, объявляющие свою солидарность с защитой Александром Солженицыным тех основных прав

Опубликовано в «Таймсе» от 5 декабря 1969 г.

человеческого духа, которые повсюду объединяют цивилизованных людей.

Артур Миллер, вице-президент международного ПЭН-клуба,
Чарлз Браселен Флад, президент американского ПЭН-клуба,
Харрисон Солсбери, Джон Апдайк, Джон Чивер, Труман Капоте, Ричард Уилбур, Жан-Поль Сартр, Карлос Фуэнтес, Юкио Мишима, Игорь Стравинский, Гюнтер Грасс, Фридрих Дюрренматт, Генрих Бёлль, Курт Воннегут, Митчелл Уилсон.

3 декабря 1969 г.

ПИСЬМО В «ТАЙМС» ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Обращение которому подвергаются советские писатели в своей собственной стране, вызвало международный скандал. Мы были потрясены, узнав об исключении из Союза советских писателей наиболее крупного советского писателя — Александра Солженицына, который, как выразился Артур Миллер, «повсеместно почитается классиком». При таких же обстоятельствах были ранее исключены два выдающихся поэта — Анна Ахматова и Борис Пастернак... Как нам понятно горькое восклицание Солженицына: Вам еще мало этого позора?

Тот факт, что писатель такого масштаба, как Солженицын, обречен на молчание, является сам по себе преступлением против цивилизации. Мы не знаем, будет ли еще продолжаться эта новая охота за ведьмами.

Опубликовано в «Таймсе» от 17 декабря 1969 г.

Мы только надеемся, что новый процесс, подобный процессу над Синявским и Даниэлем, не будет иметь места.

Опыт показывает, что устные протесты не производят никакого впечатления на советских руководителей. Но мы все же призываем этих руководителей прекратить гонения на Солженицына.

Если этот призыв не будет услышан, то нам не остается ничего другого, как предложить всем писателям и деятелям искусства всех стран мира прибегнуть к международному бойкоту в отношении государства, которое само поставило себя вне законов цивилизации. Этот бойкот должен продолжаться до тех пор, пока это государство не прекратит варварского обращения со своими писателями и деятелями искусства.

А. Альварес, Ханна Арендт, У. Х. Оден, А. Дж. Эйр, Карло Бронне, Констан Бюрньо, Дэвид Карвер, Жорж Допань, Пьер Эмануэль, Даниэль Жиллес, Брэйан Глэнвилл, Роберт Гоффин, Гюнтер Грасс, Грэм Грин, Петер Хэртлинг, Клаус Харпрехт, Рольф Хоххут, Джулиан Хаксли, Уве Ионсон, Альфред Казин, Розамонд Леман, Артур Миллер, Мэри Маккарти, Катлин Нотт, Мейер Шапиро, Муриел Спарк, Уильям Стайрон, Филип Тойнби, Эдмонд Вандеркаммен, Виктор ван Фрисланд, Бернард Уолл.

16 декабря 1969 г.

О творчестве А. Солженицына

ВХОЖДЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА В СОВЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ДИСКУССИИ О НЕМ

Н. ТАРАСОВА

Главным нервным узлом возникших в советской печати в 1963 году дискуссий оказался писатель Александр Солженицын. Его появление на литературном горизонте вызвало бурную реакцию, особенно в связи с проблемой духовного авторитета и водительства, которая становится в России с каждым годом всё острее.

Поиски личности, которая смогла бы вывести людей и страну из духовного тупика, из заколдованного круга лжи и безответственности, нарушения всех этических норм красноречиво сказались в странном рассказе Бориса Пастернака, который приведен поэтом Е. Евтушенко в его «Автобиографии».

К Пастернаку в год выхода «Доктора Живаго» и сенсации вокруг него как-то пришел кровельщик, принес с собой бутылку водки и сказал ему:

«Я тебе крышу крыл, а не знал, кто ты. Так вот добрые люди мне сказали, что ты за правду. Давай выпьем с тобой по этому случаю!» Выпили. Потом кровельщик мне и говорит: «Веди». Я его сначала не понял. «Куда это тебя вести?» «За правду, — говорит, — веди».[1])

Другой иллюстрацией может служить статья поэта Семена Кирсанова в бюллетене агентства печати «Новости»,[2]) в которой он рассказывает о том, как в книжном центральном магазине

Эта статья впервые была опубликована под псевдонимом Барбара Боде на немецком языке в штутгартском журнале «Osteurora» в №№ 10, 11, 12 за 1965 г.

[1]) Е. Евтушенко. «Автобиография». Flegon Pr. London, 1964, стр. 110.

[2]) «Новости» № 8, 1964 г.

в Москве на улице Горького он наблюдал толпы молодых покупателей: они расхватывали, «не глядя и не перелистывая», книжки неизвестных поэтов, «как если бы именно у этих неизвестных можно найти желанное, таинственное слово...», от покупки же двухтомников и сборников признанных поэтов молодежь воздерживалась.

«Сегодняшний день, пишет Кирсанов, — время ожидания великого и желанного поэта, который скажет людям необходимое им слово от имени современности и будущего».[3])

То же напряженное ожидание мы наблюдаем в прозе. Россия и по сей день верна своей традиции XIX века: писатель должен вмещать в себе и философа, и пророка, и учителя жизни, — словом, быть духовным и нравственным авторитетом для страны.

Посмотрим, *как* Григорий Бакланов воспринял появление повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и *какими* мыслями и словами сопроводил ее:

«Среди ежемесячного, ежедневного потока литературных произведений, в разной степени талантливых, отвечающих различным читательским вкусам, являются вдруг книги, знаменующие собой гораздо больше, чем даже появление нового яркого писателя. Эти книги призваны оказать влияние на то, что пишется сейчас, на то, что будет написано после них. Они всегда появляются как бы вдруг. На самом же деле появление их подготовлено всем ходом развития жизни. И читатель их ждет, не зная еще, какая это будет книга, кто написал ее, зная только, что она нужна ему».[4])

Не удивительно, что в такой напряженной атмосфере ожидания, поисков и отталкивания от навязываемого сверху, страна наполняется подпольной литературой. Частично она находит себе выход на Запад (А. Нарица, А. Есенин-Вольпин, В. Тарсис, отдельные произведения Анны Ахматовой, Булата Окуджавы,

---

[3]) Цитируется по статье А. Роховича, «В ожидании поэтического мессии», «Октябрь» № 8, 1964 г., стр. 190.

[4]) «Чтоб это никогда не повторилось», «Лит. газета» от 22 ноября 1962 г.

поэтические сборники молодежи — «Феникс», «Синтаксис», «Сфинксы» (известно всего 14 журналов), большей же частью остается в стране, распространяясь в «списках» и на магнитофонных лентах. Это явление становится настолько массовым и угрожающим, что официальная пресса вынуждена в той или иной форме о нем говорить. Так, например, журнал «Юность» сообщает о подпольной литературе в невеселом фельетоне Гр. Горина «Любители и ценители» (Монолог четвертый) следующим образом:

«— Нет, вы мне не говорите о литературе. Уж если кто и знает современную литературу, так это я. Какие журналы, какая там еще периодика?... Мура всё это! Преснятина. Я лично то, что официально печатается, не читаю. Кому это нужно?! Мне знакомые литературу в списках достают. На пишущей машинке отпечатанную. Вот это действительно произведения. Это блеск! ...Да разве в одних списках?.. На магнитофонах иногда такие записи стихов делают!..»[5])

Вот именно в эту эпоху поисков, брожения и безвременья судьба и вытолкнула на российскую сцену нового писателя — Александра Исаевича Солженицына. Вся атмосфера дней, предшествовавших его появлению, необычайно показательна для духовного состояния России, о котором говорилось выше. Вспомним коротко и с временной дистанцией в два года, как это произошло и чем сопровождалось.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ «ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Задолго еще до появления повести в печати распространились в Москве слухи о ней. Москва нетерпеливо ждала. Рассказывали друг другу, что главный редактор «Нового мира» А. Твардовский, получив и ознакомившись с повестью, схватился за голову: такого ему еще не приходилось ни читать, ни печатать. И помчался к Хрущеву уговаривать его дать разрешение на публикацию. Хрущев прочел повесть и тоже пришел в восторг. Рукопись была размножена и роздана всем членам Президиума ЦК для ознакомления. Когда все прочли, Хрущев созвал совещание и обратился ко всем с вопросом: «Ну, това-

---

[5]) «Юность», № 12, 1964 г., стр. 100.

рищи, кто что скажет?» Хрущеву пришлось употребить силу своего авторитета и настоять на публикации повести. Первоначально она называлась «Один день из жизни зэка», но Твардовский сам изменил название. Параллельно по Москве ходили слухи, что повесть пролежала у Твардовского в редакции три года. Как бы то ни было, судьба повести была решена в положительном смысле; и в российскую литературу вошел новый большой писатель.

Книжка «Нового мира» № 11 за 1962 г. вышла наконец с большим опозданием. Покупатели рвали ее из рук продавцов, уже через несколько минут после появления ее на прилавках она была раскуплена.

В библиотеках за ней выстраивались тысячные очереди.

«Достаточно было одного месяца, — написал Виктор Буханов в своем очерке об А. Солженицыне, — чтобы имя рязанского учителя узнали в Москве и Владивостоке, в Париже и на зимовьях Антарктиды».[6])

Было ли всё именно так, как передавалось в слухах, установить трудно. Что же касается фактов, то «благословение» повести Солженицына правительством и партией произошло в эти волнующие дни дважды; первое — в речи Л. Ильичева «Творить для народа, во имя коммунизма», которую он произнес на встрече руководителей партии и правительства с деятелями культуры 17 декабря 1962 года, то есть спустя полторы-две недели после выхода одиннадцатой книжки «Нового мира»:

«С одобрения ЦК КПСС в последнее время опубликованы сильные в художественном и политическом смысле произведения, в которых правдиво и смело разоблачается произвол, допускавшийся в период культа личности. Достаточно назвать повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».[7])

Второе — на той же встрече, но цитируемое журналистом В. Бухановым в своем очерке «У Солженицына в Рязани» без упоминания имени и, по-видимому, принадлежащее самому Н. Хрущеву:

---

[6]) «Литературная Россия» от 25 января 1963 г. «У Солженицына в Рязани».

[7]) «Литературная газета» от 22 декабря 1962 г.

«Такие произведения (как «Один день Ивана Денисовича». — Н. Т.) воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает».

Таким образом, «зэку» Ивану Денисовичу самой партией и ее вождями был налеплен ярлык «трудового человека», с которым он, как равноправный гражданин СССР, с советским паспортом, мог появиться на арене советской литературы.

Но паспорт, выданный такими важными инстанциями, по-видимому, по каким-то ему одному понятным тогда соображениям не внушил особого доверия и спокойствия А. Твардовскому за протежируемое им произведение. В его действиях тех дней замечается спешка, о которой свидетельствует сам виновник происшествия А. Солженицын:

«...первые рецензии появились практически до выхода первой книги (подразумевается «Новый мир» № 11, 1962 г. — Н. Т.), а авансы я стал получать до выхода второй («Новый мир» № 1, 1963 г., с двумя рассказами «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». — Н. Т.).[8])

В ноябре и декабре 1962 года появилось много рецензий, все хвалебные, все носящие многоговорящие заголовки: К. Симонов, «О прошлом во имя будущего» («Известия» от 18 ноября 1962 г.), Г. Бакланов, «Чтоб это никогда не повторилось» («Литературная газета» от 22 ноября 1962 года), В. Ермилов, «Во имя правды, во имя справедливости» («Правда» от 23 ноября 1962 г.), Ал. Дымшиц, «Жив человек» («Литература и жизнь» от 28 ноября 1962 г.), Н. Кружков, «Так было, так не будет» («Огонек», № 49, 1962 г.), В. Литвинов, «Да будет полной правда» («Труд» от 12 декабря 1962 г.), И. Чичеров, «Во имя будущего» («Московская правда» от 8 декабря 1962 г.).

Уже в одних заглавиях статей отразилась общая реакция на событие, в которой легко обнаруживаются три основных элемента:

1) желание *полной* правды о прошлом;
2) жажда гарантий, чтобы это прошлое не повторилось;
3) надежды на лучшее будущее.

---

[8]) В. Буханов, «Литературная Россия» от 25 января 1963 г.

«Это был тот редкий в литературе случай, — подведет итог этим дням В. Лакшин спустя год, — когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим. ...И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость».[9])

Правда, уже в самых первых отзывах наметились две принципиально отличающиеся друг от друга линии: одни авторы рассматривали явление повести Солженицына не как первичное и самостоятельное, а как вторичное, производное от решений XX и XXII съездов партии; смысл повести сводился ими к одной цели: помощи партии в разоблачении культа Сталина, к тому же утверждалось, что впервые Солженицыным была открыта правда о концлагерях, разоблачены гнусности сталинско-бериевской карательной политики.

В отличие от этой — догматической — трактовки повести, другие авторы — либерального направления — рассматривали это произведение как явление самостоятельное и первичное и постарались как можно скорей и энергичнее закрепить за собой те выигрыши в легальной борьбе за свободу, которые предоставила им повесть «Один день Ивана Денисовича».

Григорий Бакланов произнес свою ставшую исторической фразу: «После нее (повести. — Н. Т.) становится совершенно очевидно, что писать так, как писали еще недавно, нельзя уже».[10])

Этими словами прошлое оказалось отсеченным от будущего и выброшенным на свалку истории. А братьям по перу — писателям — было сделано недвусмысленное предостережение.

Александр Твардовский четко определил необходимое условие для необратимости идущего процесса освобождения:

«Залог *полного* и *бесповоротного разрыва* со всем тем в прошлом, чем оно было омрачено, — в правдивом и мужествен-

---

[9]) В. Лакшин, «Новый мир» № 1, 1964 г., «Иван Денисович, его друзья и недруги», стр. 223.

[10]) «Литературная газета» от 22 ноября 1962 г., «Чтоб это никогда не повторилось».

ном постижении *до конца* его последствий». (Выделено мной. — Н. Т.)

И тут же закрепил за литературой право писать на любую тему:

«Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет участков или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Всё дело в том, какими возможностями располагает художник».[11])

Эти мысли легли в дальнейшем в основу отношения либерального лагеря к Солженицыну и его творчеству и определили линию поведения «либералов» в начавшихся вскоре боях с «догматиками».

СОЛЖЕНИЦЫН КАК ЧЕЛОВЕК

Вероятно, прав был Александр Солженицын, когда с досадой сказал своему собеседнику Виктору Буханову, журналисту, приехавшему к нему за интервью:

«Все писатели в прошлом веке жили, работали... Никто не лез к ним за сенсациями, а просто читали их. И ведь хорошие были писатели... От писателя к читателю путь только через книги».[12])

Уже вострилось оружие и шли военные советы в лагерях «либералов» и «догматиков» в ожидании предстоящих битв, журналисты писали хвалебные рецензии, читатели взахлеб читали и обсуждали, сенсация входила в свой зенит в России и остальном мире, а на вопрос, кто же это такой — Солженицын, человек, внезапно взлетевший на волне российской славы, — никто толком ответить не мог.

«Учительская газета», узнав, что писатель по профессии учитель, командировала своего корреспондента в Рязань. И тут официальный советский мир впервые лоб ко лбу столкнулся с этим человеком, и произошло нечто для СССР неслыханное:

---

[11]) «Новый мир» № 11, 1962 г., стр. 8. Вступление к «Одному дню Ивана Денисовича».

[12]) В. Буханов, «Литературная Россия» от 25 января 1963 г.

скромный провинциальный учитель, бывший «зэка», обласканный правительством и партией, наотрез отказался давать журналисту интервью. И это не было капризом, это было спокойным принципиальным решением: он твердо решил «никому и никаких интервью не давать. И, как всегда, во всем верен своему слову», — сообщили корреспонденту директор школы и учителя-коллеги Солженицына. Единственное, что ему удалось узнать (сам писатель в это время отсутствовал), — биографические данные Солженицына.[13])

В. Буханову — повезло больше. Он побывал даже в доме у Солженицыных. Но эти встречи достались ему дорого:

«Журналисту трудно разговаривать с Солженицыным. Его неизменно вежливые и твердые «нет» приводят в тоскливое отчаяние. Я говорил с ним в Москве, четыре дня подряд (почти против его воли) встречался в Рязани. Солженицын покорил меня умом и тронул обаянием, но с меня довольно — это была последняя моя попытка беседовать с ним по заданию редакции».

Вот черты, отличающие писателя и особенно поразившие Буханова: редкая самодисциплина, трудоспособность, замкнутость и глубочайшая скромность. Над его «творческой лабораторией» будто висит строгая надпись «Вход воспрещен». Его единственная мечта, чтоб все оставили его в покое и дали возможность сделать то, что он себе наметил в жизни: «Хочу тихо и спокойно работать».

Целеустремленность и энергия Солженицына сочетаются с бережливостью по отношению ко времени. Солженицын очень болен, несколько лет назад был при смерти. Но путем смелого хирургического вмешательства процесс был остановлен. О своей болезни писатель «говорит спокойно и отчужденно, как о чем-то, его совершенно не касающемся». Интервью Буханову он так и не дал, обнадежив без тени шутки в голосе: «Обо всем этом вы узнаете после моих похорон».

В отличие от маститых советских писателей, живущих, как

---

[13]) Н. Кашкадамов, «Учительская газета» от 1 декабря 1962 г.

правило, богато и высоко ценящих материальные блага, Солженицын — бессребреник:

«Деньги для Солженицына не имеют сколько-нибудь серьезного значения». Последние пять лет он зарабатывал пятьдесят новыми рублями в месяц.

28 декабря 1962 года Солженицын, любимый своими учениками и коллегами-учителями, дал последний урок и покинул навсегда учительскую деятельность для литературы:

«Я почти ничего еще не сделал... Каждая строка у меня отлеживается год», — сказал он. Когда писатель не занят домашними хозяйственными работами, «всё остальное время из его кабинета доносится стук пишущей машинки».

За таким определенно сложившимся характером должна стоять трудная жизнь. Она такая и есть: отличная биография и с точки зрения советской анкеты, и с позиции просто человеческой.

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году. Учился на физико-математическом факультете Ростовского университета и окончил его с отличием. Но поскольку с давних пор готовил себя в писатели, заочно, параллельно с физико-математическим, учился в Московском институте философии и литературы. Женился в студенческие годы. Накануне войны получил в качестве учителя физики назначение в Ростовскую область. 18 октября 1941 года был призван в армию, стал командиром артиллерийской батареи. Во время войны капитан Солженицын был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды. Зимой 1945 года на территории Восточной Пруссии был внезапно арестован по неизвестной причине и отсидел в сталинских лагерях восемь лет. В 1953 году был выслан в Казахстан. Жена навещала его на фронте и после высылки немедленно перебралась к нему. После трех лет ссылки Солженицыну было разрешено вернуться в Европейскую Россию. Повесть «Один день Ивана Денисовича» была им закончена в 1958 году.

Писательская слава пришла лишь в 1962 году. Уединение и покой были нарушены. Его стали осаждать журналисты, иностранные и отечественные, туристы, «паломники». Новый 1963

год писатель встречал в Москве, в обществе артистов театра «Современник», режиссеров, художников и писателей. Незадолго до этого Солженицын читал труппе «Современника» свою пьесу[14]), «где она, очевидно, будет поставлена», как сообщил В. Буханов. Кинорежиссеры предлагали ему экранизировать повесть. Словом, началась светская и чуждая ему суматоха с ненавистной его характеру сенсационностью. Но вскоре всё это должно было прекратиться: «заботу» о только что рожденном большом русском писателе исподтишка стали перенимать на себя иные люди...

Солженицын стал центром пересечений самых различных, иногда противоположных, политических, общественных и культурных стремлений.

ОТКРЫТАЯ БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ

Для либерально-реформистского лагеря появление Солженицына на литературном горизонте означало гораздо большее, чем появление нового талантливого писателя. Таких в России немало. Но нет ни одного, обладающего одновременно такой внутренней свободой, ответственностью, любовью к России, талантом и волей. Он был в состоянии стать не только сотоварищем в легальной борьбе за свободу, но и знаменем этой борьбы. Его повесть «Один день Ивана Денисовича» впервые бескомпромиссно и смело поставила вопрос об оплате выданных партией и правительством на XX и XXII съездах векселей. В ней эти «исторические решения» вдруг обрели почву, «заземлились» и зажили своей самостоятельной и равноправной жизнью, расчищая дорогу для дальнейшей переоценки ценностей и требований. Публикация этой повести дала неисчислимые козыри в руки либерального лагеря перед догматическим и отвоевала новые важные позиции.

Ни одно произведение, официально опубликованное в советской прессе, не раскололо так советское «монолитное» об-

---

[14]) Речь идет, очевидно, о пьесе «Олень и шалашовка», которая была принята к постановке театром «Современник», но снята перед самой премьерой.

щество, не активизировало так либералов-реформистов и не очертило так ясно идеологические обличья обоих лагерей, как повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Слух, упорно циркулировавший по Москве еще до появления в печати повести, о разногласиях по поводу нее в Президиуме ЦК (то есть о наличии противников ее), после опубликования «Одного дня Ивана Денисовича» стал в скором времени подтверждаться фактами. Он, пожалуй, начал подтверждаться даже *до* ее появления, хотя многим, не знавшим еще тогда в точности содержания повести, некоторые детали этого дела были невдомек. Но со временем всё обрело связь и стало по своим местам.

Первый факт был такой: в «Известиях» от 6 ноября 1962 года, в самый разгар слухов о повести Солженицына, накануне выхода с ней «Нового мира»[15]), появился рассказ Георгия Шелеста «Самородок», о человеке, просидевшем много лет в концлагерях, но не потерявшем веру в партию и коммунистическую идею.

Последующие факты появились в январе 1963 года — в виде откликов на повесть, пытавшихся поставить под «политическое» сомнение образ ее главного героя — Ивана Денисовича Шухова.

Нападение началось не прямо и не из столицы. В провинциальном журнале «Дон»[16]) появилась статья Ф. Чапчахова «Номера и люди», в которой среди восторженных похвал вдруг проскользнул странный вопрос:

«И всё же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?»

Правда, вряд ли для кого-нибудь является тайной, что «Дон» — младший брат «Октября» — гнездо догматиков и верная опора своему столичному «родственнику». (Первая статья в «Октябре», направленная против Солженицына, появится лишь в марте.)

---

[15]) «Новый мир» № 11, 1962 г., подписан к печати 3 ноября 1962 г.

[16]) № 1, 1963 г.

На странный вопрос Чапчахова даст печатный ответ, спустя ровно год, молодой критик В. Лакшин, член редакции «Нового мира», в своей прогремевшей на всю Россию статье «Иван Денисович, его друзья и недруги».

«Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что критик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым еще прежде, чем прочел о нем в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике (читай догматической. — Н. Т.) оно встречается».[17])

Этот ответ придет через целый год! А пока неприметный удар нанесен: в сознание доверчивого к печатному слову читателя внесено сомнение — всё ли действительно в этом Иване Денисовиче в порядке? В этот момент на подмогу Ф. Чапчахову из провинциального «Дона» спешит из столичной «Литературной России» Л. Фоменко.[18]) Она даст более подробные разъяснения по этому вопросу и сомневающемуся Чапчахову, и остальным недоверчивым к собственному мнению читателям. Оказывается:

«Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой правде всё же не раскрывает всей диалектики времени, ... повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи».

Увы, по мнению Л. Фоменко, Солженицын выразил лишь страстное «нет!» сталинскому периоду, но не показал созидающей силы социализма.

«В том-то и счастье, — продолжает Л. Фоменко, — что культ не так всемогущ, как сам он, Сталин, об этом думал, как

---

[17]) «Новый мир», № 1, 1964 г., стр. 226.

[18]) «Литературная Россия» от 11 января 1963., «Большие ожидания».

думали почти все тогда. Одному человеку приписывалась могучая сила народа. А эта неиссякаемая творческая сила делала свое большое историческое дело».

Писатель же, который не умеет в нужной пропорции «передать в образах *и созидание, и беззаконие того времени*» (выделено Фоменко. — Н. Т.), не обладает в своих произведениях ни полнотой, ни объективностью.

Поэтому именно «'Один день Ивана Денисовича' лишь приблизился к трагическому произведению полной, всеобъемлющей правды».

Зато в советской литературе есть и другие произведения:

«Может быть, менее глубоко и художнически точно, однако объективно, с выверенной мыслью написан рассказ Георгия Шелеста «Самородок». Это рассказ человека, просидевшего много лет... в тюрьмах и концлагерях. В лагере встречаются те, кто в прошлом были социально и политически активными людьми. Они так же, как и у Солженицына, полуголодные, неизлечимо больные, переносят нечеловеческие лишения, но они не могут, органически не могут перестать быть комсомольцами и коммунистами.

По-видимому, не просто выступить с разоблачительными произведениями, если даже такое талантливое творение самородка, как повесть Солженицына, еще не дает всей правды о тех временах», — сетует Л. Фоменко.

Вот таким образом всё обрело связь и стало по своим местам: и рассказ Г. Шелеста, и дата его помещения — накануне появления «Одного дня Ивана Денисовича» — в целях политической профилактики.

Чапчахов тоже получил ответ на свой вопрос: его неопределенные «интуитивные» подозрения оказались справедливыми: повесть Солженицына, как мы теперь узнали, правдива лишь отчасти, то есть полуправдива, а полуправда, как мы услышали после смерти Сталина от многих советских писателей, в том числе от К. Симонова, хуже лжи.

И относительно героя был прав Чапчахов. Иван Денисович, в отличие от героев Шелеста, — человек безыдейный, пассивный, не укладывающийся в понятия о герое социалистического

реализма, одним словом, безоговорочно критикам его принимать таким, как он дан в повести, действительно вовсе не следовало.

Кроме того, мы узнали еще одну важнейшую истину: талант отнюдь не всегда в состоянии спасти необъективное, с плохо выверенной мыслью произведение.

Статья Лидии Фоменко «Большие ожидания» крайне важна в возникшей и длившейся более двух лет полемике о творчестве А. Солженицына. Она первая наметила те вехи, по которым стала развиваться догматическая линия защиты от растлевающего коммунизм влияния творчества Солженицына.

Это вредоносное влияние догматический лагерь смог уловить уже в рецензии Г. Бакланова «Чтоб это никогда не повторилось». Выразить его можно в трех основных пунктах:

1) влияние писательского и человеческого облика Солженицына;

2) влияние его народничества;

3) влияние его христианского мироощущения.

У Бакланова выразились эти пункты следующим образом:

1. «Автору ее (Солженицыну. — Н. Т.) не придется, оправдывая внутренний компромисс, говорить знакомым: «Понимаете, я хотел больше сказать, но не напечатают же...» Солженицын написал суровую, мужественную, правдивую повесть о тяжком испытании народа, написал по долгу своего сердца, с мастерством и тактом большого художника».

2. «Читая ее (повесть. — Н. Т.), испытываешь многие чувства. Среди них боль, но это очищающая боль. И испытываешь гордость. Гордость за народ наш... Самой лучшей доли достоин народ, столько вынесший на своих плечах, сохранивший в неприкосновенности мужество и бодрость духа...»

3. «Когда человеку больно, особенно больно впервые, душа его кричит. И чем слабее душа, тем громче кричит он сам. Но испытав многое, что поначалу казалось и перенести невозможно, он постепенно твердеет духом, потому что он — человек. И за своей болью он начинает различать и понимать боль других. И если он сильный человек, у него находится для других, для

тех, кто слабее его, часть души. Странное дело, отдавая, ты, оказывается, приобретаешь больше...»[19])

На пункт второй — народничество — отозвался другой автор, критик Феликс Кузнецов, в своей статье-рецензии «День, равный жизни.»[20]) У него, как и у Бакланова, «многомиллионные массы трудящихся» сменились «архаическим» понятием «народ»:

«Нет, не случайно поставил А. Солженицын в центр своей повести не кого-нибудь, а именно Ивана Денисовича Шухова. В строе мыслей, переживаний, чувствований, поступков, даже в красках и интонациях речи своей, с такой живописной точностью переданной А. Солженицыным, Иван Денисович Шухов — характер воистину народный. Иван Денисович — живое олицетворение трудового народа, который вынес многое, в том числе и эту страшную, нелепую, беспощадную беду, и не сломался, не согнулся, души своей не растратил, ни в чем нравственно не уступил. ...Что же противостояло этому сталинскому беззаконию и произволу?» — спрашивает Кузнецов и отвечает: «...А в конечном счете — характер народа, его душевная сила, его достоинство».

Кузнецов по образу Шухова делает попытку реконструировать характер русского народа, перечисляя его черты: внутреннее достоинство, самоуважение, «свойственное народу глубокое, органичное и естественное уважение к чужой личности, к чужой беде», щедрота участия и природная доброта, противопоставленные человеконенавистничеству сталинской эпохи, отвержение «всяких компромиссов с совестью, с честностью», «высокая народная нравственность». Одного из героев повести, Сеньку Клевшина, Ф. Кузнецов определяет как «истинно русскую душу».[21])

В такой именно характеристике русского народа в первую очередь сказывается тоска по отнятым и попранным общечеловеческим ценностям. Во вторую — как реакция на насильствен-

---

[19]) «Литературная газета» от 22 ноября 1962 г.

[20]) «Знамя» № 1, 1963 г., стр. 219.

[21]) Там же, стр. 218-220.

но внедряемый десятилетиями интернационализм — тоска по своему, родному, по тем Иванам Денисовичам, носителям и хранителям духовного облика России, которые до Солженицына бродили неузнанные своими и гонимые властью.

Но самое значительное место в статье, пожалуй, где Кузнецов, совершенно точно определяя замысел писателя, говорит, что он заключался в том, «чтобы взглянуть на злодеяния Сталина глазами Ивана Денисовича Шухова, осмыслить трагедию периода культа личности с точки зрения народной».[22])

Вряд ли может быть для партии что-либо страшнее такой писательской задачи. Эпохе Сталина официально разрешено противопоставлять только одно — непорочность и непричастность к его делам партии Ленина. Если же ей противопоставить народ и его глазами взглянуть на всю эту эпоху, то вне всякого сомнения официально разрешенная точка зрения катастрофически рухнет, и партия Ленина окажется по одну и ту же сторобарьера со Сталиным.

Но рецензия Ф. Кузнецова из запоздавших. Январь 1963 года окрашен уже в иную краску; с него началась систематическая и возрастающая травля повести и ее творца. Кроме того, в январе в «Новом мире» (№ 1) появились два следующие произведения Солженицына: «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор». Думается, что после ознакомления с ними, догматический лагерь ощутил в себе основательное раздвоение чувств.

С одной стороны, кампания по уничтожению «Одного дня Ивана Денисовича», «благословленного» Хрущевым и его приверженцами, выглядевшая отнюдь не легкой, неожиданным образом облегчилась благодаря самому Солженицыну: «Матренин двор» открыто и беззащитно подставлял себя под соцреалистическую дубину. И даже больше: именно в этом рассказе «догматики» без сомнения учуяли ключ к полной победе над писателем, — образ Матрены, христианской праведницы, отлично мог «разъяснить» в нужном направлении образ Ивана Денисовича и подчеркнуть убийственную для советского писателя склон-

---

[22]) Там же, стр. 219.

ность к изображению «архаических» типов ушедшей в небытие прошлого дореволюционной России.

С другой стороны, поведение «Нового мира» внушило ряд новых тяжелых раздумий и опасений: редакция запросто и без оглядки осмелилась опубликовать на страницах советского журнала один рассказ, открыто проповедующий христианство («Матренин двор»), а второй никак не поддающийся осмыслению с партийных позиций и явно заключающий в себе некий таинственный политический подвох («Случай на станции Кречетовка»).

МАРТ 1963: ФРОНТЫ СТАБИЛИЗУЮТСЯ

После сравнительно спокойно прошедшего февраля 1963 года наступил март, принесший с собой сразу несколько значительных событий.

Ленинградский журнал «Звезда» (№ 3, 1963 г.) напечатал два материала, заслуживающих пристального внимания. Н. С. Хрущев впервые в печати выступил с защитой «Одного дня Ивана Денисовича».

Начнем со «Звезды». Не лишний ли признак наступившего в СССР безвременья, когда в одном и том же печатном органе коммунистического государства публикуются идеологически и политически противоположные, даже можно сказать, взаимоисключающие материалы?

Первый из них — документальная повесть Бориса Дьякова «Пережитое» — следующее звено в цепи произведений (после рассказа Г. Шелеста «Самородок»), долженствующих по замыслу догматического лагеря нейтрализовать опасное влияние «Одного дня Ивана Денисовича». Чтобы дать о них всех представление, достаточно привести выдержки из предисловия Бориса Дьякова к его воспоминаниям:

«В этой документальной повести, отражающей период с ноября 1950 по апрель 1951 года, нет вымышленных лиц, обстоятельств, событий. ...Со всеми этими людьми меня столкнула горестная доля в годы культа личности Сталина.

Некоторые из действующих в повести лиц безвременно и трагически расстались с жизнью, унося в душе своей верность

партии и Родине. Большинству возвращено их честное, жестоко поруганное имя, и они сейчас с нами, они трудятся на благо коммунизма. ...Главное же, к чему я стремился, — показать, что истинные коммунисты, какие бы страшные испытания ни обрушивались на них, всегда оставались коммунистами.

До последнего своего часа мы будем хранить в сердцах глубокую благодарность и любовь к партии Ленина, к ее Центральному Комитету, к Никите Сергеевичу Хрущеву за восстановленную ленинскую правду.

Я не мог не написать этой повести. Ее продиктовала сама жизнь».[23])

Теперь обратимся ко второму событию — рецензии Н. Губко «Человек побеждает».[24]) Как и другие, он тоже свидетельствует:

«...уже и сейчас ясно (и это признано всеми), что в литературу пришел большой художник».[25])

Но в отличие от других критиков, сосредоточивающих свое внимание на образе Ивана Денисовича, Н. Губко считает, что «собственно 'героя' в привычном значении слова здесь нет. *Один* день Ивана Денисовича — *один* из аккордов в трагической симфонии лагерной жизни». (Выделено Н. Губко.)[26])

О художественных особенностях повести он пишет:

«Этот органический сплав подробностей быта и стремительной внутренней динамики, быть может, и составляет новизну и оригинальность этой повести. «Один день Ивана Денисовича» — пример того, как лучшие традиционные черты русской прозы XIX века соединяются с поисками новых форм, которые можно определить как полифоничность и синтетичность художественной структуры произведения».[27])

Наметив художественную связь Солженицына с XIX веком таким образом, Губко переходит к связям духовным:

---

[23]) «Звезда» № 3, 1963 г., стр. 177.

[24]) «Звезда» № 3, 1963 г.

[25]) Там же, стр. 213.

[26]) Там же, стр. 214.

[27]) Там же.

«...В связи с этой повестью справедливо говорили о традициях Толстого и Достоевского. ...Скорее всего речь здесь идет о бесстрашном исследовании человеческой души, о влиянии на нравственную природу человека внешних обстоятельств, речь идет о ценности человеческой жизни. О следовании традициям гуманности «святой русской литературы», как назвал ее когда-то Томас Манн, потому что, по его словам, такого глубокого гуманизма, которым проникнута русская литература, «не было нигде и никогда в мире». Это глубокое внимание к нравственному миру людей в условиях самого невыносимого унижения, бесправия и насилия, умение именно *здесь* увидеть, оценить и полюбить *человека* и роднит небольшую повесть А. Солженицына с гуманистическими традициями Толстого и Достоевского. Пожалуй, за последнее время у нас не было произведения, где бы с такой силой звучали боль за униженного человека и уважение к его духовной силе».[28]) (Выделено Н. Губко.)

Благодаря Солженицыну и Достоевскому Н. Губко смог вновь поднять и поставить одну из актуальнейших проблем России (и всех остальных коммунистических государств) — проблему бесконтрольной власти:

«Эта страшная, развращающая сила бесконтрольной власти. Только ли страх ответственности («Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь».) заставлял надзирателей и лагерную охрану кощунственно преступать всякие законы человечности? ...Не родились же эти люди палачами... Но полная, безграничная власть уродовала, развращала людей.

Лавровый венок и клеймо «врага народа» часто носили одни и те же люди, награда и плаха слишком быстро сменяли друг друга. Непосредственные виновники всего этого и исполнители их воли теряли всякое представление о нравственности и человечности. Природу этого типа патологической психологии гениально исследовал опять-таки Достоевский.[29])

'Кто испытал власть, — писал он, — и полную возмож-

---

[28]) Там же, стр. 214.

[29]) Там же, стр. 215.

ность унизить самым высочайшим унижением другое существо, — тот уже поневоле как-то делается невластен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно озарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят... Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится уже невозможным'».

«Теперь, — продолжает Губко, — ...самоуправство должно пресекаться всюду, где бы оно ни проявлялось. Повесть А. Солженицына звучит в этом смысле тревожным предостережением. Она не только памятник погибшим без вести, без утешения, но и завет живущим не допустить того, что было».[30])

Залог тому — снова по Достоевскому и перекликаясь с Твардовским — Н. Губко видит в «*мужественном суровом познании истины, которая ведет к нравственному очищению, к пониманию ответственности каждого человека за всё, что было и будет*». (Выделено мной. — Н. Т.).[31])

А единственную силу, которая в состоянии противостоять изоляции от всего мира и разъединению людей друг от друга, будь то в сталинском концлагере Ивана Денисовича или в сегодняшней России, Н. Губко определяет как «силу человеческой солидарности».[32])

Пункт первый вредоносного для коммунизма влияния Солженицына — его человеческий и писательский облик — особенно сказался на Н. Губко. Он вызвал в нем поток мыслей о советских писателях, об их ответственности перед историей, о рабстве мысли, о нравственном и гражданском долге подлинного художника нашей эпохи. Вот несколько выдержек.

Размышляя над сталинской эпохой, Губко вспоминает одно удивительное выражение Герцена: «седая юность». И пишет, что обращал его Герцен к «людям своего поколения, болезненно освобождавшимся от самонадеянных романтических иллюзий и

---

[30]) Там же, стр. 215.

[31]) Там же, стр. 213.

[32]) Там же.

вступившим в пору зрелой и мужественной ответственности перед историей. Это было, по словам Герцена, «одной из форм нравственного выздоровления».

«...В пору «седой юности» вступают и наши писатели, пережившие период, который мы теперь называем периодом «культа личности». Прошлое имеет свои права. Кто пережил это время, тот должен помнить. Не всё можно забыть и исправить. Люди забывают только то, что не стоит памяти. Да забывать и не нужно. Забвение — хуже, чем слабость. Забвение ложь. Только полным бескомпромиссным пониманием истины по-человечески можно пережить тяжелые утраты».[33])

Подчеркнув, что повесть А. Солженицына, «как и всякое подлинное художественное произведение, пробуждает мысли, «посторонние» ее теме», Н. Губко переходит к характеристике типа людей и писателей, представителей знакомого нам социалистического реализма.

«Есть сорт людей, которые гордятся раз и навсегда установившимся миропониманием, неизменностью своих суждений. Они не лгут, но истина им ничего не стоит. Они принимают ее готовой из вторых рук, ничем ей не жертвуя, не затрудняясь размышлениями. Это не притворство. Это своего рода *рабство мысли*. Эти люди больше всего боятся того, что может смутить их сытый и праздный ум. Когда такой психологией обладает писатель, тогда это становится опасным. Тогда появляются лживые книги, маскирующиеся внешним правдоподобием». (Выделено мной. — Н. Т.).[34])

Тип людей и писателей, в особенности о которых пишет Губко, неизменно возникает при всех тоталитарных режимах и служит питательной, передаточной и защитной средой для идей, спускаемых властью сверху. Борьба с такими писателями трудна. Во-первых, это явление массовое, во-вторых, писатели эти, почти без исключения бездарные, крепко держатся за власть, давшую им возможность возвыситься, в-третьих, власть крепко держится за них, потому что без этой безликой популяризатор-

---

[33]) Там же, стр. 215.

[34]) Там же, стр. 215.

ской среды ее политические идеи и мероприятия были бы бездейственны, в-четвертых, в силу своей обойденности талантом, люди эти обуяны завистью и активным стремлением к уничтожению всего самобытного, талантливого, самостоятельного.

«'Гении не подделывают своего творчества под вкус тиранов' — услышал Иван Денисович случайно кем-то оброненную фразу», — пишет дальше Губко и, отталкиваясь от только что данной характеристики лжеписателям, пытается воссоздать подлинный образ творца:

«Да, истинный художник не знает робости, не бледнеет ни перед какими последствиями. Он верит в человечность и служит ей. Он не ищет дешевой популярности, не замирает перед рукоплесканиями. Он нетерпим к фразе, ему чуждо упрямое, ледяное красноречие, которое в иных книгах заменяет мысль. И он с величайшим благоговением относится к слову, в основе которого лежит совесть».[35])

Как перекликается этот образ художника с созданным Пастернаком в его стихотворении «Быть знаменитым некрасиво...»!

Подтверждая мысль, высказанную в начале этой статьи о российских поисках духовного и нравственного авторитета, сближаясь по настроенности со статьей Семена Кирсанова, писавшего, что «сегодняшний день — время ожидания великого и желанного поэта», Н. Губко приводит слова В. Белинского, подчеркивая при этом, что они «сейчас как нельзя современнее звучат»:

«Наше время преклонит колена только перед тем художником, жизнь которого есть лучший комментарий на его творчество, а творения — лучшее оправдание его жизни».

«Таким художником, — заканчивает свою статью Н. Губко, — судя по его первой повести, вступает А. Солженицын в нашу литературу».

Третьим событием месяца марта, как уже упоминалось выше, было выступление Н. С. Хрущева; в нем он, может быть, и не впервые высказал свое положительное отношение к пове-

---

[35]) Там же, стр. 215.

сти «Один день Ивана Денисовича», которое, однако, *впервые* было зафиксировано в официальной печати и стало достоянием всей России. Он сказал:

«В последние годы в своем творчестве деятели литературы и искусства уделяют большое внимание тому периоду в жизни советского общества, который связан с культом личности Сталина. Всё это вполне объяснимо и закономерно. Появились произведения, в которых правдиво с партийных позиций освещается советская действительность тех лет. Можно было бы привести, как пример, поэму А. Твардовского «За далью — даль», повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», некоторые стихи Е. Евтушенко, кинофильм Г. Чухрая «Чистое небо» и другие произведения.

Партия поддерживает подлинно правдивые художественные произведения, каких бы отрицательных сторон они ни касались, если они помогают народу в его борьбе за новое общество, сплачивают и укрепляют его силы».[36])

Этим заявлением Хрущев подтвердил слухи, гулявшие по Москве перед появлением повести Солженицына, что лично им была благословлена повесть, и оказал большую поддержку всему либерально-реформистскому лагерю и Твардовскому, в частности.

Несмотря на это, именно с марта травля Солженицына усиливается и становится систематической, указывая на изменение соотношения сил в Президиуме ЦК не в пользу Хрущева.

«ДОГМАТИКИ» ПЕРЕХОДЯТ В НАСТУПЛЕНИЕ

«Литературная газета», так тепло приветствовавшая появление Солженицына в ноябре 1962 года, вдруг круто меняет курс. Это произошло потому, что в самом конце декабря 1962 года ее главный редактор В. А. Косолапов, человек либеральной складки, был заменен, как обычно без всякого объяснения причин, отъявленным догматиком А. Б. Чаковским. 27 декабря 1962 года вышел первый номер за его подписью. Промолчав о

---

[36]) «Литературная газета» от 12 марта 1963 г.

Солженицыне два месяца подряд, «Литературная газета» от 2 марта 1963 года опубликовала первую статью «Товарищи по борьбе» В. Кожевникова, касающуюся исключительно рассказа «Матренин двор». В. Кожевников относит этот рассказ к «сварливым», для которых характерны «упрощенный показ человека» и «не слишком серьезное содержание». С «чувством большой душевной горечи» Кожевников вспоминает, какое «замечательное» произведение мог создать тот же автор, намекая этим, что начался несомненный спад таланта Солженицына. Повторив тезис Л. Фоменко, что у Солженицына отсутствует чувство верной исторической перспективы и исторической правды, без которой не может быть и полной правды произведения, каков бы ни был талант, Кожевников обращает внимание читателя на то, что над Солженицыным довлеет «образ иной, уже далекой мертвой эпохи». Рассказу «Матренин двор» автор статьи опрометчиво противопоставляет роман Бориса Полевого «На диком бреге...», который, к его удивлению, почему-то прошел мимо внимания критики, хотя роман этот «посвящен именно тем людям, которые строят коммунизм, борются на передних рубежах».

На основании статей Л. Фоменко и В. Кожевникова попробуем сформулировать достаточно прояснившиеся пункты предъявляемых Солженицыну обвинений, чтобы дальше было легче разбираться в догматической казуистике.

Итак:

1. Отсутствие у Солженицына верной исторической перспективы,
   следовательно
2. отсутствие исторической правды,
   следовательно
3. отсутствие партийных, марксистско-ленинских позиций, с которых только и видны эти правда и перспектива, следовательно
4. отсутствие во всем творчестве партийной правды,
   отсюда
5. и талант получает сомнительное звучание — он не только не спасает произведения, но, при обращенности авто-

ра к «мертвой эпохе», содействует склонности писателя к очернительству советской действительности.

В конце марта появилась вторая статья «Матренин двор и его окрестности», направленная против этого рассказа и принадлежащая перу редактора закрывшейся в конце 1962 года догматической газеты «Литература и жизнь» В. Полторацкого.[37])

(В Москве ходили слухи, что газета была закрыта из-за компрометирующего правительство догматизма, переходящего все границы травли инакомыслящих, выражения крайне «правых» — то есть левых — настроений, неприличных склок.)

В своей статье экс-редактор придерживается линии Фоменко-Кожевникова: всё «дело в позиции автора — куда глядеть и что видеть». Можно рассмотреть вокруг себя нищие деревни, в которых «на трудодень ничего не приходится», а можно заметить и отличный колхоз «Большевик» с председателем А. Г. Горшковым — Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР; можно описать «безропотную Матрену-великомученицу», а можно дать портреты «праведников нового века — людей, вдохновенно преображающих землю, утверждающих новые коммунистические отношения в общественной жизни».

Следующий шаг «догматиков» — Полторацкий «почти» незаметно ставит под вопрос *честность* Солженицына:

«А. Солженицын — художник талантливый и, *думаю* (выделено мной. — Н. Т.), честный».

С плохо скрытой угрозой он напоминает литературному неофиту, что *советский* писатель, конечно, обладает

«правом изображать то, что он хочет, но у него есть также и обязанности перед тем, к кому он обращается, для кого он пишет».

Характерно для произведений Солженицына, что к ним догматическая группа, как правило, относится не как к высокохудожественным произведениям искусства, а как к политическим статьям, основанным на фактическом материале. Это можно объяснить лишь тем, что писатель, сознательно или ин-

---

[37]) «Известия» от 30 марта 1963 г.

туитивно, в силу его любви к России, избирает самые актуальные и болезненные для власти и народа проблемы, будь они экономические, политические, идеологические или общественные. Для власти они звучат обвинительным актом, для общества — толчком к размышлениям, как мы могли уже убедиться на примере «Одного дня Ивана Денисовича».

«Матренин двор», в отличие от других произведений Солженицына, как раз наименее заострен политически, а всё-таки и этот рассказ вызвал подобную же реакцию: Полторацкий в своей статье точно называет упоминаемые в рассказе деревни, фамилии, названия колхозов и даже приводит цифровые данные доходов и расходов их (например, колхоз «Память Ленина» заработал в год 49 тысяч рублей, а израсходовал 144 тысячи, но, конечно, не в силу порочности колхозной системы, а потому, что в нем живут тунеядцы), будто спешит оправдаться и стереть с сознания читателей опасные впечатления.

Пока в марте легкому обстрелу подвергался рассказ «Матренин двор», в недрах догматического лагеря зрело генеральное наступление. В апрельском номере «Октября» (№ 4, 1963 г.), впервые за все месяцы с момента появления в печати Солженицына, появилась статья молодого критика Н. Сергованцева «Трагедия одиночества и 'сплошной быт'». В ней были использованы все аргументы предыдущих авторов-догматиков, и разгрому подверглись сразу все три произведения писателя. Основная задача: доказать порочность «социального и философского осмысления жизни» Солженицыным, показать «немало глубоких противоречий» в его творчестве и, самое главное, развенчать Ивана Денисовича, которого либеральная критика подняла на щит в качестве народного героя, в глазах советских читателей.

Объект нападения Сергованцева не только сам Солженицын, но, главным образом, те, кто признали в Иване Денисовиче *своего* человека, плоть от их плоти, который своей «строгой народной нравственностью» освоил науку, «как устоять, как остаться самим собой» (Ф. Кузнецов) в поединке с режимом. В этом плане Иван Денисович стал опорой и нравственным авторитетом для своих читателей и почитателей, испытывающих

на себе ежечасно тот же экономический и политический гнет, отличающийся от шуховского лишь размерами.

«'Рядовой' герой Солженицына кажется Н. Сергованцеву беззаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очернить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерял человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщен с другими людьми и едва ли не враждебен им. ...Следя за его (Сергованцева. — Н. Т.) рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос с избытком возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется 'Один день Ивана Денисовича'», — скажет через несколько месяцев В. Лакшин, подводя итог годовой травле этого произведения.[38])

Проанализировав все три произведения писателя, Сергованцев бросает Солженицыну обвинение, что тот изображает советское общество как классовое, «разделенным на 'богатых' и 'бедных'. 'Богатые' так или иначе притесняют 'бедных', а последние норовят урвать у них часть богатства. Разумеется, взаимопонимания между ними никакого быть не может».[39])

Советское начальство всех родов, по Сергованцеву, — «общественные начала нашей жизни, призванные служить интересам трудящихся, выглядят (в «Матренином дворе» — Н. Т.) враждебной притесняющей силой».[40]) А положительной силой, могущей дать людям выход из духовного тупика, Солженицыну представляется праведничество («Матренин двор»).

«Русское праведничество, на которое ссылается Солженицын, ...как видно, еще может кого-то волновать и сегодня. Праведничество родилось в определенных исторических условиях,

---

[38]) «Новый мир» № 1, 1964 г., стр. 230.

[39]) «Октябрь» № 4, 1963 г., стр. 205.

[40]) Там же.

оно плод отчаяния забитого народа, особенно процветавшее в периоды исторического застоя, беспросветности, когда отчаявшимся людям нужны были утешители»,[41]) — пишет Сергованцев, вряд ли отдавая себе отчет в том, что дает блестящую характеристику настоящего положения в России, отвечающую как раз на его недоумение, почему праведничество может еще сегодня кого-то волновать.

Другой рассказ Солженицына — «Случай на станции Кречетовка» — по свидетельству Сергованцева, «после первого чтения оставляет весьма странное впечатление».[42]) Но после подробного разбора критик приходит к следующему выводу:

«В силу узости идейного осмысления жизни, непонимания объективных исторических процессов А. Солженицын приписал природе нашего строя и людям, воспитанным этим строем, качества, которые отнюдь не составляли существа самой действительности и людей, выросших в ее условиях. Этого автор не понял или не хотел понять. Отсюда неверие в подлинную действительность, отрицание ее гуманистических основ».[43])

В переводе со схоластического языка коммунизма на человеческий это означает: Солженицын сознательно идентифицирует сталинский коммунизм с коммунизмом марксистско-ленинским, не верит ни в какую другую («подлинную») действительность, кроме той, которая была, и, естественно, отрицает в ней гуманистические основы.

Такого печатного обвинения-доноса пятнадцать лет назад было бы совершенно достаточно, чтоб подвести человека под высшую меру наказания. Показательно, что молодые догматики типа Сергованцева, лишенные сталинской выучки, действуют тем не менее абсолютно теми же приемами, что и многоопытное в уничтожении людей сталинское старшее поколение. Разница лишь в том, каковы последствия их действий...

Сама же формулировка обвинения Солженицына затрагивает коренную проблему всего коммунистического сегодняшнего

---

[41]) Там же.

[42]) Там же, стр. 200.

[43]) Там же, стр. 201.

мира: является ли сталинизм (как и маоизм) последовательным и верным развитием марксизма и подлинным единственно возможным в реальном бытии выражением идеи коммунизма, или возможно иное — противоположное этому — воплощение коммунизма? Что касается России и ее либерального и догматического лагерей, то основная глубинная борьба идет именно в этой плоскости. Но вся трудность ее заключается в том, как мы увидим дальше, что, в отличие от китайских откровенных сталинистов, догматический лагерь исповедует сталинизм тайный, на словах проявляя себя пока страстным противником «культа личности» (см. например, приведенные выше высказывания Л. Фоменко).

Что же касается лагеря либерального и его веры в совершенно новый человечный коммунизм, то здесь трудно решить, в каком случае эта вера является искренней, а в каком — прикрытием своих подлинных стремлений к «общечеловеческим» ценностям и одновременно оружием против *всех* разновидностей коммунизма как античеловечного начала.

*

На мартовской встрече 1963 г. правительства с деятелями литературы и искусства либеральный лагерь смог по достоинству оценить свое пошатнувшееся положение. В течение последних пяти месяцев «Новый мир», нарушив все границы дозволенного и терпимого, опубликовал почти подряд В. Некрасова «По обе стороны океана», (№№ 11, 12, 1962 г.), А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (№ 11, 1962 г.), А. Яшина «Вологодскую свадьбу» (№ 12, 1962 г.), А. Солженицына «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор» (№ 1, 1963 г.) и И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (№№ 1, 2, 3, 1963 г.).

Партия и правительство, в лице Хрущева и Ильичева, посвятив мартовскую встречу в основном борьбе с модернизмом в советской литературе и искусстве, резко осудили мемуары Эренбурга и путевые очерки Некрасова, сыграв этим на руку догматическому лагерю: шедшая до встречи травля авторов «Нового мира» обрела теперь законное основание. Правда, в

своей речи Хрущев, как уже было упомянуто, подтвердил правильность опубликования «Одного дня Ивана Денисовича» и причислил к произведениям, написанным «правдиво с партийных позиций» не только «Один день Ивана Денисовича», но и поэму «За далью — даль» главного редактора «Нового мира» Твардовского. Но всё же, несмотря на два этих отрадных для «либералов» факта, отрицательный результат мартовской встречи оказался сильнее положительного.

Атмосфера вокруг Солженицына с каждым днем накалялась всё более, вопросы, стихийно возникавшие в пылу полемики, стали слишком политически заостряться, обвинения писателю бросались всё серьезнее и опаснее. Солженицын превращался в центральную мишень ненависти догматического лагеря, отлично отдававшего себе отчет в значении Солженицына для либерального лагеря и для всей России.

И в то же время Солженицын был тем человеком, которого «либералы» принести в жертву не могли: этот писатель в несколько месяцев стал знаменем их борьбы и живой связью с миллионами русских читателей, для которых он в свою очередь сделался духовным и нравственным авторитетом. На талант, честность и смелость этого человека возлагались большие надежды. Отдать его — значило изменить себе и признать свое полное поражение. Поэтому следовало как можно быстрей укрепить политическое и литературное положение журнала «Новый мир», хотя бы ценой других сотрудников, ценой покаяния, но спасти *Солженицына как легального советского писателя*. Так возникла передовая статья с догматическим названием «За идейность и социалистический реализм», опубликованная в «Новом мире» № 4 за 1963 год. Статья эта демонстрирует все трудности легальной борьбы за свободу в сегодняшней России. По ней легко определяется узость идеологических границ, в которых она смеет вестись, исключительная бедность средств (всё те же цитаты вождей), изощренность методов (толкование этих цитат в свою пользу), но также и контуры подлинных стремлений «либералов».

Развив с пафосом все положения литературы в коммунистическом государстве, — принцип партийности, пропагандное

и воспитательное значение, метод социалистического реализма, — и определив писателей как верных помощников партии, «Новый мир» переходит, наконец, к тому, ради чего писалась передовая:

«В конце прошлого года была опубликована, например, повесть А. Солженицына 'Один день Ивана Денисовича'. Если бы нужно было доказывать широту взглядов Центрального Комитета нашей партии на литературу и искусство, то одного факта одобрения им этой повести было бы более чем достаточно. Кстати, этот факт неопровержимо свидетельствует о полной несостоятельности враждебных нам толков о мнимых ограничениях и регламентациях, которые якобы кем-то предписываются советской литературе».[44])

Здесь, как мы видим, защита идет на два фронта: от возможного (по общей ситуации) нападения со стороны руководства партии на Солженицына — вежливым напоминанием ЦК, что он *сам* одобрил это произведение, взяв на себя ответственность за последствия, и перечислением всех тех выгод, которые принесла публикация «Одного дня Ивана Денисовича» ЦК КПСС не только в смысле поднятия его престижа внутри страны, но — главное — за границей; от «догматиков» — энергичным напоминанием, что повесть Солженицына с первого по сегодняшний день находится под высочайшим покровительством и играет важную пропагандную роль. И не так-то просто ее сожрать.

Кстати, эта ссылка на ЦК КПСС подтверждает еще один московский слух, циркулировавший перед выходом «Одного дня Ивана Денисовича»: а именно, что Твардовский, получив рукопись и ознакомившись с ней, помчался к Хрущеву за благословением на ее публикацию. Вряд ли есть надобность сомневаться в том, что Твардовский уговаривал Хрущева именно приведенными в передовой действительно солидными доводами.

Для окончательного завершения дела осталось лишь опровергнуть утверждение «догматиков», что Иван Денисович — не советский человек и не герой советской литературы, а патриархальный мужичок дореволюционной России:

---

[44]) «Новый мир» № 4, 1963 г., стр. 4-5.

«...в образе Ивана Денисовича показан трудовой советский человек, который и в нечеловеческих условиях сохраняет моральную чистоту, любовь к труду, трогательную чуткость и душевный такт в отношениях со своими товарищами. С каким воодушевлением герой этой повести А. Солженицына, забыв обо всем, работает на ледяном ветру — кладет стену здания. Одна эта сцена многое говорит нам о герое, которого нетрудно представить и в иной обстановке — на фронте или на стройке послевоенных лет».[45])

«Трудовой энтузиазм» Ивана Денисовича, да еще в сталинских лагерях смерти, оказался тем козырем в руках «либералов», который не только помог отбить атаку «догматиков», но и дал возможность утвердить Солженицына в советской литературе еще прочнее:

«Повесть А. Солженицына 'Один день Ивана Денисовича' представляет собой явление особо значительное и принципиальное. И дело не только в том, что она основана на специфическом материале и показывает антинародный характер тех явлений, которые связаны с последствиями культа личности, но также и в том (здесь авторы статьи на миг приподымают свою партийную маску и показывают иное лицо — Н. Т.), что всем своим художественным строем она утверждает непреходящее значение традиций правды в искусстве».[46])

А это является основанием тому, чтобы затоптанное было противниками в грязь произведение, защищенное и оправданное авторами статьи всеми им доступными немногочисленными средствами, вновь поднять на пьедестал и победно преподнести в качестве нового литературного эталона для всей России:

«'Один день Ивана Денисовича' — из тех явлений литературы, после которого невозможно вести речь о какой-нибудь литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением».[47])

---

[45]) Там же, стр. 5.

[46]) Там же.

[47]) Там же.

Это крайне важное и революционное определение значения повести «Один день Ивана Денисовича» было немедленно взято на вооружение либеральным лагерем и самим Твардовским в их дальнейшей борьбе.

Разрешу себе забежать в недалекое будущее.

Уже в ноябре 1963 года лидер «догматиков», главный редактор журнала «Октябрь» В. Кочетов, не в состоянии более скрыть своей ненависти к Твардовскому, писал:

«Мы знаем грустный пример самовнушения, когда один поэт, прочитав пришедшуюся ему по душе стилизованную «под старинку» повесть молодого автора, настолько поверил в ее исключительность, что из речи в речь, из статьи в статью не устает повторять: отныне, дескать, вся советская литература должна поверяться только этой повестью. Мы имеем, мол, дело с новым Львом Толстым».[48])

В том же «Октябре», два месяца спустя, другой автор, Ан. Дремов в своей статье «Действительность — идеал — идеализация», в основном направленной против Солженицына, пишет, демонстрируя удивительное обеднение и неподвижность мысли в догматическом лагере, то же самое и даже почти теми же словами:

«Особенно печально то, что такие произведения некоторыми известными литераторами не просто поддерживаются, а безудержно расхваливаются, как невиданный скачок, который якобы ставит их автора в уровень с Львом Толстым, а сами произведения делает неким оселком для советской литературы».[49])

Болезненная реакция «догматиков» указывает на активную деятельность «либералов» в этом направлении. Действительно, «либералы» сделали всё, чтобы популяризовать эту мысль не только в российских кругах, но — что куда хуже — и в иностранных. В той же статье Ан. Дремова читаем:

«В интервью корреспонденту «Юнайтед пресс интернейшнл» главный редактор журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский заявил:

---

[48]) «Октябрь» № 11, 1963 г., стр. 217.

[49]) № 1, 1964 г., стр. 206.

«'Один день' — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением».[50])

Ленинградский международный симпозиум пришелся в этом отношении также весьма кстати. С его подиума Твардовский получил возможность открыто сказать своим иностранным коллегам — западному литературному миру:

«Я назову с этой трибуны одно, правда, вскользь уже упоминавшееся, имя последнего литературного года — имя Солженицына.

Появление этого писателя в нашей советской литературе весьма знаменательно. При различном отношении к этому таланту (а я не стану утверждать, что у нас есть полное единодушие в отношении таланта этого автора), ни одно новое литературное явление уже не может быть рассматриваемо без сопоставления с этим художником».[51])

Посмотрим, как комментирует эти слова Твардовского представитель догматического лагеря Ан. Дремов:

«Однако на международном симпозиуме в Ленинграде уже не только повесть «Один день Ивана Денисовича», но и всё последующее творчество А. Солженицына определялось некоторыми товарищами как критерий для новых литературных явлений...»[52])

Мысль эта настолько упорно повторяется Твардовским и для России и для Западного мира, что обязывает нас отнестись к ней с особым вниманием и постараться вникнуть поглубже в смысл его слов. Не о том ли самом говорил и Бакланов в своей рецензии на «Один день Ивана Денисовича»?

«После нее (повести. — Н. Т.) становится совершенно очевидно, что писать, как писали еще недавно, нельзя уже».

В сознании Бакланова это сопоставление *уже* произошло. Вряд ли Бакланов и Твардовский говорят только о таланте

---

[50]) Там же, стр. 206.

[51]) «Литературная газета» от 10 августа 1963 г.

[52]) «Октябрь» № 1, 1964 г., стр. 206.

и художественных особенностях прозы Солженицына. Вспомним, что их обоих, как Н. Губко, Ф. Кузнецова и многих других, глубоко поразил в первую очередь сам облик Солженицына, — его отвага, абсолютная правдивость и неподкупность, любовь к России и ответственность за каждое свое слово, «в основе которого лежит совесть» (Н. Губко).

И если мы вслушаемся в слова Твардовского на Ленинградском симпозиуме, то поймем, что теперь речь идет о сопоставлении литературных явлений не только с «Одним днем Ивана Денисовича», не только со всем творчеством его, но и с самим художником, «тем художником, жизнь которого есть лучший комментарий на его творчество, а творения — лучшее оправдание его жизни» (Белинский).

Разговор, упорно поднимаемый Твардовским, идет о совершенно новых духовно-нравственных критериях для советских писателей, на которых, беря пример с человеческого и писательского облика Солженицына, должны созидать они новую литературу России.

Но критерии Солженицына, что явствует из его произведений, уходят корнями в мир христианской российской культуры XIX века, сумевшей создать «святую русскую литературу», проникнутую гуманизмом, которого «не было нигде и никогда в мире», по словам Томаса Манна, приводимым в статье Н. Губко.

Они не имеют никаких общих точек соприкосновения с критериями коммунистической морали, которыми пронизана не только советская литература, но, естественно, и вся жизнь коммунистического общества и государства.

Следовательно, попытка сменить основы коммунистической морали духовно-нравственными критериями Солженицына чревата коренными изменениями всей жизни СССР.

В этом заключается важность и революционность определения Твардовским Солженицына в качестве нового всероссийского литературного эталона, что придает борьбе за Солженицына особую ожесточенность.

Как показывают все последующие события в истории с Солженицыным, это заявление Твардовского оказалось кульминационным пунктом борьбы либерального лагеря за свободу (на данном этапе). Дальше начался постепенный спад. Оплачивать выданный России вексель оказалось не так просто. Новый литературный «эталон» требовал больших жертв, и в первую очередь бескомпромиссности и абсолютной честности своих провозгласителей.

В июльском номере «Нового мира» (1963 г.) появился четвертый рассказ Солженицына — «Для пользы дела», произведение, направленное против коммунистического тоталитаризма, послесталинской сталинщины и разоблачающее один из основных мифов советской власти. Началась новая волна травли. Рассказ был воспринят догматическим лагерем как личное оскорбление. В конце августа началось новое наступление на Солженицына. В «Литературной газете» от 31 августа 1963 года появилась статья Ю. Барабаша, бывшего в то время заместителем главного редактора газеты, под высокопарным заголовком «Что есть справедливость?» Рассказ в ней был объявлен творческой неудачей Солженицына, а писателю предъявлены два обвинения: в неактуальности темы и в исповедовании «абстрактной», «общечеловеческой» справедливости вместо *партийной*.

На нее ответил в той же газете от 15 октября 1963 года писатель Даниил Гранин статьей «Прав ли критик?», в которой обвинил Барабаша в дезориентации читателя относительно рассказа и подчеркнул стремление Солженицына заняться в этом произведении исследованием людей, которые мешают демократизации государства:

«Почему мешают? Как они действуют, каковы их приемы, методы, какова их философия? Вот что изучает Солженицын».

Не удивительно, что догматический лагерь, ощутив силу нового удара, постарался немедленно мобилизовать все свои силы. В ответ Гранину в «Литературной газете» (19 октября 1963 г.) сразу же появилась статья Н. Селиверстова «Сегодняшнее — как позавчерашнее», обвиняющая Солженицына (по сто-

пам Барабаша) в неактуальности темы, в карикатурном изображении партийных руководителей. В качестве инструктора Дзержинского райкома КПСС г. Ленинграда он свидетельствовал, что таких случаев, как описан в рассказе, в практике сегодняшней жизни не встречается и, пытаясь затянуть дыру, образовавшуюся от солженицынского удара по понятию «партийной справедливости», дважды в своей статье применил давно известный трюк с подменой «партийной справедливости» «народной справедливостью» и противопоставлением последней «абстрактной справедливости».

Редакция «Литературной газеты» под статьей Н. Селиверстова дала подкрепляющую его позиции реплику «От редакции», в которой подчеркивается неправильная постановка вопроса в рассказе Солженицына.

В октябре появились два материала: в журнале «Октябрь» (№ 10, 1963 г.) статья В. Чалмаева «'Святые' и 'бесы'», подвергающая в грубейшей форме разносу *все* произведения Солженицына, занимающаяся передергиванием и извращением мыслей и образов писателя и неприкрыто издевающаяся над его «идеалистической концепцией добра и зла». Из статьи Чалмаева, как у Барабаша и Селиверстова, торчат «сталинские уши» — оскорбленность образом сталиниста Кнорозова: «Кажется порой, что сведения о людях, занимающих важные ответственные посты, он (Солженицын. — Н. Т.) почерпнул в среде сплетничающих обывателей».

Другой — ответ «Нового мира» Ю. Барабашу. Под рубрикой «Трибуна читателей» редакция «Нового мира» (№ 10, 1963 г.) поместила три письма в защиту рассказа Солженицына «Для пользы дела». Все письма подписаны не только фамилиями, но под ними указаны города, профессии и, главное, годы вступления этих людей в ряды КПСС: 1917, 1919, 1920. Это должно было, вероятно, по идее редакции, указывать на принадлежность корреспондентов-читателей к почти целиком уничтоженной Сталиным «славной» ленинской гвардии и придать особое значение и вес их мнениям о рассказе Солженицына. Ленинские большевики в «Новом мире» утверждают в противоположность «догматикам» три пункта:

1. что рассказ Солженицына абсолютно актуален;

2. что этот рассказ — большая удача писателя;

3. что Ю. Барабаш, которому они все трое отвечают, определил себя в своей статье «Что есть справедливость?» защитником одного из действующих лиц рассказа — сталиниста Кнорозова: «По существу Вы становитесь на сторону Кнорозова: ведь это он, Кнорозов, непререкаемо и жестоко *сам* решил, *что* должно быть «на пользу дела» (выделено автором письма).

Как видим, разговор между «либералами» и «догматиками» пошел в открытую. И борьба их, пожалуй, с этого момента приняла иную окраску: с достигнутой вершины требований всероссийского значения свободы и правды до конца, вдохновленных мужественным творчеством Солженицына, она стала спускаться на уровень внутрипартийной борьбы «либералов-ленинцев» с «догматиками-сталинцами», со всё увеличивающимся привкусом сведения личных счетов.

В соответствии с этим в письмах искажался смысл солженицынского рассказа в свою «либеральную» пользу, искажался и сам образ писателя. Авторы писем трактовали, например, Грачикова в качестве руководителя ленинского типа, а самого Солженицына — сознательным гражданином ленинско-коммунистического государства, усердно заботящемся о его процветании. Принципиальная разница между методами «догматиков» и «либералов», увы, исчезла. (В скобках замечу, что это касается и христианского мировоззрения писателя — в ряде статей его защитников если эта сторона его творчества не обходилась стыдливым молчанием, то подвергалась извращающей взгляды писателя трактовке, и всё с самыми добрыми намерениями: защитить гонимый «догматиками» талант и одновременно использовать его как оружие в своей борьбе против сталинистов.[53])

В ноябрьском номере «Октября» выступил *сам* Кочетов со статьей «Не всё так просто», в которой, в противовес «эталону», выдвинутому Твардовским, предлагал свой — чистейший соцреалистический эталон в виде повести донского писателя А. Ка-

---

[53]) См. например, статью Л. Жуховицкого «Ищу соавтора», «Литературная Россия» № 1, 1964 г.

линина «Эхо войны» (подвергшейся, кстати сказать, в ответ на кочетовские претензии остроумнейшему разносу в «Новом мире» № 7, 1964 г.: В. Сурвилло, «К вопросу о наследственности»). Повесть эта, написанная Калининым с ортодоксальной позиции классовой ненависти, противопоставлялась Кочетовым «добреньким», «благостным», «общечеловеческим» произведениям Солженицына. А 12 декабря 1963 года «Литературная газета» бросила редакции «Нового мира» недвусмысленное обвинение в жульничестве: в «Редакционном дневнике» (без подписи, как обычно подаются подобного рода материалы — анонимные доносы), под заголовком «Пафос утверждения, острота споров», «Новый мир» обвиняется в том, что он дезинформирует своих читателей, печатая исключительно только положительные отклики на рассказ Солженицына «Для пользы дела» и утаивая при этом отзывы отрицательные.

Но в «Литературной газете» (№ 154) от 26 декабря редакция вынуждена была, на свой позор, опубликовать открытое письмо редакции «Нового мира», в котором путем простой арифметики доказывалось как раз обратное: из общего числа 58 писем, полученных редакцией «Нового мира» по рассказу «Для пользы дела», — 55 «решительно поддерживают рассказ Солженицына и полемизируют с его критиками». Двенадцать же из них было написано с копиями, оригиналы которых авторами писем были пересланы в редакцию «Литературной газеты» и так и не увидели света. Таким образом, «Литературная газета» была поймана с поличным. А читатели СССР и остального мира стали свидетелями грязных махинаций «непогрешимой» и «правдивой» советской прессы.

ВОКРУГ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

В следующем номере (№ 155) «Литературная газета» опубликовала сообщение Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, из которого вся Россия узнала, что редакция «Нового мира» и Центральный государственный архив литературы и искусства выдвинули на соискание Ленинской премии повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

С этого момента началась новая фаза ожесточеннейшей борьбы лагерей, кончившейся поражением «либералов».

В связи с выдвижением Солженицына на соискание Ленинской премии, в Москве в те дни, в общественных и литературных кругах, мнения разделились: одни утверждали, что выдвижение Солженицына — коварный трюк самой власти, желающей, таким образом, скомпрометировать ставшее слишком популярным имя писателя и нанести удар по его авторитету в стране. Другие высказывали мнение, что получение Солженицыным премии усилит «правовую» позицию либерального лагеря — утвердит его право на правдивость и искренность в литературе, а Солженицыну никакого ущерба не нанесет, поскольку его позиция в отношении власти необычайно стойка.

Эти разговоры москвичей как нельзя лучше раскрывают ситуацию тех дней.

С целью заранее обезвредить готовящуюся новую волну травли Солженицына со стороны догматиков, редакция «Нового мира» в январском номере за 1964 год опубликовала статью члена редакции молодого критика В. Лакшина под названием «Иван Денисович, его друзья и недруги»;[54]) эта статья восстанавливала всю историю травли Солженицына «догматиками» с начала его появления на литературном горизонте России, раскрывала смысл этой травли и давала блестящий литературный и политический анализ самому произведению.

По мысли Лакшина, повесть Солженицына, посвященная сущности тоталитаризма, явилась пробным камнем для каждого человека в России, разделив страну на два враждующих лагеря — друзей и недругов Ивана Денисовича, врагов и приверженцев тоталитаризма как такового.

Эта статья принесла молодому автору всероссийскую известность. По словам самого Лакшина, он получал до 150 читательских писем в день, «в которых читатели хвалили его за храбрость и солидаризировались с ним».

После опубликования этой статьи в России широко распространилась известная пословица, переделанная на новый

---

[54]) См. стр. стр. 243-286 этого тома. — Изд.

лад: «Скажи мне, как ты относишься к Ивану Денисовичу, и я скажу, кто ты».[55])

Новая атака на повесть Солженицына шла в «Литературной газете» под видом обсуждений выдвинутых на Ленинскую премию произведений. Одновременно проводились писательские собрания, на которых зачастую совершенно забывались другие рекомендованные к премии произведения[56]) и начинались сражения из-за Солженицына. На одном из таких собраний (заседании секретариата Союза писателей РСФСР) возмущенно выступил молодой критик И. Золотусский и, как передает аноним из журнала «Октябрь»[57]), «ретиво напал на пьесу Н. Шундика «Одержимая», обвинил всех советских критиков в том, что они «растерялись» и не смогли по-настоящему оценить повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»...»[58])

Страсти разгорались и в самом Комитете по присуждению Ленинских премий. Там шли свои бои.

4 февраля началась сессия Комитета по Ленинским премиям: члены его приступили к рассмотрению и отбору присланных работ. Она затянулась на две недели. И только лишь в «Литературной газете» от 20 февраля 1964 года появилось, наконец, сообщение о том, что из девятнадцати произведений отобрано для дальнейшего обсуждения всего семь. В их числе была повесть Солженицына.

Догматический лагерь забил тревогу.

Комитету по присуждению Ленинских премий в области литературы высказано было со стороны догматического лагеря *недоверие*. В воскресном номере «Советской России» (от 23 февраля 1964 г.) появилось открытое письмо догматика Л. Соболева

---

[55]) Цитирую по очеркам Михайло Михайлова, опубликованным на сербско-хорватском языке в югославском ежемесячнике «Дело», январь-февраль 1965 г.; русский перевод — «Посев» № 16-17, 1965 г.

[56]) Например, на собрании московских писателей, см. отчет в «Литературной газете» от 11 февраля 1964 г.

[57]) «Октябрь» № 4, 1964 г., «Большой разговор о критике».

[58]) Там же, стр. 190.

«Общественность — действительный член Комитета», в котором он писал о допущении Комитетом «явной несправедливости» — снятия с дальнейшего обсуждения поэмы Бориса Ручьева (поэта — соцреалиста и догматика, просидевшего в сталинских лагерях 18 лет и оставшегося певцом коммунизма). В те же дни в «Известиях» от 21 февраля была помещена редакционная статья такого же толка: в ней говорилось о большом недовольстве «советской общественности» в связи с деятельностью Комитета. Газета привела несколько фактов, когда «открытое обсуждение носит один характер, а при закрытом голосовании вступают в действие какие-то иные соображения».

Хотел ли этими мерами догматический лагерь дискредитировать работу Комитета для того, чтобы в случае присуждения премии Солженицыну объявить решение Комитета недействительным, хотел ли он добиться изменения в составе членов Комитета, — неизвестно. Во всяком случае, все силы его были мобилизованы и брошены в атаку.

Что касается новой травли в «Литературной газете», то на сущности ее нет смысла останавливаться, поскольку для опорочивания «Одного дня Ивана Денисовича» применялись всё те же уже известные нам раньше обвинения. С 20 февраля травля «догматиков» распространилась и на В. Лакшина за его статью «Иван Денисович, его друзья и недруги».

Лишь одна статья появилась с начала 1964 года в защиту Солженицына: эта статья принадлежала перу ныне покойного поэта С. Маршака и защищала повесть Солженицына, в связи с обострившейся борьбой и неблагоприятным общим положением, соответственным образом, наподобие читательских писем в «Новом мире». Маршак ссылается на интервью Буйновского, описанного в «Одном дне Ивана Денисовича», которого разыскал корреспондент «Известий» и который ему сказал:

«Это хорошее, правдивое произведение. Любому, кто читает повесть, ясно, что в лагере, за редким исключением, люди оставались людьми именно потому, что были советскими по душе своей, что они никогда не отождествляли зло, причиненное им, с партией, с нашим строем. ...И еще одно ценю я в повести Александра Исаевича: как правдиво описан наш труд. Он был

тяжел, изнурителен, но не унижал нас. Ведь подспудно мы сознавали, что и здесь работаем для Родины».[59])

Пример статьи С. Маршака еще раз демонстрирует то, о чем мы говорили выше: борьба «либералов» вошла в ту фазу, когда победу стало возможным покупать ценой идейного извращения произведения, извращения главного жизненного кредо самого Солженицына. Защита постепенно превращалась в предательство. Вероятно, такой маневр казался «либералам» при данных обстоятельствах даже необходимым, но он непоправимо далеко уводил их от провозглашенных в передовой «Нового мира»[60]) традиций правды и справедливости в русской литературе.

В апреле, когда должна была окончательно решиться участь ленинских премий, в «Новом мире» появилась передовица «По ленинскому пути», посвященная жизни и деятельности Хрущева, идущего, как полагается верному ученику Ленина, по стопам учителя, — полная безудержных восхвалений Хрущева и звучащая подспудным отчаянием. В ней мы читаем снова знакомое нам место:

«Горячо поддержал он [Хрущев. — Н. Т.] (и помог их появлению в свет) художественные произведения, в которых «правдиво, с партийных позиций» освещаются тяжелые последствия культа личности Сталина (повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и другие произведения».[61])

Но и эта мера уже не смогла помочь.

А «Правда», еще недавно опубликовавшая статью С. Маршака в защиту «Одного дня Ивана Денисовича», вдруг круто изменила курс: в номере от 11 апреля в статье «Высокая требовательность», поданной под видом обзора читательских писем, говорилось, что существует три разных мнения о повести «Один день Ивана Денисовича», — отрицательное, положительное и третье, самое распространенное, которое считает, что при всех бесспорных достоинствах повести «ее нельзя отнести

---

[59]) «Правда» от 30 января 1964 г.

[60]) № 4, 1963 г.

[61]) «Новый мир» № 4, 1963 г., стр. 10.

к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии».

Этой статьи было вполне достаточно, чтобы с полной достоверностью предсказать провал кандидатуры Солженицына и поражение вместе с ним либерального лагеря. Ленинская премия была присуждена послушному писателю-соцреалисту Олесю Гончару за его слащавый и бездарный роман в новеллах «Тронка».

В те дни за границу поступили сведения из Москвы, что Твардовский, защищая «Один день Ивана Денисовича», выступал на заседаниях Комитета, членом которого он являлся, настолько активно и резко, доказывая, что Солженицын — первый и самый достойный кандидат на Ленинскую премию, что стали распространяться слухи о снятии его с поста главного редактора «Нового мира».

Чем следует объяснять проигрыш либерального лагеря в истории с Ленинской премией — трудно сказать. Была ли причиной обострившаяся внутрипартийная борьба в ЦК, ослабившая или даже подорвавшая уже тогда позиции защитника и покровителя Твардовского, а вместе с ним и Солженицына? Побоялся ли весь Президиум ЦК премией Солженицыну утвердить притязания либеральной группы на свободу в литературе? Победила ли в этом вопросе группировка сталинцев-догматиков в самом ЦК? Скорее всего, последнее, особенно если судить по набору обвинений Солженицыну, приведенных в статье в «Правде». Увы, слишком знакомые голоса, слишком знакомые ярлыки! Здесь и «художественная неполноценность произведения», и «плохой язык», и «упрощенный подход к обрисовке характера советского человека, его духовного мира», и утверждение, что Солженицын «обеднил духовный мир своего героя, он как бы не решается показать высокую идейность в рядовом советском человеке», и «противоречивость» солженицынских позиций, и обвинение в «добреньком, жалостливом и уравнительном гуманизме».

С момента присуждения Ленинской премии, имя Солженицына стало исчезать со страниц советской печати. Лишь в десятом номере «Нового мира» (1964 г.) редакция, рассказывая

о своих планах на 1965 год, сообщила, что «над большим романом работает А. Солженицын», давая этим понять, что не считает себя побежденной, а намерена и впредь публиковать произведения писателя. То же самое подтвердил и В. Лакшин в разговоре с М. Михайловым летом 1964 года: Солженицын «сейчас пишет дома, в Рязани, большой роман». При этом он добавил, что по его мнению, Солженицын — «самое значительное явление в русской послевоенной литературе».[62])

По сведениям же, поступившим нелегально из Москвы, роман Солженицына лежит в редакции «Нового мира» с лета 1963 года. А сам писатель уже потерял всякую надежду на его опубликование.

В настоящее время имя Солженицына окончательно исчезло из советской прессы. К нему стала применяться знаменитая сталинская тактика замалчивания неугодных властям писателей. Чтобы не быть голословной, приведу в пример один лишь факт: на втором съезде писателей РСФСР, проходившем в Москве в начале марта 1965 года, в единственном докладе догматика Л. Соболева «Советская литература и воспитание нового человека»,[63]) в котором он поименно называет более двухсот пятидесяти фамилий писателей Российской Федерации, имя Александра Исаевича Солженицына, всего лишь два года назад заслужившего российскую и всемирную славу, отсутствует. И *никто* не решился выступить и напомнить о писателе, казнящемся молчанием.

Не выступил и Твардовский, так еще недавно заявивший, что «ни одно новое литературное явление уже не может быть рассматриваемо без сопоставления с этим художником».

Оказалось, что может. И Твардовский может расписаться в своем поражении в борьбе за Солженицына.

Когда приходят мысли о будущем, о возобновлении новой борьбы за писателя, напрашивается вопрос: а могла ли эта борьба за Солженицына кончиться победой? Думается, — вряд ли, ибо, перефразируя знаменитую строку Пушкина из драмы

---

[62]) «Посев» № 16-17, 1964 г.

[63]) «Литературная Россия» от 4 марта 1965 г.

«Моцарт и Сальери», можно с полной достоверностью сказать: Солженицын и коммунизм — «две вещи несовместные».

Но это печальное положение писателя действительно лишь в условиях официальных правящих кругов СССР. Что же касается России живой, неофициальной, напряженно ожидающей *своих* писателей и поэтов, которые поведут ее «за правду», то здесь дело обстоит иначе: летом и осенью 1964 года, когда Солженицын, по мнению своих гонителей, был окончательно побежден, по свидетельству того же М. Михайлова, он — «наиболее популярный русский писатель. ...Мне рассказывали, что только в текущем году на филологическом факультете МГУ защищалось четыре дипломных работы о творчестве создателя «Одного дня Ивана Денисовича».[64])

Примерно с этого же времени ценителями таланта писателя стали по России распространяться произведения Солженицына в «списках», часть которых была переправлена на Запад и впервые вышла на русском языке в журнале «Грани»[65]) под названием «Этюды и крохотные рассказы», а затем они были изданы и на других языках.

Что с Солженицыным будет дальше, сказать трудно: страшно за его физическую жизнь — ведь он тяжело болен. Что же касается его жизни в российской литературе, то здесь можно не беспокоиться: всё говорит за то, что Россия в поединке с властью не отдаст писателя, чьи произведения определила для себя как «хлеб насущный».

1965

Франкфурт-на-Майне

---

[64]) «Лето московское 1964», русский перевод «Посев», № 9, 1965 г.

[65]) «Грани» № 56, октябрь 1964 г.

ИВАН ДЕНИСОВИЧ, ЕГО ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ

В. ЛАКШИН

1

Трудно представить себе, что еще год назад мы не знали имени Солженицына. Кажется, он давно живет в нашей литературе и без него она была бы решительно не полна. Каждый новый его рассказ — хвалит, ругает ли его критика — не оставляет читателя безучастным. О нем говорят, его цитируют, судят его с какой-то особой, необычной для наших литературных споров требовательностью, которая есть первый знак того, что мы по-настоящему задеты и взволнованы. Заурядность располагает к благодушию оценок, но тот, кто поразил нас при первом своем появлении, не может рассчитывать на снисходительность. И таков уж закон читательской психологии или, если угодно, предрассудок ее, что, какие бы новые темы и формы ни разрабатывал Солженицын в «Матренином дворе» или рассказе «Для пользы дела», ему не избежать сравнений с его первой повестью — к выгоде или невыгоде для нее. Так или иначе, но повесть «Один день Ивана Денисовича», с которой А. Солженицын вошел в литературу, остается для большинства читателей как бы эталоном его деятельности художника. Тем полезнее сейчас, когда в критике уже высказаны различные точки зрения на талант Солженицына, оглянуться назад и пристальнее всмотреться в эту маленькую повесть.

«Один день Ивана Денисовича» был прочитан даже теми, кто обычно повестей и романов не читает. Один такой «нерегулярный» читатель сказал мне: «Я не знаю, плохо или хорошо это написано. Мне кажется, иначе и написать нельзя».

Повесть поражала жестокостью и прямотой своей правды.

Л а к ш и н, Владимир Яковлевич (р. 1933). Литературовед и критик. Член редколлегии «Нового мира» с 1962. В феврале 1970 вместе с А. Твардовским выбыл из редакции «Нового мира». Эта статья его перепечатана из «Нового мира» № 1, 1964 г.

Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим.

Н. С. Хрущев дал высокую оценку этой повести, тепло отозвался о ее герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. Сам факт появления повести был воспринят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше прошлое. И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость.

Иной склонен был думать, что успех писателю принесла сама тема — острая и новая, и еще что Солженицыну ничего не стоило написать свою повесть, потому что Иван Денисович — это он самый и есть — просто сел за стол да записал бесхитростно историю одного своего дня. Мнение лестное для автора, до такой степени слившегося в нашем сознании с героем, но наивное и несправедливое. Правдиво рассказать о жизни заключенных в лагере ничуть не проще, чем написать, скажем, о буднях войны, о стройке или колхозе. Дело здесь не в теме, а в таланте, то есть в чувстве правды автора и умении нам эту правду передать. Что же касается простодушной догадки, что сам Солженицын и есть Иван Денисович, оттого и авторская задача его была легка, то последние рассказы многим помогли разубедиться в этом. Подобно автору «Мадам Бовари», говорившему «Эмма — это я», Солженицын мог бы сказать о себе, что он — это и старуха Матрена, и молоденький лейтенант Зотов, и партийный работник Грачиков, то есть все те лица, которые изображены в его рассказах с такой высокой объективностью и знанием человеческого сердца, но в которых вовсе не растворяется без остатка личность писателя.

Художественная смелость Солженицына в его первой повести сказалась уже в том, что он не потворствовал обычным нашим понятиям об украшениях художественности. Он не построил по существу никакого внешнего сюжета, не старался покруче завязать действие и поэффектней развязать его, не подогревал интерес к своему повествованию ухищрениями литературной интриги. Замысел его был строг и прост, почти аскетичен — рассказать час за часом об одном дне одного заклю-

ченного, от подъема и до отбоя. И это была тем большая смелость, что трудно было себе представить, как можно остаться простым, спокойным, естественным, почти обыденным в такой жестокой и трагической теме.

Солженицын разочаровал тех, кто ждал от него рассказа о злодеяниях, пытках, кровавых муках, об эксцессах бесчеловечности в лагере, о мучениках и героях каторги. Странно признаться, но первое впечатление, которое мы испытали, начавши читать повесть, было: и там люди живут. И там работают, спят, едят, ссорятся и мирятся, и там радуются малым радостям, надеются, спорят, бывает, подшучивают друг над другом...

Как нарочно (не сомневаюсь, что нарочно), автор выбрал для рассказа относительно благополучную пору в лагерной судьбе своего героя. Ведь было и так, что на Севере, в Усть-Ижме, куда поначалу попал Иван Денисович, зиму без валенок ходили, есть же совсем было нечего, и «доходил» уже Шухов кровавым поносом. Да и режим там был не в пример суровей. «В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь...» Но о той поре жизни Иван Денисович вспоминает вскользь, к случаю и обычно для того только, чтобы подчеркнуть преимущества нынешнего Особлага — «здесь поспокойнéй, пожалуй».

Самое же парадоксальное и смелое, что и в этой сравнительно легкой полосе лагерного срока автор выбирает из длинной череды дней, проведенных Иваном Денисовичем за колючей проволокой, день не просто рядовой, но даже удачный для Шухова, «почти счастливый». К чему это? Не хочет же он в самом деле уверить нас, что и в лагере «жить можно»?

Что пользы в праздных вопросах. Вспомним лучше, какие чувства пережили мы, открыв впервые повесть Солженицына и начавши читать эту, казавшуюся неуклюжей, грубовато-небрежной и в то же время подчинявшую нас какому-то своему могущественному ритму, прозу:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить».

Веско, тяжело, как отрубленные, падают эти слова, и вот уже отодвигается, расплываясь в очертаниях, только что окружавший нас привычный, живой и вольный мир, и мы оказываемся где-то за огромным снежным голым полем, за двумя рядами колючей проволоки, за предутренней тьмою, раздираемой накрест двумя прожекторами с угловых вышек. Вот сейчас мы очнемся вместе с Шуховым на клопяной вагонке в деревянном, с паутиной инея по стенам бараке. С ним вместе, закутавшим ноги в телогрейку, натянувшим на голову одеяло, еле угревшимся и нездоровым, будем тянуть эти минуты после подъема, пока власть имеющая рука Татарина не сбросит Шухова с нар. И потом выйдем из барака и пойдем за ним по двору, где бегают, запахнувшись в бушлаты и дрожа от мороза, зэки, мимо столба с термометром и рельса на толстой проволоке — в надзирательскую, мыть пол. А после, кое-как управившись с этой работой, опять на мороз...

Так, миновав лишь несколько первых страниц, мы побываем вместе с Шуховым в штабном бараке, санчасти, столовой, а потом вернемся ненадолго к его вагонке — вот уже и весь лагерь как на ладони, кроме разве что БУРа, который стоит за дощатым заплотом в центре лагеря и будет стоять каким-то мрачным наваждением до конца повести, когда туда поведут погорячившегося на «шмоне» кавторанга.

Солженицын делает так, что мы видим и узнаем жизнь зэка не со стороны, а изнутри, «от него». Старый лагерник Шухов живет в тех особых условиях, когда все вещи и отношения получают иную, чем обычно, цену: то, что казалось важным и значительным на свободе, здесь часто выглядит мешающим и лишним, зато другие вещи, прежде мало замечаемые, приобретают ни с чем не сравнимую важность. Надо знать эту иную шкалу ценностей, чтобы понять Шухова. А для этого Солженицыну очень важно рассказать о том, что и как едят его герои, что курят, где работают, как спят, во что обуваются и одеваются, чем укрываются на ночь, как говорят между собою и как с начальством, что думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются. Тут как бы полный лексикон подробностей лагерного быта, описанного художником с социально-этнографической точностью, и, наверное, всякому, кто будет писать об этом после Солженицына, невольно придется ступать в его след.

В лагере все делается по своему чину и ряду, в согласии с незнакомыми на воле понятиями обо всем — об удаче и неудаче, о чести и бесчестии, о приличии и неприличии. И разве когда забудешь, раз прочитавши, такую, например, подробность: за едой косточки рыбьи из баланды зэки плюют на стол, собирают их в кучку, а потом смахивают со стола, и они на полу дохрустывают. «А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно».

Такое внимание ко всему обиходу жизни лагеря художественно оправдано еще тем, что Иван Денисович, которого автор дал нам в проводники по каторжному аду, человек по-крестьянски дотошный и практичный, а восемь лет лагеря еще приучили его быть внимательным ко всякой мелочи, ибо от этого зависит благополучие, здоровье и самая жизнь лагерника. Вот он, воспользовавшись оплошностью повара, ловко «закосил» две лишние миски каши: вот подобрал по дороге кусок ножовки: заточить ее — ножичек сапожный выйдет, ему в бараке цены нет — обувь починяя, подработать можно...

Автор задерживается все время на маленьких удачах Шухова, точно старается растянуть счастливые для него минуты, а драматические моменты его лагерной жизни как бы отводит в тень.

Но ведь и о мере несчастья человека можно дать понятие, рассказав о том, что кажется ему счастьем. Все, к чему давно притерпелись глаза Ивана Денисовича, что вошло в его быт и стало казаться обычным, по существу своему страшно и бесчеловечно. И когда мы читаем в конце повести, что Шухов засыпал «вполне удоволенный», потому что на дню у него выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он «закосил» лишнюю кашу и т. д. — это приносит нам не чувство облегчения, но чувство щемящей, мучительной боли.

О том, что день этот для Ивана Денисовича был «почти счастливым», автор говорит без тени саркастической усмешки, со спокойной серьезностью. Шухов в самом деле доволен своим днем, хотя удачи его большей частью проявились, так сказать, в негативной форме; они состояли в том, что на этот раз он избежал обычных лагерных напастей: «не посадили... не выгнали... не попался... не заболел». И если все-таки сквозь строгую объективность рассказа проступает здесь горькая ирония, то это ирония самого положения вещей, самих обстоятельств, в ко-

торых такой день может считаться счастливым. В этом и состоит сила автора, что он смотрит на жизнь одновременно, вместе со своим героем и дальше, глубже его.

Если бы Солженицын был художником меньшего масштаба и чутья, он, вероятно, выбрал бы самый несчастный день самой трудной поры лагерной жизни Ивана Денисовича. Но он пошел другим путем, возможным лишь для уверенного в своей силе писателя, сознающего, что предмет его рассказа настолько важен и суров, что исключает суетную сенсационность и желание ужаснуть описанием страданий, физической боли. Так, поставив себя как будто в самые трудные и невыгодные условия перед читателем, который никак не ожидал познакомиться со «счастливым» днем жизни заключенного, автор гарантировал тем самым полную объективность своего художественного свидетельства и тем беспощаднее и резче ударил по преступлениям недавнего прошлого.

Сила этого простого эпического рассказа об одном обычном дне лагерного срока еще и в том, что, когда мы читаем, как Шухов встает, как завтракает, как ведут его на работу, как он работает, как обедает в перерыв, как возвращается с работы, — когда проходит перед нами весь этот обычный порядок трудового дня, мы не можем не думать о том, что и как делал бы Шухов, будь он на воле, и еще о том, чем тогда, в эти дни и часы, были заняты мы сами.

В повести точно обозначено время действия — январь 1951 года. И не знаю, как другие, но я, читая повесть, все время возвращался мыслью к тому, а что я делал, как жил в это время. Помню, ходил в университет на Моховой по утреннему скрипучему снежку мимо Кремля, любил смотреть на его красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены, сдавал зимнюю сессию, зубрил только что введенный курс «сталинского учения о языке», сочинял сценарий студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки... В том январе газеты писали о прокладке русла Волго-Дона и о скоростных плавках стали, об укрупнении колхозов и продвижении на север культуры грузинского чая, о близких выборах и о войне в Корее, о юбилее Алишера Навои и финальных играх на кубок по хоккею. Страна жила своими большими и малыми заботами, и мы жили всем этим вместе с нею.

Но как же я не знал об Иване Шухове? Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами

других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле — к объекту? Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? Вроде тех девушек-студенток, что повстречались бригадиру Тюрину в поезде: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые...»

Вот от каких мыслей труднее всего отвязаться.

2

Но тут я слышу голос, заставляющий меня вздрогнуть: «И все же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?» Это спрашивает Ф. Чапчахов из журнала «Дон» (№ 1, 1963). Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что критик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым еще прежде, чем прочел о нем в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике оно встречается.

Как тут не вспомнить о старом-престаром различии двух способов критики — нормативного и аналитического. Коротко говоря, нормативный подход состоит в том, что у критика еще до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всем, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и темные краски, каков при этом должен быть «фон» и т. п. Читая затем книгу, он производит несложную работу, в чем-то схожую с портняжным ремеслом: накладывает готовые мерки, прикидывает, соответствует ли результат прежним измерениям, закрепленным в своде правил, и если нет — находит произведение неудачным, если да — отходит удовлетворенный. Хуже всего, когда такой критик начинает советовать автору одно укоротить, другое «припустить», прикидывая при этом платье на себя или, что не лучше, на того стандартного «болвана», который торчит в углу прихожей в ателье.

В противоположность нормативному аналитический спо-

соб критики состоит в том, чтобы подходить к произведению как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства художника, выносить суд о самом произведении и о жизни, в нем изображенной. Все это — азы материалистической эстетики, которые были провозглашены еще Добролюбовым и научное подтверждение которым мы находим в ленинской теории отражения. Если их приходится повторять, то лишь потому, что нормативная критика, не слишком обнажающая свою уязвимость, пока она имеет дело с книгами, написанными по нормативным же правилам, становится крайне беспомощной и неумелой, попросту теряется, когда ей приходится столкнуться с произведением, возникшим из глубины жизни, передающим ее сложную диалектику, открывающим что-то действительно новое, прежде в литературе не испробованное.

Отношение критики к повести «Один день Ивана Денисовича» сложилось не просто. Горячо поддержанная при появлении печатью (рецензии в «Правде», «Известиях», «Литературной газете»), повесть позднее в некоторых журнальных статьях получила не сходную с первоначальной, осторожно скептическую и даже откровенно отрицательную оценку. Никто, впрочем, не выражал сомнения в пользе открытого обсуждения в литературе столь острой темы. Критика повести пошла по другому руслу.

Выступившая с обзором прозы Л. Фоменко нашла, что повесть Солженицына «еще не дает всей правды о тех временах». «Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой, горькой правде, — писала она в «Литературной России» (11 января 1963 года), — все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи». Вскоре на страницах того же издания («Литературная Россия», 18 января 1963 года) это утверждение было оспорено. Г. Ломидзе здраво рассудил, что нельзя требовать от автора объять необъятное. Он обратил внимание Фоменко на то, что Солженицын написал не роман-эпопею, а всего лишь маленькую повесть. «Как это в одном дне жизни заключенного возможно схватить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи!» — возражал Г. Ломидзе.

Сочувствуя второму критику, нельзя, однако, признать сильным его аргумент. Сам того не желая, он принял какой-то извиняющийся тон и невольно прибег к той же нормативной системе понятий, что и его оппонент, пытаясь установить некую иерархию жанров, согласно которой роман-эпопея в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью. Но разве нельзя и в маленьком рассказе «подняться до философии времени, до широкого обобщения»? Разве это не аксиома, что художник, если он художник истинный, способен в малой капле отразить целый мир?

Что же до повести Солженицына, то удивляться надо, на наш взгляд, не тому, что он чего-то «не отразил» и «не обобщил», а тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника. В самом деле, мы не только узнали обиход жизни заключенных, их подневольную работу и скудный радостями быт. Мы узнали там людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени.

Герои Солженицына, разделившие одну судьбу с Иваном Денисовичем, появляются в повести незаметно и просто, словно переступают бесшумно порог, не требуя особого представления со стороны автора; они не позируют перед читателем, погруженные в свои дела и заботы, часто всего лишь несколькими словами перекинутся с Шуховым и уступят место другим, а потом в течение этого долгого дня появятся еще не однажды, уже как хорошо знакомые и близкие нам чем-то люди — бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, герой Бухенвальда — Сенька Клевшин, Цезарь Маркович, мальчонка Гопчик... Крестьяне, солдаты, люди интеллигентного круга, они думают о многом по-разному и говорят о разном — не только о повседневном лагерном быте, но и о том, с чем связано их прошлое: о коллективизации, о войне, об искусстве, о том, как живет деревня, — и это очень важные страницы книги. Чего стоит одна история жизни бригадира Тюрина, рассказанная им самим, — поразительное по своей глубине и силе место повести!

Так можно ли упрекать писателя за бедность и неполноту его изображения? Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, отношений, не сводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеймив произвол, Солженицын показал и то, как люди,

в обычной, «вольной» жизни различные между собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в них и прежде свойства — будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь — его интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности. «Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «зэков», — замечал Твардовский, — читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний». Не в этом ли истинный масштаб повести, широта ее обобщения?

Нельзя упускать из виду и то, что в художественном произведении в отличие, скажем, от статистического справочника достоинство полноты и многосторонности определяется не количеством затронутых тем, а качеством самого изображения. У настоящего художника в одной беглой, вскользь оброненной детали жизнь предстанет более многообразно, чем в торопливом «отражении» десятков тем в каком-нибудь пухлом иллюстративном романе.

Иначе считают авторы мелькающих время от времени в некоторых журналах придирчиво раздраженных отзывов о повести Солженицына. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Критику «Огонька» ничего не стоит, например, расхваливая новый роман И. Лазутина — автора популярного детектива «Сержант милиции», с младенческой литературной безответственностью заметить: «В отличие от повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни» («Огонек», № 39, 1963). Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести Солженицына роман И. Лазутина многогранен. Что поделаешь, если автору этой заметки недорога его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает?

Вообще говоря, когда Солженицына упрекают в том, что он рассказал в своей повести не все, что можно было бы рас-

сказать о лагерях тех лет и о жизни страны в целом, удивляет искусственный характер этих требований, род странной неблагодарности по отношению к писателю. Вместо того чтобы подивиться его таланту и гражданскому мужеству, тому, как глубоко и правдиво все в нарисованной им картине, где не найдешь, кажется, ни одной точки, ни одного штриха вымученного и фальшивого, — автора начинают укорять в том, что и за пределами его картины осталось немало предметов и лиц, достойных изображения. Такая ненасытная требовательность еще понятна, когда она есть часть признательности художнику за его работу и поощрение к новым трудам, но она мелка и неумна, когда с помощью такого приема хотят бросить тень и на само произведение как на что-то неполноценное, недовершенное. И скверно выглядит тот критик, который, узнав от Солженицына о трагедии жизни Ивана Денисовича, пережив первое потрясение и едва дав ему устояться, спешит учить писателя, как надо было рассказать об этом, чтобы удовлетворить его сполна.

Тут надо сделать оговорку. Мы принимаем как нечто безусловное, что первым движением души любого читателя повести будет горячее сочувствие ее герою, чувство горечи и возмущения при виде безвинно осужденных на жесточайшие муки людей, негодование по поводу злодеяний поры культа личности. И трудно представить себе такого читателя, который в качестве главного впечатления от повести вынесет недовольство самим Иваном Денисовичем, его характером, образом мыслей, поведением в лагере и т. п. Трудно, но не вовсе невозможно, потому что такой читатель существует. Это критик Н. Сергованцев, написавший для журнала «Октябрь» статью «Трагедия одиночества и «сплошной быт» (№ 4, 1963).

Указав вначале, что, на его взгляд, повесть Солженицына «содержит в себе немало глубоких противоречий», Н. Сергованцев предъявляет Ивану Денисовичу Шухову настоящий обвинительный акт, составленный по всем правилам нормативной критики и напоминающий о тех показательных судах, какие устраивались у нас в двадцатые годы в школах над литературными героями Онегиным и Печориным, когда ученики, поощряемые наставниками-педологами, учились искусству общественного поношения. Я приведу это рассуждение Н. Сергованцева возможно полнее, позволив себе лишь выделить в тексте некоторые места, на которые хочется обратить специально внимание читателя:

«Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной натурой: *это «рядовой» человек, притом «рядовой» в самом точном смысле этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет особого интереса.* Но в целом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?

Прежде всего тем, что именно «рядовой», обыкновенный человек поставлен в центр трагических событий, что все события переданы сквозь «призму» его восприятий. Хочется знать, как же простой человек, выдвинутый автором в качестве глубоко народного типа, будет осмысливать ту потрясающую обстановку, которая его окружает.

И по самой жизни, и по всей истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, выкованный всей нашей жизнью, — это характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов *начисто лишен этих качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им душой и телом (?). Ни малейшего внутреннего протеста, ни намека на желание осознать причины своего тяжкого положения, ни даже попытки узнать о них у более осведомленных людей — ничего этого нет у Ивана Денисовича.* Вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: выжить! Некоторые критики умилились такой программой: дескать, жив человек! Но ведь жив-то, в сущности, *страшно одинокий человек, по-своему приспособившийся к каторжным условиям, по-настоящему даже не понимающий неестественности своего положения.* Да, Ивана Денисовича замордовали, во многом обесчеловечили крайне жестокие условия — в этом не его вина. Но ведь автор повести пытается представить его примером духовной стойкости. *А какая уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается дальше лишней миски «баланды», «левого» заработка и жажды тепла».*

Здесь критик прерывает свой прокурорский монолог, чтобы сообщить читателю, что он не собирается «строго судить героя А. Солженицына». «...Мой жизненный опыт не дает мне на это права», — спохватывается он. Но, разделавшись с литературными приличиями при помощи этой фигуры вежливости, молодой критик с удвоенной энергией обличает Ивана Денисовича, черты характера которого, как считает он, унаследованы «не от советских людей 30-40 годов», а от патриархального мужичка. «Не от советских людей...» — критический прием, слиш-

ком хорошо известный, но в последние годы не практиковавшийся в литературе. Н. Сергованцев снова вводит его в оборот.

Даже когда Н. Сергованцев вспоминает, что с Шуховым мы знакомимся в условиях, мягко говоря, необычных, в каких мы впервые видим героя советской литературы, он делает это так, что все камешки опять-таки летят в огород Шухова: «Та суровая действительность, в которой жил Шухов, могла по-всякому изуродовать человека». Бросается в глаза, что, говоря о «суровой действительности», в которой «жил» Иван Денисович, критик выбирает здесь слова эпически спокойные, зато уж с Шуховым не церемонится — суровая действительность его «изуродовала», «планомерно вытравляя в нем, — как пишет дальше критик, — все человеческое».

Особенно настаивает Н. Сергованцев на «трагедии одиночества», якобы определяющей образ Ивана Денисовича. «Узость «жизненной программы» Ивана Денисовича, — пишет критик, — привела к тому, что он, в сущности, одинок. Ни Алеша-баптист, ни кавторанг Буйновский, ни Цезарь — его соседи по бараку — не смогли стать близкими ему людьми. Автор не раз подчеркивает, что Иван Денисович не понимает многих своих собратьев по несчастью... Не понимает Иван Денисович и жизнь, которая осталась за колючей проволокой. «Жизни их не поймешь», — думает он».

И как окончательный вывод: «Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи».

Весьма необъективно расценив далее рассказы Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» (в последнем критик усмотрел идею «сострадания к предателю»), Н. Сергованцев отнес произведения писателя к числу тех, которые «оставляют чувство глубокой неудовлетворенности, поскольку воссоздают жизнь односторонне, без исторической перспективы», и тут же заодно отказал им в художественности, поскольку «истинно художественное произведение открывает перед читателем необозримые горизонты жизни», а у Солженицына он этого не обнаружил.

Пусть не сердится читатель, что мы так подробно цитируем и пересказываем суждения Н. Сергованцева. Они интересны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, статья Н. Сергованцева единственная, в которой выражено прямое и безусловное осуждение всего творчества Солженицына в целом. Во-вторых, потому, что в своем отношении к образу Шухова он с

наибольшей резкостью и определенностью выразил то, что высказывалось более смутно и осторожно в некоторых других статьях вроде уже упомянутой выше статьи в журнале «Дон». Таким образом, точка зрения Н. Сергованцева не является сугубо индивидуальной, субъективно исключительной. И хотя я не думаю, чтобы среди читателей нашлось много ее сторонников, она заслуживает внимания как выражение некоторой позиции, пусть не очень прочной, но упорной в своих пристрастиях, унаследованных от вчерашнего дня нашей жизни.

Пожалуй, первое, что отмечаешь в рассуждениях Н. Сергованцева, это его небрежно-ироническое отношение к самой задаче изображения «рядового» человека-труженика, «интеллектуальная жизнь» которого не представляет для критика интереса. Снисходительно, свысока отзываясь о духовном мире Ивана Денисовича, он выговаривает ему за невнимание к мнению людей «более осведомленных». Сам Иван Денисович выглядит здесь как безнадежно тупое и ограниченное существо, которому, по его крестьянской темноте, остается лишь внимать людям «активным» и «пытливым». Критик досадует, что у героя Солженицына не возникает даже потребности получить у этих людей необходимые указания и разъяснения насчет своей судьбы.

Что могли ответить на вопросы Ивана Денисовича «осведомленные люди» в Особлаге зимой 1951 года — об этом еще следует подумать. Для нас несомненно другое — заслуга писателя, выбирающего своим героем человека, условно говоря, рядового и обыкновенного.

Впрочем, рядовым человек кажется тому, кто торопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным.

Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда партии, реального, а не декларативного сближения ее с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академиках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тетках Матренах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными кры-

шами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?

Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере неполна без изображения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, «самую толщу широких трудящихся масс». Так что ирония по поводу «рядового», обыкновенного человека тут ни к чему.

«Рядовой» герой Солженицына кажется Н. Сергованцеву беззаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очернить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерял человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщен с другими людьми и едва ли не враждебен им.

Такое толкование повести не должно удивлять, поскольку Н. Сергованцев, верный приемам нормативной критики, рассуждает как бы вне и вопреки тексту книги. Следя за его рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос в избытке возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется «Один день Ивана Денисовича».

Ведь в этой повести о Шухове и его судьбе говорится совсем иначе.

3

О прошлом Ивана Денисовича знаем мы мало, но и того, что знаем, достаточно, чтобы понять, каков он есть человек. Жил Шухов до войны в маленькой деревне Темгенёво, работал в колхозе, кормил семью — жену и двух девочек. Началась война — на войну пошел и воевал честно: был ранен на реке

Ловать, ему бы в медсанбат, а он «доброй волею в строй вернулся». Потом армию окружили, многие попали в плен, но Шухов из плена бежал и по болотам да по лесам к своим выбрался. А тут обвинили его в измене: мол, задание немецкой разведки выполнял. «Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

Сказано это со спокойным и горьким юмором, но, признаться, от юмора такого — мурашки по коже. Словно сидят они со следователем рядком и беседуют дружелюбно, как дело обставить поудобнее, что Шухов-де родине изменил, за которую кровь пошел проливать и столько вытерпел. В самом же деле знал Шухов, что, если не подпишешь — расстреляют, и хотя можно представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся, протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой усмешкой: на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил человеческих.

Умирать ни за что ни про что было глупо, бессмысленно, противоестественно. Шухов выбрал жизнь — хоть лагерную, скудную, мучительную, но жизнь, и тут задачей его стало не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание судьбы так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе. Может быть, Иван Денисович и не рассуждал так заранее, даже наверное не рассуждал, но сердцем именно так чувствовал и руководился этим чувством.

Упрекают Ивана Денисовича в том, что он будто бы примирился с лагерем, «приспособился» к нему. Но не то же ли это самое, что упрекать больного за его болезнь, несчастного за его несчастье! Конечно, опыт восьми лет каторги в Усть-Ижме и Особлаге не прошел для Шухова даром, он выработал в себе некоторые внешние реакции, которые тут есть как бы условие существования: соблюдай лагерный режим, поклонись надзирателю, не пускайся в препирательства с конвоем — ведь «качать права» перед Волковым не только опасно, но бессмысленно. И можно лишь удивляться, в какой целостности остаются при этом основные его нравственные понятия, как мало поступается он своей гордостью, совестью, честью. Его житейская мудрость и практическая сметка, лукавство и знание что чего стоит — эти свойства, которые в крови у русского крестьянина и рождены опытом не одного дня, сохраняют в Шухове силу жизненности,

помогающую ему перенести тяжелейшие страдания и остаться человеком.

И ведь это при том, что такое большое, порой всепоглощающее значение имеют для Ивана Денисовича в лагере две заботы — не ослабеть от голода и не замерзнуть. В условиях, чем-то схожих с изначальной борьбой за существование, заново обнаруживается ценность простейших «материальных» элементов жизни, того, что всегда и бесспорно необходимо человеку — еды, одежды, обуви, крыши над головой. Лишняя пайка хлеба становится предметом высокой поэзии. Новым ботинкам Ивана Денисовича автор слагает целую оду: «...в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навылет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок».

И с той же доброй крестьянской обстоятельностью и даже с ноткой нежности говорится о табаке, который продает латыш: «Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой». И о каше: «...ложкою обтронул кашу с краев. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать».

Еду автор описывает особенно подробно, основательно, можно даже сказать — любовно, потому что это желанная, поэтическая минута в жизни лагерника: ведь он живет здесь «для себя». «Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Так что, как ни странно это прозвучит, за едой он больше всего чувствует себя личностью, человеком, который над собою волен. Тут уж его интерес, его право распоряжаться собой.

Важно и другое. Лишняя пайка хлеба, которой так дорожит Иван Денисович и о которой так много думает, — не просто поддержка и утеха для вечно ноющего желудка, но средство независимости от начальства, «кума», богатого лагерника, пер-

вое условие внутренней самостоятельности. Пока сыт и силы еще есть для работы — и в голову не придет унижаться, выпрашивать, «шестерить». Шухов всегда рад разжиться хлебом, добыть табачку, но добыть не как «шакал» Фетюков, рыскающий по тарелкам и униженно засматривающий в глаза, а так добыть, чтобы не уронить себя, соблюсти свое достоинство.

Солженицын очень тонко и последовательно отмечает эту связь материальной, так сказать, и нравственной стороны дела. Шухову на всю жизнь запомнились слова первого его бригадира старого лагерного волка Куземина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Эти три выхода ищут для себя нравственно слабые люди, их-то и ждет в самом деле позорное приспособление. Слова Куземина верны уже в том прямом и простом смысле, что, выбирая легкое, человек теряет сопротивляемость, и это часто приводит к физической гибели. Но еще важнее и безусловнее тут некий нравственный закон: Куземин предупреждает против гибели моральной. Здоровая народная нравственность запрещает такое самоунижение, как миски лизать, — человек не должен превращаться в животное, не должен терять чувство достоинства. То же и с санчастью. Начнешь надеяться на болезнь — глядишь, и совсем расклеился, раскис... Я уже не говорю о третьем — кто ходит к «куму», оперуполномоченному, «стучать»: тот вовсе погибший человек, хоть в обыденном смысле его судьба может сложиться благополучно. «Насчет кума — это, конечно, он загнул, — поправляет Куземина Иван Денисович. — Те-то себя сберегают. Только береженье их — на чужой крови».

Шухова не берут все эти низкие соблазны, потому что другая у него основа жизни, другой неписаный кодекс нравственности — нравственности трудового человека. Эта внутренняя основа крепка и строга у него настолько, что не расшатали и не погубили ее долгие годы каторги. Он не махнул на жизнь рукой и не опустился, остался тем же работящим и честным крестьянином, солдатом, мастеровым. И когда автор вскользь замечает о Шухове, что «не мог он себя допустить есть в шапке», — за этой одной подробностью возникает целый мир представлений, нравственных понятий, стойко охраняемых в себе Иваном Денисовичем. Тут не только верность добрым обычаям и традициям «нормальной», вольной жизни, а пронесенное через все муки, не потерянное в унижениях лагеря человеческое достоинство.

При всей объективности своего художественного письма, Солженицын умеет сказать о герое прямо и ясно, не оставляя повода для двух толкований. С уважением и даже какой-то гордостью за своего героя говорит автор о бессребреничестве Ивана Денисовича, его неумении и нежелании ловчить: «Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Иван Денисович не считает грехом подработать, услуживая товарищам по бараку: сшить богатому бригаднику чехол на рукавички или в посылочную за Цезаря Марковича постоять — тут его труд, его руки, его расторопность, и стыда в этом нет. Но, получая для Цезаря посылку, он не выпрашивает у него свою долю и даже не завидует ему. Это уже больше, чем просто выжить, выжить любой ценою. «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ, — говорит о нем автор, — и чем дальше, тем крепче утверждался». Слово «утверждался» не требует тут дополнений — «утверждался» не в чем-то одном, а в общем своем отношении к жизни.

И это при том, что Шухов слишком хорошо знает цену пайке хлеба и теплой одежде и поневоле постоянно привязан мыслями к тому, как бы не пропал припрятанный им в матрасе кусок или как удобнее приспособить на лицо «тряпочку с рубезочками», чтобы не обморозиться на ходу.

Конечно, все эти заботы легко можно счесть прозаическими, мелкими и высокомерно пожурить Ивана Денисовича за узость его кругозора и за то, что интересы его не простираются дальше лишней миски баланды и жажды тепла. Можно, уподобившись птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, презирать в душе разговоры о голоде, холоде, пайке хлеба, о какой-то тряпочке с рубезочками, о магаре. Можно, не ведаясь с такими бедами, как недоедание, недосыпание, пронизывающий до костей холод, относиться к этому слегка брезгливо: зачем вспоминать о неприятном — давайте говорить о высоком, о жизни духа, о сознательности... Но чего стоит такое фальшивое идеальничанье? И не кажется ли оно смешным перед мужественной правдой и большой идейностью повести Солженицына?

Что-то похожее на эти сентенции внушает Ивану Денисовичу Алешка-баптист: «Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у лю-

дей, то мерзость перед Богом! Молиться надо о духовном...» Слова Алешки как будто и бескорыстны и искренни, но как наивна и бессильна его вера по сравнению с мужицким здравым смыслом Ивана Денисовича.

У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и Бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти.

По инерции Иван Денисович еще иной раз перекрестится — но в ад и в рай он не может верить и не верит. Он верит в себя, в свой труд, верит в товарищей по бригаде, в бригадира Тюрина, а мы верим в него как в живую частицу народа. И это самая материальная и в то же время самая духовная вера.

В том и заключается для нас оригинальность и высокое значение Солженицына как художника, что духовное содержание он открывает не вне своего «рядового» героя и его бедного, страшного быта, не поверх его, а в нем самом, в трезвой и точной, без прикрас, картине лагерной жизни.

Шухов рассуждает и в самом деле мало, не философствует, не умствует специально, но ведь почти все, что мы узнаем из повести, — это от него, Ивана Денисовича, мы узнаем, и можно только подивиться тому, какой у него острый, чуть ироничный и по-народному точный взгляд на вещи. Вот думает он, например, о строительстве нового объекта Соцгородка в снежном голом поле, где заключенные должны, прежде чем строить, «ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от самих себя натягивать — чтоб не убежать». Сказано — как припечатано. И хоть повод для этой мысли был совсем конкретный — очень уж не хотелось Шухову, чтобы их с утра на тот новый объект погнали, — но стоит за этим и более общее сознание бессмыслицы и бесчеловечности всей системы репрессий против ни в чем не повинных советских людей как против врагов советской власти, иначе сказать, против себя же самих.

Шухову нету времени на праздные мысли; все его заботы так истинны и неотложны, что ему не приходится их выдумывать, они сами за ним идут и требуют постоянной сообразительности, постоянного напряжения сил — физических и духовных. А духовное для Шухова, как я уже сказал, это не абстрактное

философствование, а непосредственное отношение к жизни, к людям и к труду, — к труду, может быть, прежде всего.

В сцене кладки стены здания ТЭЦ Шухов проявляется весь, и обойти эти страницы — значило бы не понять самого главного в Иване Денисовиче. Уж и когда, не запомню, читали мы в нашей прозе такое поэтическое и одухотворенное описание простого рабочего труда: автор так окунает нас в его ритм и лад, что, кажется, сам чувствуешь напряжение всех мышц, и тяжесть, и утомление, и дружный азарт работы. После «производственных» романов, где внутренняя, личная жизнь героя легко отслаивалась от описаний самого процесса труда и где нам становилось невыносимо скучно, как только автор с самоуверенностью дилетанта начинал щеголять подробностями технологии производства, эти страницы Солженицына удивляют как открытие. Оказывается, можно самым подробным образом, с дотошной обстоятельностью описывать работу каменщика и не только не наскучить, но полностью захватить внимание читателя, увлечь и растрогать.

Чтобы лучше понять Шухова, когда он работает на кладке стены, надо помнить, что он не так прост, чтобы ко всякому труду, какой он ни будь, относиться без разбора. Погнали его в надзирательскую пол мыть, а он протер его слегка, тряпку, не выжав, за печку бросил, а воду на дорожку, где начальство ходит, плеснул. «Работа, — рассуждает Иван Денисович, — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху». Та работа, что зазря или по пустому принуждению, — не по душе Шухову.

Другое дело на «объекте», где бригадир его да латыша Кильгаса поставил, как мастеров, на каменную кладку. И тут не только в том причина, что это общий труд бригадный, где нельзя подвести, иначе плохо закроют процентовку. Для Ивана Денисовича в этой работе нечто большее — радость мастерства, полного и свободного владения своим делом, то вдохновение работы, которое пробуждает в голодном, оборванном зэке человеческую гордость и чувство достоинства.

У Ивана Денисовича руки рабочего человека, а глаз мастера, повадка мастера. Вот он срубает лед, намерзший на старой кладке, сам же свою работу обдумывает: «А думка его и глаза его вычуивали из-подо льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь

Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут — провалина, ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась — это спрямить ряда за два! И разделил он стену невидимой метой — до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильгаса». По мере того как Шухов «обвыкает со стеной, как со своей», подневольный труд мало-помалу начинает превращаться в труд независимый, самостоятельный. Зачем, казалось бы, Солженицыну этот парадокс? Но пока мы недоумеваем, автор продолжает и развивает эту тему.

Раствор, который подносят в носилках из обогревалки, сразу схватывает на морозе. Чуть зазевался, положил шлакоблок неровно, а он уже косо примерз, не поправишь. «Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет». Здесь точно камень оживает под руками Шухова. Шлакоблок, который «лечь хочет», и стена, которая его «ждет», внезапно делают этот мир теплым, обжитым, домашним, послушным уверенному мастерству.

И еще одна неожиданная подробность: Шухову даже жаль, что время быстро идет и пора кончать работу. Вот уже к вахте все побежали, домой собираются. А Шухов, разгорячившись, все подгоняет своего напарника: «Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок». Пока раствор есть, не может Шухов работу бросить. «Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». И с той же бережностью относится Шухов к своему инструменту — мастерку, который тщательно припрятывает в растворной. То, что Шухову не всякий мастерок сойдет, а нужен именно этот, облюбованный им, потому что легок и по руке, — в этом тоже чувствуешь не только крестьянский бережливый разум, но и гордость рабочего человека — печать его личности, творческого начала в нем.

Вот тут и проясняется смысл этого парадокса, его связь с общей идеей повести. Когда на картину труда жестоко-принудительного как бы наплывает картина труда свободного, труда

по внутреннему побуждению — это заставляет глубже и острее понять, чего стоят такие люди, как наш Иван Денисович, и какая преступная нелепость держать их вдали от родного дома, под охраной автоматов, за колючей проволокой.

Невольно начинаешь думать о том, как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе, где после войны мужики наперечет. Как бы он со своей совестливостью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз и свою семью вытащил бы из нужды...

Из скупых строчек писем, приходивших два раза в год, Иван Денисович мог лишь догадываться об истинной мере неблагополучия в родной деревне; еще меньше мог знать он о том, что Темгенёво вовсе не было исключением в последние годы жизни Сталина. Шухову горько подумать, что его деревня живет тяжело, бедно. Но когда он говорит: «жизни их не поймешь», он не только жалеет своих близких и односельчан, но в чем-то и недоумевает, недоумевает, как человек с рабочей совестью: «Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?» В этом тревожном вопросе «А с сенокосом же как?» слышим мы голос беспокойства Ивана Денисовича, крестьянской его души. Как можно забросить такое серьезное дело, как сенокос, ради пусть легкого и «огневого», но какого-то сомнительного промысла красилéй.

Писала Ивану Денисовичу жена, что красилú эти, что ковры по трафареткам делают, ездят по всей стране и деньги гребут тысячами, пообстроились все. Но не по душе Ивану Денисовичу браться за те ковры. «Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать». Есть что-то нечистое, мало почтенное в самой легкости этого занятия.

Было бы уместно вспомнить тут Салтыкова-Щедрина, сказавшего как-то, что народ верует в три вещи: «в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство». Хоть и мог выглядеть соблазнительно для Ивана Денисовича заработок красилей, но и стыден был ему этот промысел как озорство. «Легкие деньги — они и не весят ничего, — рассуждает Шухов, — и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»

Шухов с подозрением относится к легким деньгам, к тому, что сулит выгоду без усилий и труда, потому что в нем глубоко укоренено чувство нравственного долга, которое в конечном счете основывается на смутном сознании того, что если тебе блага жизни стали даваться слишком легко — значит, есть кто-то, кто принял теперь на свои плечи твою долю труда и ему стало тяжелее.

Шухов ни на кого не станет перекладывать свою ношу, он знает силу и умение своих рук и оттого сохраняет ту внутреннюю устойчивость, душевное здоровье, которое в жестоких условиях лагерного произвола позволяет ему не обессилеть, не надломиться, не получить равнодушия ко всему, а верить в жизнь, в ее перемены к лучшему. И сколько нужно народного оптимизма, чтобы в самую тяжелую минуту думать: «...переживем! Переживем все, даст Бог, кончится!» Может быть, в таком роде оптимизма нет слишком большой определенности, может быть, надежда эта на лучший исход родилась не из твердого знания и предвидения — откуда бы им и взяться? — а скорее из интуитивного чувства, что должна же в конце концов правда восторжествовать над несправедливостью, но как отрадно, что не смял, не погубил лагерь в Шухове эту надежду.

Кроме труда, другая внутренняя опора Ивана Денисовича, помогающая ему жить и «утверждаться», это его отношения с людьми — соседями по вагонке, товарищами по бригаде. Едва ли не на каждой странице мы убеждаемся, что годы каторги не заставили Шухова озлобиться, ожесточиться, за что, случись даже так, трудно было бы его винить. Но в нем сохранились вопреки всему доброта, отзывчивость, сердечное, благожелательное отношение к людям, за которое ему в бригаде платят тем же. Разве не уважают его бригадир и кавторанг, разве не связан он крепким рабочим товариществом с Кильгасом и Сенькой Клевшиным, разве не «ластится» к нему привязчивый мальчонка Гопчик? «Этого Гопчика, плута», любит Иван Денисович, может быть, тем сильнее, что собственный его сын помер маленьким, две дочери дома остались, и теперь чувствует он временами в себе эту нерастраченную нежность отцовства.

А какую симпатию внушают Шухову два эстонца, оба белые и длинные, похожие друг на друга, как братья родные. Это о них думает он с таким добросердечием и наивностью: «Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов не видал — плохих людей

ему не попадалось». Педант поторопится оспорить эту мысль, но разве не важнее то, с какой стороны проявился здесь сам Шухов?

И так ко многим людям в бригаде, кроме, конечно, тех, кто мало этого заслуживает, испытывает Иван Денисович чувства уважения и товарищества.

Вообще говоря, после Шухова бригада — второй главный герой повести Солженицына. Бригада как нечто пестрое, шумное, разнородное, но в то же время и как одна большая с е м ь я. Это слово не нами выдумано, оно взято из повести. Когда в перерыв, сгрудившись у огня в обогревалке, примолкнувшие бригадники слушают рассказ Тюрина о своей жизни, Шухов думает: «Как семья большая. Она и есть семья, бригада». Эти люди могут казаться со стороны жестокими, грубыми, но они никогда не откажут в поддержке, товарищеской солидарности. И о какой «трагедии одиночества» может идти речь, когда даже свой труд, свое умение и мастерство, к признанию которого Иван Денисович относится ревниво, он ценит и как часть общего, артельного труда бригады. «Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А все ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается». Разве не слышна здесь гордость трудом именно как трудом о б щ и м, коллективным?

Конечно, важную роль играет тут материальная сторона дела: при общей оплате за труд возрастает и взаимозависимость («Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду?»). Но возникающее в бригаде чувство трудового товарищества не сводится только к этому. Ловчить для себя на общих работах никто, кроме разве «шакала» Фетюкова, не решится. Тут правит своего рода сознательная дисциплина с полным доверием друг к другу и к своему бригадиру. В 104-й ни ссор, ни вздору, ни препирательств — дружная, спорая работа. «Вот это оно и есть — бригада, — удовлетворенно замечает Шухов. — Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит работать». Шухов принимает как закон жизни эту трудовую солидарность и — пусть это выглядит еще одним парадоксом — стихийно рождающееся чувство коллективизма. В отношениях людей точно сами собой возникают черты и свойства, характерные для свободного социали-

стического общества, и все это вопиет против несправедливости и нелепости произвола, жертвой которого стали простые люди труда.

Но не только в работе, а в самых обычных нуждах и превратностях лагерной жизни закон товарищества позволяет зэку Щ-854 не чувствовать себя одиноким и беззащитным. Когда Татарин стаскивает его с нар и уводит мыть пол в надзирательской, Шухов ни минуты не сомневается в том, что, хоть он и не успел шепнуть, а товарищи приберегут ему завтрак, догадаются. Или потом, на объекте, когда, увлекшись работой, он опаздывает к воротам, а надо еще мастерок припрятать, и Шухов забегает в растворную, Сенька Клевшин ждет его у дверей, и Шухов благодарно думает: «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе».

Иван же Денисович в свою очередь не жалеет, что вторую миску каши, которую он «закосил» и которая принадлежит ему по праву, отдают кавторангу. И не жмется, когда эстонец Эйно делится с ним табачком, сам оставляет Сеньке Клевшину: «на, докури, мол, недобычник». Диву даешься, как, каким усилием души сохранилась в этих измученных людях живая человечность, желание поддержать друг друга — ведь крошка табака для Ивана Денисовича дороже золота.

А когда на последних страницах книги кавторанга уводят в БУР — сколько сердца, сколько неподдельного сочувствия проявляют к нему товарищи по несчастью. Бригадир Тюрин пытается отвести от него беду, хитря с надзирателем, Шухов волнуется за него, прислушиваясь к спорящим голосам у себя на вагонке, а Цезарь тайком сует Буйновскому сигареты. «Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь?»

И как смешно и неуместно выглядят после всего этого рассуждения критики о «трагедии одиночества» Ивана Денисовича; слишком явно, что речь в повести идет о другой трагедии — трагедии честных советских людей, ставших жертвами произвола и насилия.

В литературной критике есть разные способы выразить свое недовольство тем или иным героем, тем или иным произведением, точно так же, как в жизни есть разные манеры высказать свою неприязнь к человеку. Можно открыто осудить книгу, а можно с видом полного участия к ее замыслу попробовать развенчать близкого автору героя и тем самым опять-таки

поставить под сомнение истолкование писателем явлений жизни.

По поводу Ивана Денисовича в той части критики, которая отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно примериваясь, сожалел о горькой судьбе зэка и тут же спрашивал: но идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить «нет» и начинал сетовать на то, «до каких унижений опускается порой этот мастер — золотые руки ради лишней пайки хлеба, как въелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счете страшна его примиренная мысль, завершающая этот мучительный день...» (я цитирую одну из газетных рецензий). Такую вольную трактовку образа Шухова можно было бы еще раз оспорить, но нам важнее сейчас обратить внимание на другое.

А почему, собственно, Иван Денисович должен быть идеальным героем? Мы видим достоинство Солженицына как художника как раз в том, что у него нет псевдонароднического сентиментальничанья, насильственной идеализации даже тех лиц, которых он любит, трагедии которых сочувствует[1]. У Шухова при желании можно насчитать немало реальных, а не

---

[1] Рабочий Мелитопольского завода В. Иванов, письмом которого «Известия» (№ 306, 1963) открыли недавно обсуждение повести «Один день Ивана Денисовича» в связи с выдвижением ее на Ленинскую премию, прав, отмечая путаницу в суждениях о творчестве А. Солженицына некоторых критиков, в частности В. Чалмаева. Следует согласится, что в Шухове нелепо видеть «идеал народного героя». Сам писатель не претендовал на создание такого рода «идеала», хотя и показал в своем герое народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т. п.

Удивляет только, что, признавая повесть «произведением ярко художественным», «очень ценной книгой», В. Иванов в то же время сводит значение образа Шухова к некой документальной его правдивости. Ему кажется, что «обобщают и типизируют» образ Ивана Денисовича — и притом ложно — критики, а не сам его создатель. Но такого в литературе не бывает. Ни одному критику не удалось еще «типизировать» нетипичный образ. И хотя письмо В. Иванова оснащено литературоведческой терминологией, а также теоретическими определениями и оговорками, по тону скорее профессиональными, чем любительскими, он, борясь с критической путаницей, только усилил ее.

(Продолжение сноски см. на след. стр.)

выдуманных недостатков. Взять хотя бы то, как робко, по-крестьянски почтительно относится Иван Денисович ко всему, что представляет в его глазах «начальство», — нет ли тут черточки патриархального смирения? Можно, вероятно, найти у Шухова и иные несовершенства. Но недостатки Ивана Денисовича не таковы, чтобы переносить упор с его трагического положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину.

Тут пора внести одно уточнение. «Замечали ли вы, — писал в свое время Чернышевский, — какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему, — говорить в ином тоне было бы вам совестно». Другое дело, продолжал свою мысль Чернышевский, если страдающий человек сам может изменить свою судьбу, но не пользуется своими правами и возможностями — тогда не лишними будут укоризны ему.

Приняв этот критерий Чернышевского, что можем мы сказать о положении Ивана Денисовича? Если бы Шухов знал, в чем причина его трагедии, мог бороться со злом, сопротивляться беззаконию и не сделал этого — тогда счет к нему был бы, естественно, строже. Но что он мог знать, чему сопротивляться, с чем бороться?

Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван

(Окончание сноски со стр. 269)

Жаль также, что открытое письмо под броским залоговком «Не приукрашен ли герой?» лишь в малой мере посвящено самой книге Солженицына, а ведь на Ленинскую премию выдвинута именно повесть, а не критические статьи о ней. Правда, о выдвижении повести В. Иванов, как он сам сообщает, узнал лишь по экстренному звонку из редакции, когда уже закончил свое письмо. Но поспешность публикации и неудачный заголовок усугубили двойственный характер письма, так как создали ложное впечатление, что речь идет о недостатках повести Солженицына, а не о промахах ее толкователей.

Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилен любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла зэкам ни на минуту забывать, что они бесправны и единственный судия над ними — произвол. Им напоминала об этом плетка Волкового, который сек людей в БУРе, им напоминали об этом, лишая их отдыха в воскресенье и выгоняя на работу в неурочный час.

Попадая в лагерь и не зная со свежа всей меры произвола и собственной беззащитности перед ним, считая происшедшее с тобой лично недоразумением, ошибкой, люди могли, как кавторанг Буйновский, горячо возмущаться происходящим. Вместе с Иваном Денисовичем мы сочувствуем этому взрыву протеста кавторанга, ощутившего в себе оскорбленное достоинство советского гражданина. «Вы не советские люди! Вы не коммунисты!» — кричит Буйновский, в запале ссылаясь и на «права», и на девятую статью Уголовного кодекса, которая запрещает издевательство над заключенными. Но вместе с волной горячего сочувствия к этому чистому, идейному человеку приходит и острое чувство жалости.

При всем благородстве его порыва есть в нем что-то беспомощное. На Волкового выкрики кавторанга не производят впечатления, а сам Буйновский еще отсидит за это в БУРе. Тут даже не наказание горько, а полная бесцельность и бессмысленность протеста. Поэтому Иван Денисович и жалеет кавторанга как дитя малое, неразумное.

Солженицын не был бы Солженицыным с его жестокой реалистической правдой, если бы он не сказал нам о том, что кавторанг — этот властный, звонкий морской офицер — должен превратиться в малоподвижного, осмотрительного зэка, чтобы пережить двадцать пять лет отверстанного ему срока.

Неужели так? Как мучительно верить этому. Ах, как хотелось бы нам, чтобы он протестовал каждый день и каждый час, без устали обличая своих тюремщиков, не думал бы о холоде и о миске с кашей, сжался бы в один комок нервов — и все-таки продолжал борьбу.

Но есть ли в этом реальность? Не одно ли это благодушное пожелание?

Чтобы бороться, надо знать, во имя чего и с чем бороться. Сенька Клевшин знал, с кем он боролся в Бухенвальде, когда

готовил восстание в лагере против немцев, а что ему делать здесь, если администрация Особлага — и в этом трагический парадокс — представляет его же родную советскую власть? Как разобраться в этом клубке противоречий?

За восемь лет лагерей Шухов, как и его товарищи по несчастью, мог убедиться, что его судьба — не исключение, не случайная ошибка: рядом сидело множество безвинных людей — коммунистов, простых тружеников, людей, преданных советской власти. Попытки добиться восстановления справедливости, письма и прошения, которые посылались заключенными в высшие инстанции, вплоть до адресованных лично Сталину, смягчения участи никому не приносили, оставались без ответа. А домой из лагеря никто не возвращался даже после конца срока. Для всех заключенных рано или поздно становилось очевидным, что закон «выворотной», что справедливости не докличешься, сколько ни кричи, и что, стало быть, тут система репрессий, а не отдельные ошибки. Так возникал вопрос: кто же виноват во всем этом?

У иного мелькала дерзкая догадка о «батьке усатом», другой гнал от себя, наверное, эти крамольные мысли и не находил ответа. Не в том ли и была для Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья о т в е т а н е б ы л о. Были догадки, но догадки не вооружают — вооружает знание. И потому, когда утихала первая боль обиды и оскорблений, оставалось только неотступное чувство совершенной над ними несправедливости.

Критики, которые хотели видеть Шухова «пытливым» и «активным», упрекали его в том, что он мало говорит и думает о причинах своего положения. Но зачем ему после восьми лет заключения устраивать самому себе безысходную нравственную пытку? Что он знал, то знал твердо, а чего не знал, того, к нашей общей беде, и не мог знать.

Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Шухов и его товарищи осознали бы природу и последствия культа личности, сидя в лагере, и даже вступили бы с ним в борьбу. Но не выглядит ли это применительно к реальным условиям, о которых идет речь, самой беспочвенной утопией?

Вот почему упрекать Ивана Денисовича в том, что он не борется, не отстаивает свои права, что он «примирился» со своим положением зэка и не хочет думать о причинах своего несча-

стья, — значит проявить, говоря словами Чернышевского, «пошлую бесчувственность».

Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям и труду заложена такая жизнеутверждающая сила, которая не оставляет места опустошенности и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями поры культа личности.

4

Наше представление об Иване Денисовиче как народном характере было бы, пожалуй, неполным, если бы Солженицын показал нам только то, что сближает Шухова с его товарищами по несчастью, и не увидел в лагерной среде своих противоречий и контрастов. Я говорю сейчас не о том очевидном различии, какое существует между «шпионами деланными», которые лишь по делам «проходят как шпионы, а сами пленники просто», и настоящими шпионами вроде маленького «молдавана», получившего законное возмездие. Я не имею здесь в виду и тайной вражды заключенных со «стукачами», подобными некоему Пантелееву, которого оставляют днем под видом больного в бараке и который внушает Ивану Денисовичу настороженное и брезгливое чувство.

Сложнее и деликатнее вопрос о взаимосвязях, внутреннем соотношении фигуры Шухова и таких значительных в художественной концепции повести лиц, как Цезарь Маркович или кавторанг. Тут светотени возникают так органически и ненавязчиво, что надо получше вслушаться и вдуматься в рассказанное, чтобы верно истолковать замысел автора.

Соблазнительно легким решением было бы противопоставить Ивана Денисовича, как человека с небогатой душевной жизнью, людям интеллигентным, сознательным, живущим высшими интересами. Такому соблазну поддался в своей статье «Во имя будущего» («Московская правда», 8 декабря 1962 года) И. Чичеров. С сожалением отметив, что «Шухов многого не понимает», указав на «каратаевскую интонацию в раскрытии его духовного, и все же бедного, мира», критик дал писателю несколько советов, как ему улучшить свою повесть. «...Повесть

была бы еще сильнее, еще крупнее и значительнее, — писал И. Чичеров, — если бы в ней более подробно и глубоко был развернут образ-характер кавторанга Буйновского или «высокого старика». Может быть, этот старик и не был коммунистом. Но он был интеллигентом». И, перейдя от добрых советов к квалификации промахов автора, критик заявил без обиняков: «Существенным недостатком повести, на мой взгляд, является то, что в ней не раскрыта эта интеллектуальная и моральная трагедия людей остро думающих, и не только о том, что стряслась «беда», а и о том, как и почему все это произошло?!»

Не думаю, чтобы И. Чичеров всерьез рассчитывал на то, что Солженицын возьмется дополнять и поправлять повесть согласно его конструктивным предложениям. Эти советы и нарекания надо рассматривать скорее как риторическую фигуру, своеобразный прием критической укоризны, который все еще никак не выйдет из употребления, несмотря на давнее предостережение Добролюбова: «Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нем есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нем нет и что бы должно было в нем находиться». Жаль, что слова эти редко вспоминают. Не вспомнились они критику и на этот раз. Представляет, однако, интерес, что рассуждая о том, как надо было Солженицыну написать повесть, И. Чичеров ясно выразил свое понимание ее конфликта, противопоставив Шухова людям «остро думающим».

Чтобы у нас не оставалось никаких сомнений в том, что именно не понравилось ему у Солженицына, критик объяснил: «Беспокоит меня в повести и отношение простого люда, всех этих лагерных работяг к тем интеллигентам, которые все еще переживают и все еще продолжают, даже в лагере, спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде, о кино и литературе и о новом спектакле Ю. Завадского... Порой чувствуется и авторское ироническое, а иногда и презрительное отношение к таким людям».

Итак, с одной стороны, «простой люд», «лагерные работяги», с другой — «переживающие» интеллигенты; с одной стороны, надо понимать, Тюрин, Шухов, Клевшин, с другой — кавторанг, Цезарь Маркович, «высокий старик».

Есть в таком подходе к делу что-то от старого и пошлого предрассудка, согласно которому «простые люди» — люди труда — и думают и чувствуют беднее, чем мы сами, рассуждающие о них с таким уверенным чувством превосходства. Вряд ли

сам И. Чичеров, додумав свою мысль до конца, стал бы на ней настаивать. Более того, я думаю, что в применении к Солженицыну решительно непригодна сама попытка искать противопоставление в плоскости «народ — интеллигенция» и видеть в Иване Денисовиче героя «от сохи», суждения которого придают, так сказать, «антиинтеллигентский» оттенок повести.

Взгляд на вещи у Солженицына не просто другой, но в принципе отличный от этого, возникающий на иной глубине понимания явлений жизни, исходящий из другой системы измерения, чем та, какой пользовался критик. Для Солженицына не существует деления на «простой люд» и «интеллигентов», в лагере он видит более общее и важное различие — людей трудовых и людей, сознательно или бессознательно паразитирующих на чужом труде. Ту же мысль можно выразить и на более привычном для Ивана Денисовича лагерном жаргоне: речь идет, условно говоря, о работягах, «вкалывающих» на о б щ и х работах, и о п р и д у р к а х.

О работягах, изображенных Солженицыным, мы говорили как будто достаточно. Но несправедливо мало внимания уделили до сих пор придуркам. А между тем эта часть заключенных и сама по себе сильно занимает автора повести, и позволяет бросить как бы дополнительный свет на фигуру Ивана Денисовича.

Мы помним, что Шухова на все лады упрекали в «приспособлении» к горестным обстоятельствам. Но критики почти не обратили внимания на манеру приспособления придурков, выделяющихся из «серой массы» работяг и становящихся своего рода аристократией лагеря.

Таким «аристократом» среди зэков был дневальный по штабному бараку, за которого Ивану Денисовичу с утра пришлось мыть пол. Этот придурок имел доступ в кабинет майора и начальника режима, услуживал им «и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко».

В людях, презирающих общий труд и выбирающих любой ценной долю полегче, развивается самоуверенное и хамоватое лакейство. Получая высокую пайку, ухитряясь жить в сносных условиях даже в лагере, придурки чувствуют за собой право третировать работяг как людей второго сорта.

Вот гвоздем торчит за спиной кладущего стену Шухова десятник Дэр, который на воле в министерстве работал и здесь

«дозорщиком» устроился. Этот бездельник горазд советы давать и покрикивать на каменщиков, а когда сам стал однажды показывать, как кирпичи класть, «так Шухов обхохотался». В таких же «наблюдателях», как окрестил их Иван Денисович, ходит другой придурок — Шкуропатенко. От него тоже добра не жди. И мало чем лучше их те, кто услугами и подношениями начальству добился теплого местечка внутри лагеря, пристроился на кухне, в конторе или на складе.

Вспомним хотя бы, как в посылочную, куда изо всех сил поспешал по поручению Цезаря Иван Денисович, зашли, никого не спросясь, оттолкнув переднего в очереди, парикмахер, бухгалтер и один из КВЧ. Тут в обычно ровном, беззлобном тоне рассказа прорываются нотки ненависти: «Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у п р и д у р н и меж собой спайка и с надзирателями тоже». Слова эти звучат резко и непримиримо. Они естественны в устах раздосадованного, обиженного Ивана Денисовича.

Это не значит, конечно, что автор не допускает, чтобы среди «придурков» — в конторе или на кухне — начисто не встречались достойные люди, которым просто-напросто в какую-то минуту повезло или помогла их прошлая профессия, как, например, художникам, которых подряжали обновлять зэкам номера и писать надзирателям картины. Да и в санчасти, бывало, работали самоотверженные врачи и фельдшеры, которые спасали людей, бескорыстно помогали заключенным и которых язык не повернется назвать «придурками». Точно так же не значит, что всякий вышедший на общие работы — уже тем самым хороший трудовой человек. «Шакал» Фетюков и в бригаде «придуривается», стара́ется прожить на чужой счет. Прежде Фетюков в какой-то конторе большим начальником был, на машине ездил, а теперь он — одна обуза для 104-й. Ставит его бригадир носилки с раствором подносить — на это ума вроде не надо. Но Фетюков и тут ловчит, носилки тихонько наклоняет, раствор выхлюпывает, чтобы легче нести.

Все это так, и, однако, не только различия в объективном положении, но в самих внутренних побуждениях, моральных стимулах людей делают достаточно четкой границу, отделяющую «работяг» от «придурков».

С этой точки зрения полезно взглянуть и на Цезаря Мар-

ковича, за которого как будто слегка обиделся И. Чичеров. В самом деле, мягкий, интеллигентный человек, кинорежиссер, трубку курит, рассуждает об Эйзенштейне — к чему тут ирония? Справедливость требует заметить, что автор не говорит о Цезаре лично ничего худого, есть даже что-то располагающее в этом вежливом, незлобивом человеке, так занятом воспоминаниями и интересами своей прежней профессии. Жаль, конечно, его, как жаль и других безвинно пострадавших, оторванных от дома, от любимого дела.

Но есть одно, чего не обойдешь. Только что все шли в одной колонне, равные друг другу, и Цезарь угощал Шухова недокурком от сигареты, но вот показались ворота зоны, а потом и сам объект, и Цезарь отделяется от общего строя, не спеша идет к конторе. Можно рассудить и так: кому какая судьба, ведь он человек образованный, интеллигентный. Но кавторанг тоже человек образованный, а работает с бригадой на объекте, таскает носилки, «как мерин добрый», и на судьбу не жалуется, хоть валится от усталости к концу дня.

Причина столь приятных привилегий Цезаря проста. Два раза в месяц он получает из дому богатые посылки, «всем сунул, кому надо», получил освобождение от общих работ, устроился помощником нормировщика в контору. Иван Денисович не слишком осуждает за это Цезаря, хотя сам он, как помним, «давать на лапу» не умел и в лагере не научился. Великодушно относясь к людским слабостям, Шухов не может винить Цезаря и за то, что «подмазав» кому-то, тот получил право носить меховую шапку. В этой меховой шапке, с трубкой во рту Цезарь выглядит, должно быть, совсем не по-лагерному импозантно. И хоть ничего противоестественного нет в том, что люди цепляются за всякую возможность, чтобы облегчить свою участь, но Шухову как-то ближе кавторанг, который работает с ним «на общих», и мы тоже чувствуем за Буйновским это преимущество непререкаемой нравственной силы.

Изящный эстетизм Цезаря, его интеллигентные манеры, то, как он курит трубку, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», — все это находится в резком противоречии с низкой прозой тех усилий, какими добываются в лагере относительное благополучие и покой, дающие выход приятным воспоминаниям и милым сердцу разговорам.

Цезарь как должное принимает услуги Шухова, за которые иной раз по неписаному условию отблагодарит его своей

пайкой. Во время обеда Иван Денисович спешит с миской в контору. «Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере», — как бы между прочим замечает автор. А едва вернувшись с работ в лагерь, Шухов несется занимать Цезарю очередь в посылочной, сам же Цезарь, «себя не роняя, размеренно» идет в другую сторону, чтобы сменить Ивана Денисовича, когда дело приблизится к выдаче.

Цезарь Маркович смотрит на Шухова несколько по-барски, замечает его существование только тогда, когда он оказывается для чего-то нужен ему. Духовная жизнь Ивана Денисовича его вовсе не интересует по ее видимой примитивности. То, что Шухов не способен обсуждать с ним мастерство монтажных стыков или крупный план у Эйзенштейна, уже ставит его в глазах Цезаря неизмеримо ниже того круга людей, с которыми молодой кинорежиссер привык считаться, — людей интеллигентных, или, говоря словами наших критиков, «остро думающих», «осведомленных». Повстречай он Ивана Денисовича на свободе — и ему не о чем будет сказать с ним двух слов.

Цезарь искренне увлечен кинематографом, но в том, как он говорит о своем кумире Эйзенштейне, в самом способе разговора есть что-то от слишком знакомых, ходовых мнений, с принудительностью моды господствующих по временам в узком кружке людей, связанных с искусством, где иные имена звучат заклинанием и паролем. И. Чичеров заступился перед Солженицыным за тех интеллигентов, которые «все еще продолжают в лагере спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде...» О Мейерхольде в повести не сказано ни слова, но психологически понятно, почему он мог залететь здесь к Чичерову: Мейерхольд так Мейерхольд — не все ли равно, если это лишь знак особо утонченных духовных интересов, своего рода свидетельство об интеллигентности.

В искусстве Цезаря больше всего интересует, *как* это сделано, он привык дорожить формой, приемом, самой атмосферой творчества. Цель искусства, то, пробуждает ли оно в людях добрые чувства, кажется ему делом второстепенным. В этом суть его спора с жилистым стариком каторжанином в конторе. Развалившись у стола и покуривая трубку, Цезарь благодушествует.

«— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гени-

ален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку у рта задержа, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании».

Спор разгорается сильнее, и старик, возмущенный ссылкой Цезаря на то, что иной трактовки «не пропустили бы», гневно возражает: «Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Почти в каждой статье о повести Солженицына приведена эта действительно замечательная сцена, где старик каторжанин, побивая слабые аргументы Цезаря, произносит слова, исполненные высокого гражданского достоинства. Но мало кто из критиков заметил присутствие в этой сцене третьего лица — молчаливо стоящего с миской в руках, принесенной в контору, Ивана Денисовича. Шухов терпеливо ждет, потом откашливается, желая обратить на себя внимание, и наконец Цезарь замечает его. Но как замечает!

«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, — и за свое:

— Но слушайте, искусство, — это не *что*, а *как*».

Способ, каким Цезарь принимает от Шухова кашу, пожалуй, больше развенчивает его, чем поражение в споре об искусстве.

Шухов не торопится уходить из уютной конторы, где так приятно стоять у раскаленной докрасна печки, он еще надеется, что Цезарь угостит его куревом. «Но Цезарь, — говорит Солженицын, — совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной. И Шухов, поворотясь, ушел тихо». Становится горько-горько за Ивана Денисовича после этих слов, и возникает невольная неприязнь к такому вежливому и симпатичному Цезарю Марковичу. Он может еще позволить себе роскошь поспорить вволю о пляске опричников с личиной, а Шухову пора на объект, к своим.

Я не сомневаюсь в законности тех интересов, которые занимают Цезаря. Я мог бы даже посочувствовать его одержимости мастерством Эйзенштейна, как всякому живому человеческому пристрастию. Но я признаю большую, так сказать, существенность за тем, что волнует Ивана Денисовича, что составляет его заботы. Как не подумать о том, что Цезарю Мар-

ковичу не пришлось бы рассуждать в конторе, в тепле, за миской с кашей, которую принес ему Шухов, о сцене в соборе, если бы целый день в здании ТЭЦ не работала бы бригада, проценты выработки которой он, по счастливому своему положению, определен подсчитывать.

В Цезаре нет хищного своекорыстия, его наивный эгоизм чаще всего вызывает у нас улыбку, чем досаду и негодование. Но ища себе долю полегче, Цезарь приобрел своего рода глухоту к тому, что волнует окружающих его людей. Попытка остаться в кругу привычных «московских» интересов есть способ самозащиты против тяжких впечатлений лагеря. Но эти же разговоры об Эйзенштейне, о кино как бы отстраняют его от таких людей, как Шухов, изолируют от них и лишают ответственности перед ними. «Высшие» интересы искусства не сопрягаются с «низшими», прозаическими интересами жизни, которыми поневоле заняты Иван Денисович и его товарищи. И если Шухов твердо верит в то, что жизнь не есть озорство, то этой веры не хватает, похоже, Цезарю Марковичу, как не хватало ее «к р а с и л я м», основавшим новый «веселый» промысел в родной деревне Ивана Денисовича.

В самом главном, в отношении к жизни и к труду, что-то неожиданно сближает утонченного Цезаря Марковича с красилями из деревни Темгенёво. И точно так же вопреки ожиданию у интеллигентного, идейного человека Буйновского находится больше общего с Иваном Денисовичем, чем с Цезарем, несмотря на то, что тот в бригаде «одного кавторанга и придерживается», видя лишь в нем достойную себе компанию. Одно это начисто отвергает мысль о каком-либо противопоставлении народа и интеллигенции у Солженицына. Принцип деления тут другой.

Кавторанг не «придуривается», не ищет, как обойти беду легче, миновать жребий работяг. И хоть туго приходится ему без привычки к физической работе, он безропотно выполняет приходящуюся на его долю часть общего труда бригады. «Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет» — одно это вызывает у Ивана Денисовича молчаливое уважение к нему и чувство внутреннего родства, какого он не может испытывать к Цезарю.

И чтобы у нас не оставалось сомнений в том, чем и как различны между собою Цезарь и кавторанг, Солженицын сводит их вместе на вахте перед возвращением домой после долгого

трудового дня. «И Цезарь тут, от конторских к своим подошел. Огнем красным из трубки на себя попыхивает, усы его черные обындевели, спрашивает:

— Ну как, капитан, дела?

Гретому мерзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Наработался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закурить догадайся дать».

Цезарь догадывается, дает капитану закурить и начинает отводить с ним душу в любимом разговоре.

«Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — Кавторанг табачок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да... Но морская жизнь там немножко кукольная.

— Видите ли, мы избалованы современной техникой съемки...

— И черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

— Но более мелких средствами кино не покажешь!

— Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя в котел бы ухнули так мы бы...»

Один критик увидел в этом разговоре некий нравственный урон для кавторанга, которого автор якобы уравнял в самом образе мыслей с «шакалом» Фетюковым, заставив говорить о сомнительном мясе так, как будто и он не отказался бы его отведать. Подробность в самом деле не слишком эстетичная. Но нельзя сказать, что она не у места. Автор резко спустил Цезаря с небес на землю, разбил условно-эстетическое восприятие им мира, иронически соотнеся пусть самый удачный кинематографический прием с неподдельной и грубой реальностью. Способ не новый, много раз с успехом служивший Толстому, но и здесь оказавшийся кстати. Прислушиваясь к разговору Цезаря и кавторанга, мы чувствуем особенно остро различие их положения: один из собеседников только что вернулся из жарко натопленной конторы в созерцательно-благодушном настроении, другой же отработал целый день на жестоком морозе и, естественно, несколько грубее и проще смотрит на жизнь.

С Иваном Денисовичем Цезарь не станет говорить об Эй-

зенштейне, о котором тот, наверное, даже и не слыхал. Но кавторанг, которого Цезарь по образованности и кругу интересов считает ровней себе, выражает тот взгляд на вещи, который, без сомнения, должен был бы одобрить и разделить Шухов. Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всем, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, самое ее восприятие.

Иное дело кавторанг или тот высокий молчаливый старик, которого с уважением рассматривает Шухов за ужином. Старик этот был интеллигентом, по догадке И. Чичерова, и, должно быть, крепко воевал за справедливость, потому что сидел он по лагерям да по тюрьмам несчетно и ни одна амнистия его не коснулась. Но достоинства своего не утратил, себя не потерял. «Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком».

Отношение Шухова к придуркам, точно так же как его недоумение по поводу легкого промысла красилей, имеет в своей основе народное отношение к труду и к моральному долгу совместно работающих людей друг перед другом.

Обо всем этом стоит говорить подробнее, потому что, как ни удивительно, «придурки» тоже не остались в литературе без защиты и покровительства. В повести Б. Дьякова «Пережитое» («Звезда», № 3, 1963), написанной, видимо, не без влияния Солженицына и с внешним усвоением некоторых его интонаций, по одному вопросу — вопросу о «придурках» — идет нескрываемая полемика с «Иваном Денисовичем».

Героя повести Б. Дьякова, собравшегося в первый день своего лагерного срока выйти на общие работы, урезонивает более опытный инженер. Он дружески советует ему поскорее устроиться руководителем художественной самодеятельности при лагере, чтобы избежать общих работ. Инженер предупреждает новичка, что в лагере сидят не только жертвы беззакония, но и «настоящие мерзавцы», с ними-то и предстоит борьба. Сам же лагерный режим может показаться не слишком тяжелым, если вести себя умело: «В шахматы играете? Очень хорошо! Тогда вам известно: иной раз кажется — мат неизбежен,

но... напряжение мысли, расчет, ход конем или рокировка, или пешку в ферзи и — жизнь выиграна!.. Вы, разумеется, понимаете аллегории?»

Эти аллегории понимают все. Но Шухова почему-то невозможно представить делающим «ход конем». И Тюрина. И кавторанга. Вспомним, что о своей болезни Шухов говорит в санчасти «совестливо, как будто зарясь на что чужое», и присаживается с градусником под мышкой на самый край лавки, «невольно показывая, что санчасть ему чужая». Герой же Б. Дьякова — мы не осуждаем его за это, а лишь констатируем — сначала лечит в лагерной больнице свою застарелую грыжу, потом устраивается библиотекарем, затем, инсценирует роман для художественной самодеятельности и организовывает подписку на заем среди заключенных. Словом, заботы эти иного сорта, чем те, что волновали Ивана Денисовича.

Что ж, разные, вероятно, были лагери, разные люди в них сидели, и по-разному переживалось происходившее. Но вот прямое рассуждение, вложенное Б. Дьяковым в уста одного из героев повести: «Придурками в лагере называют тех заключенных, которые выполняют хозяйственные или канцелярские работы. Правда, есть зэки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно! Конечно, попадаются и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключенный п р и дураке начальнике».

Наконец-то слово найдено, и сомнению не остается места. Придурок — умный заключенный, устроившийся при дураке начальнике, — должен чувствовать свое несомненное превосходство и над теми дураками работягами, которые на ледяном ветру, в мороз тяжелым трудом зарабатывают свою скудную пайку. Его душу не только не будет царапать совесть, но он испытает прямо-таки самодовольство при мысли, что придумал ловкий «ход конем», а какой-нибудь Шухов никогда до этого не додумается, так и будет таскаться на работу с бригадой — бедолага. Шкуропатенко, Дэр, разъевшийся завстоловой, я не говорю уж о нашем безобидном и добродушном Цезаре Марковиче, — все они будут выглядеть в таком случае «умными заключенными» при дураках начальниках, а Тюрин, Клевшин, кавторанг — недалекими зэками, которым поделом, что они трудятся «на общих», если приспособиться половчее ума не хватило. Но думать так можно, лишь вовсе не предполагая в человеке других интересов, кроме шкурных, и других побужде-

ний, кроме тех, что подсказывает инстинкт самосохранения, какими бы высокими соображениями это ни маскировалось.

У Ивана Денисовича и у кавторанга, у Тюрина и у Клевшина иное отношение к людям и к труду, отношение, которое мы вправе назвать народным вне зависимости от того, принадлежат ли эти люди к «народу» или к «интеллигенции» в старом понимании слова. Это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них, внутренняя, стойкая, которая особенно дорога Солженицыну и которая сообщает его книге тон мужественного оптимизма.

Солженицыну близки заветы русской литературы прошлого века — народность Некрасова и Щедрина, Толстого и Чехова. Но тот взгляд на народ, какой выражен в его повести, характерен именно для советского писателя и, больше того, для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменованные важными переменами в нашей жизни.

В различных областях духовной деятельности, в том числе в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжелый и серьезный труд сенокоса и свой прибыльный и легкий промысел красилей, работающих по модному трафарету. Отношение к труду может объективно сближать и разделять людей, независимо от того, колхозники они или интеллигенты, Шуховы или кавторанги. И Солженицын с новым правом мог бы повторить замечательные слова Чехова: «Все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Народному отношению к труду противостоит еще ныне мещанское желание прожить полегче, устроиться поприбыльнее, поживиться на чужой счет. Но в каких бы формах ни проявляло себя мещанство — в грубо корыстных или возвышенно интеллектуальных, в раболепно смиренных или начальственно повелительных, — мы всегда в конечном счете распознаем его по отношению к труду и трудовым людям. Значение повести Солженицына в том, в частности, и состоит, что она помогает ясно понять это.

Разоблачая беззакония, ставшие возможными при Сталине и противоположные всей природе социалистического общества, повесть «Один день Ивана Денисовича» отвергает и то отношение к народу, на котором основывалась идеология культа личности. Сталин отгораживался от народа государственными карательными органами и хотя в своих речах часто поминал и хвалил народ, сам относился к трудовым людям с плохо скры-

тым презрением. «Сталин не верил в массы, — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 года Н. С. Хрущев. — Он состоял членом рабочей партии, но не уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суется!» Слово «народ» превращалось в устах Сталина в пустую абстракцию. Словно бы все вместе — были народ, а каждый в отдельности уже не имел к народу отношения.

Восстанавливая социалистическую законность, ленинские нормы общественной жизни, партия придала новую значительность и такому понятию, как «народность». С этой точки зрения появление в литературе повести Солженицына было заметным событием. «Такие произведения, — сказал об «Одном дне Ивана Денисовича» Л. Ф. Ильичев, — воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает».

Солженицын написал эту повесть, потому что не мог ее не написать. Он писал ее так, как исполняют долг — без всяких уступок неправде, с полной открытостью и прямотой. И потому его книга, при всей жестокости ее темы, стала партийной книгой, воюющей за идеалы народа и революции.

Нас могут спросить: а где же анализ мастерства автора, формы произведения? В самом деле, мы не говорили отдельно, как это обычно принято, о «художественных особенностях» повести, но убеждены, что мы все время говорили о них, едва лишь заходила речь об Иване Денисовиче, Цезаре, кавторанге, о самой атмосфере «счастливого дня» или о сцене работы на ТЭЦ, потому что искусство Солженицына — это не то, что выглядит как эффектное внешнее украшение, пристегнутое где-то сбоку к идее и содержанию. Нет, это как раз то, что составляет плоть и кровь произведения, его душу. Неискушенному читателю может показаться, что перед ним кусок жизни, выхваченный прямо из недр ее и оставленный как он есть — живой, трепещущий, с рваными краями, сукровицей. Но такова лишь художественная иллюзия, которая сама по себе есть результат высокого мастерства, умения художника видеть людей живыми, говорить о них незахватанными, точно впервые рожденными на свет словами и так, чтобы у нас была уверенность — иначе сказать, иначе написать было нельзя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» прожила в нашей литературе всего год и вызвала столько споров, оценок, толко-

ваний, сколько не вызывала за последние несколько лет ни одна книга. Но ей не грозит судьба сенсационных однодневок, о которых поспорят и забудут. Нет, чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь.

А. СОЛЖЕНИЦЫН И ДУХОВНАЯ МИССИЯ ПИСАТЕЛЯ

Д. БЛАГОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Прошел год с того исторического события, когда три русских человека — А. И. Солженицын, Н. С. Хрущев и А. Т. Твардовский (высокий поэт, высокий начальник и тот, кто их свел — наполовину поэт, наполовину начальство) запустили в небо своей родины, выражаясь по-современному, духовный спутник, именуемый «Один день Ивана Денисовича». Этот спутник относится к типу «вечных»: он запущен в такие высокие слои духовной атмосферы, что не упадет на землю и не сгорит. Хотя некоторые его вовсе не видят, но за год своего существования он, как говорят бюрократы, «проделал большую работу». Он изменил самую атмосферу вокруг себя, этот славный работяга из концлагеря, неутомимо мерцающий в звездной вышине.

Об этом спутнике рассказывает здесь благодарный читатель-дилетант, поскольку специалисты-писатели, литературоведы и прочее начальство набрали в рот грязной воды, не дающей им говорить.

Осень 1963 года

Эта статья перепечатывается из №№ 64 и 65 (1967 г.) журнала «Грани», редакция которого снабдила ее следующим примечанием: «Публикуемая статья «А. Солженицын и духовная миссия писателя» Д. Благова (псевдоним) получена нами из России. Отдельные историософские, литературные и духовно-религиозные оценки и суждения автора представляются нам спорными. Однако эта статья является одновременно документом горячего сердца и отражает эпоху переоценок и поисков современной России. — Р е д.»

1. КРУГ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА К СВОБОДЕ

В далеком прошлом, когда человек не обладал еще физическим телом в современном смысле, то есть телом, включающим в себя твердые минеральные вещества, он жил как бы целиком в духовном мире, воспринимая и непосредственно созерцая этот мир, духовные существа, населяющие его, и события, которые там совершаются. Это созерцание определяется современной духовной наукой как древнее сумеречное, сновидческое ясновидение. Сумеречное потому, что человек не только не обладал мышлением и способностью познания, сколько-нибудь подобными соответствующим его способностям в настоящее время, но даже не обладал ощущением личности, своего «Я». Он находился как бы внутри духовного мира, составлял его часть, пассивно созерцая или отражая его. Это и есть состояние прачеловека, которое Библия называет раем.

Духовные органы человека не были замкнуты в себе, а открыты наружу, в духовный мир, в ясновидческом безличном сознании, подобном ясновидению. В могучих образах вставали перед ним действующие позади физического бытия силы и существа — боги.

Затем наступает событие, описываемое Библией как «Изгнание из рая» (грехопадение, первородный грех). Это одно из важнейших событий во всем космическом развитии, подробно освещенное духовной наукой, состоит в том, что человек, подчиняясь определенному импульсу извне, связанному с миссией человеческого рода, начал удаляться от духовного мира, как бы покинул духовную родину и стал погружаться в чувственный материальный мир (одновременно с «уплотнением» вокруг него самих материальных субстанций). Способность непосредственного, как бы бессознательного ясновидения стала ослабевать, духовный мир стал все больше и больше закрываться, а человеческая личность — замыкаться. Но зато у человека начала развиваться способность логического мышления и познания окружающего физического мира, стала появляться самостоятельность, личность, «Я» и наконец свобода. Появилась и развилась рассудочная, «внешняя», наука и техника.

Этот долгий и тяжелый путь развития человека к свободе, изобилующий великими достижениями и страшными катастрофами (не только внутри человека и человечества, но и в окружающем физическом мире), должен привести к возвращению

человечества в духовный мир собственными силами каждого отдельного человека как свободной личности, обладающей ясным мышлением, развитым «Я» и совершенными нравственными и волевыми качествами. Этот человек не будет пассивно созерцать духовный мир, а войдет туда с ясным, «дневным» сознанием, развитым современной материальной наукой и логическим мышлением, войдет как власть имущий над видимыми и многими невидимыми ныне силами.

Но здесь наступает кризис. В самом деле, ведь и в механическом движении всякий поворот чреват тем, что некоторые тела «сваливаются под откос», то есть, сбрасываются центробежной силой с заданной траектории и удаляются от неё, уходя по касательной, то есть *в старом направлении*, с которого по какой-либо причине не могут сойти, другие тела благополучно выполняют поворот. И из элементарного внешнего исторического опыта также известно, что поворотные эпохи всегда чреваты резким разделением людей на передовые и реакционные лагери, катастрофами, истребительной борьбой наций, классов, религий, творческими подвигами одних людей и необычным размахом преступлений других. И о грандиозности современного поворота человечества можно хотя бы внешне судить по невиданной глубине расслоения людей (которое стало уже явственно проступать на их лицах), по размерам социальных, идейных и духовных сдвигов в наше время — в XX веке: чудовищное развитие частной собственности, капитализма, эксплуатации пота и крови сотен миллионов людей, общемировой взрыв национальных и классовых освободительных движений, небывалый подъем внешней, материалистической науки, техники и материального уровня жизни, и одновременно — духовное одичание громадной части населения цивилизованных наций, невиданные размеры истребления людей, вплоть до целых народностей на полях сражений, а также в концентрационных лагерях — этом новом «собственном» достижении XX века наряду с термоядерной бомбой и джазом; случаи массового самопожертвования одних людей (например, революционеров) ради блага других и массовые насилия, тирания над людьми — причем зачастую то и другое со стороны одних и тех же лиц. Это последнее явление — одно из самых важных и характерных в нашу эпоху — тесно связано с тайной истребления революционеров в сталинских концлагерях, над разгадкой которой трагически-беспомощно бьются современные люди, ограничившие себя формаль-

ным, «научным» мышлением в пределах чувственного мира и категорий внешних причин и следствий.

Дело доходит до того, что люди, являющиеся, по-видимому, «умными, образованными и беспристрастными», приписывают весь этот исторический катаклизм... глупости и трусости одного человека: Сталина!

Океаны лжи и ханжества затопили все области общественной, политической, семейной, научной, художественной жизни людей. Даже тюрьмы и концлагери устраиваются обязательно во имя высоких идей. Современная печать — это грандиозный трест производства правдоподобной лжи.

Чтобы как-то представить себе размеры и последствия указанных событий, следует хотя бы учесть, что ведь наряду с миллионами физически убитых и замученных людей, имеется, скажем, такое же количество убийц и палачей, то есть людей душевно-духовно искалеченных и погибших, заражающих (при жизни и после смерти) продуктами своего разложения духовный мир нашей планеты.

Но позади этой страшной диверсии сил зла, лжи и смерти уже закалились, подготовлены и стучатся в двери благие духовные силы и помощники человечества, готовые вести его вперед к свободе. Они повернули уже мощный духовный прожектор, освещающий для всех желающих путь восхождения. Этот прожектор — новорожденная *духовная наука.*

Такова примитивная схема пути развития человечества на планете Земле, если вообще позволено говорить об этом схематически.

2. МИССИЯ ИСКУССТВА

Итак, в течение нескольких последних тысячелетий человечество удаляется от духовного мира, от непосредственного его ясновидения, от непосредственных его откровений. Но человек не должен терять связи с духовной родиной, ибо в противном случае невозможно было бы возвращение в нее. Эта связывающая «ариаднина» нить и дана человеку высшими духовными властями в виде *искусства,* художественной *фантазии. Миссия искусства — давать откровения духовного мира, когда непосредственные откровения стали невозможны.*

Удаляясь от духовного мира, погружаясь в чувственный

мир и в свое развивающееся «Я», человек берет с собой в дорогу фантазию и сам, своим «Я», создает из неё снова духовный мир — новый, богочеловеческий. То, что больше не может видеть ясновидческое сознание, творит человеческая фантазия как бы в теневом отражении. Действительно, крупнейшие художники сами ощущали свое творчество как откровение духовного мира, вдохновение, а свои творения — как вести из того мира.

Искусство истекло из духовного мира и втекает снова туда же в перспективе будущего. Отсюда становится прежде всего понятным тот факт, что искусство всегда как бы нисходило вместе с человечеством все ниже — и по содержанию своему, спускаясь с божественной тематики к реализму человеческих будней, и по доступности его все более широким слоям человечества, то есть по его демократизации. Так, в Средние века происходит постепенное отпочкование от духовного искусства самостоятельного светского европейского искусства.

И как бы низко ни спускался человек в чувственный мир, нить искусства прядется им все дальше и дальше и не должна выскальзывать из его рук.

Одно лишь внешне-научное развитие дает человеку только рассудочное и притом безличное, чисто материальное, объективное, скелетообразное понимание мира. Ослабление художественной фантазии и восприятия искусства является бедствием, особенно для ученого, то есть человека, у которого как раз сильно развиты внешне-познавательные способности и логическое мышление.

Духовно-научный опыт показывает, что когда человек оказывается вынужденным отвернуться, отказаться вообще от невидимого духовного мира, в частности, от искусства, отрицать его, то это приводит всегда к ослаблению всей его жизни, отчаянию, даже к душевной смерти. Иссякает внутренняя сила человека, и вся сила жизни должна притекать извне, если ему вообще суждено обладать ею. Он воспринимает тогда вещи, существа и события, которые доходят до его внешних чувств, расчленяет их своим рассудком. Они доставляют ему радость и горе; они побуждают его к поступкам, на которые он способен. Так может он продолжать некоторое время, но все же когда-нибудь дойдет до такой точки, когда он внутренне умрет. Ибо то, что человек может таким образом впитать в себя из мира, истощается. От этого истощения предохраняет то скрытое, что

покоится в глубине вещей, например, их духовные прообразы и ритмы, которые просвечивают через искусство. Когда в человеке отмирает сила опускаться в эти глубины, чтобы черпать из них все новую жизненную силу, то под конец и внешняя сторона вещей оказывается уже не в состоянии поддерживать жизнь.*)

Большой интерес представляет свидетельство Ч. Дарвина о себе самом. В своей «Автобиографии» он пишет, что приблизительно до 38 лет или позже ему доставляла большое удовольствие «всякого рода поэзия», например, произведения Мильтона, Грея, Байрона и др. Еще в школьные годы «с огромным наслаждением читал Шекспира», находил «наслаждение в живописи и еще больше — в музыке».

«Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочитать ни одной стихотворной строчки. Недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, до отвращения скучным. Я почти потерял вкус к живописи и к музыке... музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю».

Последствия этого таковы:

«Кажется, мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов и общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно было привести к атрофии одной части моего мозга, от которой зависят высшие вкусы. Полагаю, что человека с умом более высокоорганизованным или лучше устроенным, чем мой ум, такая беда не постигла бы, и, может быть, если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки по крайней мере раз в неделю... Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья

---

*) С этой духовно-научной точки зрения является ошибочным утверждение Гегеля, что искусство отжило свое время, что «дух миновал уже ступень эстетического, и подлинный расцвет искусства уже никогда не наступит... Искусство теперь уже перестало доставлять то удовлетворение духовных потребностей, которое искали в нем прежние эпохи и народы... Мысль и размышление обогнали изящные искусства... Искусство... есть и остается для нас чем-то отошедшим в прошлое»... («Лекции по эстетике». Введение). — Д. Б.

и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».

Эти замечания Дарвина безусловно верны. В частности, из следующих его откровенных слов видно, что́ произошло с его собственными вкусами и умственными способностями:

«...Романы, которые являются плодом фантазии, хотя и фантазии не очень высокого порядка, в течение многих лет служат мне чудесным источником успокоения и удовольствия, и я часто благословляю всех романистов... Все романы... нравятся мне, если они более или менее хороши и имеют счастливую развязку. Нужно было бы издать закон, запрещающий романы с печальным концом. На мой вкус ни один роман нельзя считать первоклассным, если в нем нет хотя бы одного героя, которого можно по-настоящему полюбить, а если этот герой — хорошенькая женщина, то тем лучше».

Эта тенденция Дарвина регламентировать роман, между прочим, несколько напоминает «указующие» полицейские статьи нашей «Литературки».

Как видим, Дарвин — любопытный пример человека, так сказать, «свалившегося под откос» уже в зрелом возрасте — «на полпути земного бытия», — говоря языком Данте. Это была середина XIX века — пора юношеского подъема и экспансии материалистической науки и мировоззрения. Но Дарвин был ещё из тех, кто ощущал свою потерю и мог откровенно пожаловаться на неё, ибо мог ещё более или менее самостоятельно мыслить. Заурядный же ученый материалист XX века уже не признается в таких «глупостях»: он «подкован», он самостоятельно изрекает непререкаемые суждения, заблаговременно почерпнутые из какой-либо определенной, апробированной и признанной «идеологии».

Внешняя наука с её материалистическими методами являлась с конца Средних веков светильником знания и средством освобождения человеческого «Я», и эта её роль остается ещё за ней и на грядущие века. Но по инерции своего развития она стала вытеснять, затем заменять и наконец вовсе отрицать духовный мир, в частности, стала отрицать искусство как второй способ *познания*, и в настоящее время оставила за ним лишь роль предмета развлечения. Это и способствовало массовой духовной гибели огромного большинства работников науки и техники, вплоть до самых крупных, которые, например, охотно

шли и идут на службу фашизму и милитаризму, «научно» организовывали истребление целых рас, вивисекцию людей и т. д. и спокойно готовят теперь термоядерную войну. Между тем, ни один подлинный художник не отдавал своего искусства на службу, например, фашизму. У фашизма, у капитализма, у милитаризма, у «культа личности» не было и нет подлинного искусства. Они довольствуются либо имитацией старого искусства, которое объявляется классическим, умерщвляется, сушится, затем разрезается на каноны, из которых уже препарируются имитации на конвейере, называемом, например Союзом писателей, либо «своим собственным» противоискусством, например, джазом, абстракционизмом и тому подобными вещами, происходящими уже не из высшего духовного мира, а из другого, противоположного, низшего мира.

В качестве конкретного примера коснемся лишь важнейших вех одного вида искусства словесного — поэзии (европейской). Её начало — гомеровы «Илиада» и «Одиссея». Обе поэмы начинаются с обращения к музе: «Муза воспой»... Это не риторическая формула, как, например, у Пушкина, и не символ, а точное указание на то, что устами Гомера высказывается некая высшая сила. Поэмы же безличны, что современному человеку, разумеется, непонятно. В них мы видим ещё свежий отзвук древнейшего до-гомеровского прасознания, когда человек жил ещё полностью в духовном мире и чувствовал себя как сосуд, через который выражались духовные силы и существа — боги. Среди богов сил и богов властей ищет древний до-гомеровский грек, со своим древним ясновидческим сознанием, причины земных событий, войн, в которых непосредственно участвовали и боги. Во времена Гомера ясновидящее сознание закрывалось, и осталось только живое воспоминание об открытом духовном мире. И Гомер ощущает, что взамен старых ясновидческих сил в его душе живет и инспирирует его Муза — поэтическая фантазия, творящая через образы и формы.

Но уход от духовного мира продолжается. Через 3-4 столетия после Гомера, у Эсхила отзвук древних видений деяний богов был уже так слаб, что в его душе выступало уже нечто вроде неверия в эти видения. Зато на Эсхила действовало уже с особой силой человеческое «Я» (пришедшее с Запада), внутренняя замкнутость человеческой души, и он впервые в состоянии представить человека, который действует из своего «Я»

и начинает освобождаться своим сознанием от втекающих в него божественных сил. Вместо богов у Гомера, у Эсхила начинает действовать человек, которого он как драматург ставит в центр действия (Орест против Аполлона). Эсхил же создал и образ Прометея — героя, представляющего освобождение человечества от божественных властей.

Через тысячу лет Данте вводит нас в область, которую может достигнуть человеческое «Я», если оно пробивается *само из себя,* но не к созерцанию непосредственных данных духовных реальностей, как это было у древнего грека, а к погружению в собственную душу, развитию дремлющих в ней сил и самостоятельной победе над препятствующими ей силами («Волчица», «Рысь»). Данте делает также важный шаг к демократизации поэзии: он пишет свою «комедию» на народном языке.

В отличие от Данте, создавшего мир одного человека — свой собственный, личный мир, Шекспир создал множество образов, единичных индивидуальностей, но сам он не присутствует ни в одной из них, и за ними мы не видим ничего божественного. Он полностью гасит себя и живет своей творческой силой в своих персонажах. Искусство у Шекспира зашло так далеко, что миром художника стали другие Я. Для этого искусство должно было снизойти с духовных высот, из которых оно произошло, в физически-чувственные реальности бытия.

В смысле демократизации искусства Шекспир также должен был пойти дальше: снизойти в самый презренный повседневный мир — в полутрактирного типа театр в лондонском пригороде, куда высшим сословиям не полагалось ходить. Так снизошло искусство и низвело с собой с высот вниз духовный поток, и благодаря этому создало нечто столь жизнеспособное, как индивидуальные образы шекспировских персонажей.

Перейдем к Гёте. Он, как и Данте, описал личный мир откровений одного человека, но не себя самого, как Данте, а объективно созданного им Фауста, который отнюдь не есть Гёте, хотя все приписываемое ему пережито Гёте. Невозможно представить себе, что Фауст мог бы быть создан в столь многих образах, как галерея шекспировских героев. Это, по существу, каждый человек. Гёте снизошел в то, что в каждом отдельном человеке есть высшее человеческое, создал синтетический образ, ценный для каждого отдельного человека, включающий его будущее, ибо Фауст — первый человек, завершивший великий земной цикл, т. е. достигнувший, после погружения вниз,

духовного мира. Таким образом, Гёте первый в европейской культуре осветил великий поворот и перебросил мост в сверхчувственный мир.

В своих научных трудах по оптике (и др.) Гёте положил уже реальное начало будущей европейской науке, которая будет пользоваться двумя методами познания и мышления — логическим и образным — художественным, ибо красота и истина, по Гёте, — одна идея. «Фауст» — это судьба Европы, может быть, более точно — Западной Европы, в нем зашифрована основа и будущее европейской цивилизации. Сам Фауст завершает свой многообразный путь через науку, через соблазны, через дружбу с чертом, через общественное служение, через познание, но не академическое, а с кипением человеческой крови, с душевным жаром, которые он и уносит с собой в высший мир. Поэтому в величественной заключительной сцене «Фауста» обитатели того мира («блаженные младенцы» и др.) и встречают его так торжественно:

«Радостно мы принимаем его... Он и велик и прекрасен, к жизни святой возродясь... Перерастает он нас мощностью членов своих; щедрой наградой воздаст за наши о нем попеченья... Он многому сам научился, научит и нас».

Фауст явился в духовный мир как новый бог, как учитель, как власть имущий. Он выполнил свою человеческую миссию и указал путь каждому человеку.

Таким образом, Гёте уже как бы прочертил первый замкнутый круг великого человеческого земного цикла.

Таково приблизительно воззрение духовной науки на миссию искусства.

После Гёте ведущая роль в мировой литературе переходит преимущественно к русской литературе; Гоголь, Достоевский, Некрасов, Островский, Толстой, Чехов и другие нисходят все глубже в человеческие и социальные тайники и низины («инфернальные» области), проводя за собой туда духовный свет через нити поэзии, как по электропроводам проводится свет физический.

Русская литература принесла непосредственное ощущение правды, любви, страдания за чужую боль. Она просвечивала и разрыхляла зло. Никакая другая национальная литература не может сравниться с русской по её разоблачительной и сострадательной силе, по её физическому болевому ощущению зла и лжи (например, в «Бесприданнице» Островского). В социальном

отношении Горький продолжил эту традицию русской литературы, как ему казалось, до конца, до босяков, до «дна». Но он жестоко ошибся: ни ему (и никому другому) не было тогда ведомо, что то, что он наблюдал в Москве в начале XX века на Хитровом рынке, совсем еще не было дном, а как теперь говорят — «курортом», где еще изрекались возвышенные сентенции о человеке, звучащем гордо. А что настоящее дно откроется через 35 лет, в 1937 году, тоже в России, — на Колыме, Воркуте и других местах, что там человек уже не будет звучать гордо, но что одновременно с этим на другом дне — в Москве — человек будет опять звучать гордо, причем это будет провозглашать не одиночка — босяк Сатин, а целый хор босяков из Союза писателей с их «Литературной газетой» во главе. Одним словом, Горький не предвидел *культа личности,* но в конце жизни, кажется, сам попал к нему в зубы (едва не «на дно») физически и духовно.

3. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

Что такое культ личности (имя Сталина уже привыкли опускать)? Этим «жреческим» названием принято обозначать величайшую в мировой истории диверсию зла и смерти (именовавшихся раньше Сатаной и Дьяволом), дошедшую, по-видимому, до своего предела, действительно до дна, и поэтому, как можно надеяться, последнюю в данном цикле эволюции. Молодой, недостаточно созревший еще русский народ, на долю которого выпало это испытание за весь мир, выдержал её, правда, с огромными потерями, как вынес и немецко-фашистское нашествие также с огромными жертвами, и тем самым отвоевал свое великое будущее, хотя и очень долго еще будет залечивать свою душу.

Культ личности это то, о чем Христос предупреждал как о единственном, чего следует бояться — *убийство души:* «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне».

В сталинских концлагерях — этом последнем звене культа личности — убивали физически людей, предварительно уже духовно обезоруженных, предавших себя, свое Я, свою свободу, своих ближних.

Отнимая от них еще и физическую жизнь, их лишали возможности что-либо исправить или вернуть в этой жизни. Только духовная наука может дать представление об их ужасной участи. Дело в том, что в наше время мы вступаем в эпоху свободы, неотделимой от личной моральной ответственности. Свобода (также и образование, наука) уже не остается достоянием небольшого числа избранников, стоящих над народами, а быстро распространяется в мире, настойчиво стучится к каждому человеку, хочет он этого или нет, аналогично тому, как общее образование, например, грамота или арифметика, настойчиво, неодолимо внедряются теперь в каждого человека, независимо от его желания, как внедряется техника в производство и быт. И так же, как были бы губительным возврат людей к старым, примитивным мелкособственническим формам в промышленности и сельском хозяйстве, как было бы губительно для современного человека лишиться по какой-либо причине усвоенного им образования и способности научно, логически мыслить, так же гибельно для человека, достигшего некой ступени внутренней свободы, отбрасывание его назад из нашей эпохи, лишение его этой свободы, личности, Я, моральной ответственности. Гибельно всякое движение вспять по ступеням эволюции.

Потеряв свободу, передоверив её кому-либо вместе с моральной ответственностью, человек немедленно попадает в духовную эксплуатацию каких-нибудь людей, нелюдей, или организаций. Что может из этого получиться, видно, хотя бы, на примере гитлеризма, который устами своего фюрера заявил, что желает сделать из своей молодежи диких зверей, и действительно сделал из людей, передоверивших ему свою свободу, собственно, не зверей, а нечто гораздо более низкое.

Чтобы разобраться в таких явлениях, нельзя упускать из виду, что значительная часть людей обретает свободу как бы принудительно, по велению времени, и сами люди пытаются даже сопротивляться ей. Ведь свобода (как и образование) не даруется человеку; её нужно завоевывать долго, всю жизнь, и эпоха толкает человека к её завоеванию, к усилиям, жертвам. Отказаться же от этого завоевания значит скатиться назад. Такова тяжесть свободы, ответственности, таков трагический искус нашей эпохи.

И как много людей не выносит этой тяжести и пытается отделаться от своей свободы, сбыть её куда-нибудь за кусок

хлеба. Отсюда такое гигантское развитие в наше время партий — этих массовых скупщиков свободы.

Ясно и резко высказал это Великий Инквизитор Достоевского:

«Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается».

И уже совсем популярно сказал об этом поэт Окуджава:

Как славно быть ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом, солдатом!

Величайшее значение имеет изучение *методики* массового духовного умерщвления людей, разработанной врагами человечества. В данном случае она выглядела примерно так.

Сначала в сознании человека расшатывались до конца традиционные духовные устои: религия, искусство, нравственные идеалы и т. д. Материалистическая односторонность науки, породившая материалистическую идеологию, а также в огромных размерах падение влияния церкви (её исторические преступления) подготовили это расшатывание уже давно, но здесь дело доводится до конца — до полного отрицания духовного мира.

Человек есть животное, *случайно* выбившееся в люди. Именно такова «новейшая» теория происхождения людей, причем доказывается, что сама эта случайность имеет ничтожнейшую вероятность, то есть существование людей, вообще говоря, практически невероятно.

Правда, для приличия имеется такое кисейное прикрытие: *диалектика,* якобы взятая Марксом напрокат у Гегеля, у этой «идеалистической сволочи» (как обозвал его Ленин), и якобы поставленная им при этом вверх тормашками. Вот при помощи этой перекувырнутой диалектики можно, оказывается, вывести разные тонкие «качественные переходы», «скачки», «базисы и надстройки» и, в конце концов, «объяснить», не только пищеварение, но и эти проклятые «психические процессы», вплоть до трижды проклятого искусства, которое существует несмотря ни на что, не лезет ни в какие материалистические ворота и о котором так обидно мало цитат оставили после себя беззаботные классики марксизма-ленинизма.

После Маркса, Энгельса и Ленина эта диалектика хранится как золотое обеспечение в подвалах философского «банка» —

Института философии Академии Наук, являющегося одним из духовных управлений страны, — где ею балуется несколько начитанных молодых ребят — «философов». Старики же «академики», «профессора», идеологическое начальство (так и не успевшие переварить философию в объеме 4-ой главы «гениального краткого курса» Сталина), как и широкие массы интеллигенции, ничего в этом не понимают, но твердо верят в существование указанного обеспечения, при помощи которого можно будет, если понадобится, все объяснить, а сами довольствуются бумажными философскими деньгами, то есть самым оголтелым, механическим, первобытным материализмом. Безотчетная казенная вера в имеющуюся в запасе диалектику, с одной стороны, идеологические комиссии, отделы кадров и КГБ, с другой, окончательно убеждают и утверждают людей в этом мировоззрении.

Когда, таким образом, весь духовный мир, вместе с душой, изъят, в образовавшийся вакуум вставляется другой бог, вернее целая иерархия, составленная по старым привычным церковным образцам: общество, класс, партия, центральный комитет и наконец вождь — первосвященник, без которого, как выяснилось, все начинает разваливаться. И вот оказывается, что собственная индивидуальность человека — это, строго говоря, его кишки, мозг и т. п., сознание же его, то есть вся психическая жизнь, — это общественное. Личности нет. Поэтому все добродетели и грехи, то есть вся мораль существует только по отношению к обществу, а пока — по отношению к классу. Аморально делать то, что вредит классу, обществу, а морально то, что полезно ему. Нельзя воровать общественную собственность (особенно военного и железнодорожного ведомства), но соблазнить чужую жену, собственную мать или корову или же прикончить больных стариков-родителей, чтобы ни себе, ни им не мучиться — этого никакой «научный» диалектический материализм осудить не может, и следовательно это вполне допустимо, ибо общество от этого «очевидно» никакого ущерба не несет (а иногда может получить материальную пользу).

Этой общественной иерархической башней, «научно» построенной человеческими руками против благих сил духовного мира, за короткий срок овладели силы зла и смерти, враждебные человеку согласно незыблемым законам. Люди, лишенные личности, Я, а следовательно свободы, стали игрушкой «общественных» сил — классов, партий, фракций, комитетов, вож-

дей. Иерархическая башня заработала сама по себе, как башенный робот, сорвавшийся с программы. Отобрав у людей личность, она для различения их нашлепала на каждую людскую штуку ярлык — анкету, состоявшую сначала из двух вопросов (друг или враг), а потом, по мере её «научного» развития, — из 5-ти, 10-ти, 50-ти и т. д. вопросов. По этим ярлыкам было удобно сортировать людей как мелкий скот или галантерейный товар и быстро сбрасывать их в разные ящики. После отнятия личности и свободы, то есть духовного убийства, началось физическое взаимное истребление людей: сегодня истребляется группа невинных людей, завтра истребители этой группы истребляются новой группой и т. д. Это и есть то, что называют культом личности.

Наиболее поразительным явлением в этой истории была полнейшая безропотность жертв, среди которых были волевые люди величайшего мужества, например, вожди революции, полководцы гражданской войны. Поведение подсудимых на первых процессах (когда еще были процессы), когда жертвы покорно сами себя оговаривали, казалось всему миру необъяснимой тайной. А было то, что люди, которые могли беспрепятственно, даже в одиночку, бороться с открытым врагом — с царскими или белогвардейскими палачами — оказались безвольными, пустыми мешками перед судилищем «церкви», созданной их собственными усилиями вокруг себя и внутри себя. Им некуда было уйти от этого, негде искать поддержки и некому жаловаться.

Обычная стандартная методика убийства такова:

1. У намеченной жертвы обнаруживается индивидуальное отношение, «уклон», «ошибка», организационная, документальная, письменная или устная, по показаниям свидетелей (позже и лжесвидетелей).

2. На собрании, конференции, пленуме и т. д. уклон разоблачается. Чтобы сохранить свое место в партии, или вообще под солнцем, виновник вынужден обязательно публично *«признать свою ошибку»* и свою вредную деятельность, «отмежеваться» от неё, будучи в действительности уверенным в своей правоте. Это уже наполовину убивает его «Я». (Кстати, «иметь свое я» считается вообще отрицательным, антиобщественным качеством, «показать свое я» — поступок, свидетельствующий о наличии чуждой идеологии).

3. Но виновник не может просто признать себя побежден-

ным, выйти из борьбы и претендовать, скажем, в качестве пленного на сохранение жизни и человеческого достоинства, как это делается во всех цивилизованных армиях. Нет, он должен еще «идейно» разоружиться и «покаяться», то есть публично обмазать себя нечистотами.

4. Наконец виновник обязан еще «помочь партии» бороться с его же уклоном, то есть предать своих единомышленников — предать кого-нибудь.

После этих четырех процедур, несчастные освобождаются наконец почти полностью от источника мучений — от своего Я, от своей доли в духовном мире, — и превращаются в пустышки, в нули или отрицательные существа, лишенные творческих сил. Часто они опускаются на уровень, ниже человеческого: питаются ненавистью или завистью, наслаждаются чужими страданиями, их радость — злорадство. Они пополняют ряды палачей, провокаторов и т. п. и являются ближайшими кандидатами на физическое истребление в концлагерях, несмотря на всё их покаяние.

Только этим обезличиванием людей объясняется пресловутая «тайна» пассивного поведения и послушного самообвинения знаменитых оппозиционеров на первых процессах 30-х годов. В последние годы эту операцию обезличивания можно было наблюдать, например, на Булганине. Недавний маршал и премьер-министр великой державы вышел на трибуну, высек себя, обмазал нечистотами и на глазах у почтеннейшей публики превратился в дохлую крысу, исчез из памяти людской, сохранив, однако, этой ценой оседлую и достаточно жирную жизнь.

Была в лагерях еще одна категория обесчеловеченных людей — это уголовники, «блатари». Они могли всегда открыто ограбить, избить, зарезать любого заключенного, изнасиловать любого мужчину, женщину, девушку (например, целой группой в тюремной камере изнасиловать девушку, после чего снять с неё туфли и через конвой тут же обменять на водку — все это в присутствии нескольких других молчаливых арестантов). В некоторых лагерях они ходили в женские бараки, оплачивая женские услуги хлебом так: женщине давался кусок хлеба, который она имела право есть только во время случки, после чего остаток она должна была возвратить. Были изобретательные блатари, которые предварительно подмораживали хлеб в снегу, чтобы женщине было трудно его грызть.

Политические заключенные, так называемые «социально чуждые» и «враги народа», были отданы под бесконтрольную власть блатарей, именовавшихся соответственно «социально-близкими», и являвшихся опорой лагерного начальства. Они обзывали политических заключенных фашистами, бахвалились своим своеобразным патриотизмом и заставляли их служить себе самым унизительным способом, вплоть до того, что принуждали кого хотели, брать на себя вину за убийство, совершаемое блатарем.

Это уже были нелюди, существа из царства, ниже человеческого, — вампиры, нетопыри, ведьмы из народной фантазии.

Выдача им на расправу политических заключенных было одним из страшнейших преступлений «культа».

Силы смерти («дьявола») раскрыли свои главные «секреты» — свои самые сильные методы умерщвления людей, и поэтому изучение опыта эпохи «культа личности» жизненно важно для будущих судеб всего человечества. Эта великая битва в духовном мире в XX веке будет на веки веков одним из основных предметов изучения для науки и искусства. Забвение её, пренебрежение её изучением будет таить всегда смертельную опасность для человеческой души, как пренебрежение знанием свойства токов высокого напряжения или внутриатомных излучений таит смертельную опасность для человеческого тела.

Конечно, не все те, кто подвергся описанной методике умерщвления, потеряли душу. Были и в лагерях люди, прошедшие воспитание по указанной методике и сохранившие в какой-то степени душу и достоинство. Это значит, что в них уцелели, может быть, неожиданно для них самих, глубокие духовные силы, сохранившие их личность, Я.

Были в лагерях и люди, вовсе не обезоруженные духовно, например, религиозные, верующие люди (таким блестяще показан у Солженицына баптист Алеша). По словам наблюдателей, все они сохранили душу и следовательно были только «мучениками плоти», духовно же закалялись. Были и герои, совершавшие до конца выпавший им на долю подвиг — подвиг за всех нас...

Наоборот, нет более жалкого зрелища, чем духовно убитые и физически выжившие там люди, особенно из «начальства». После того, как, спустя три года после смерти Сталина, их соизволили наконец реабилитировать, они бросились искать и

восстанавливать свои жизненные формуляры — свои заслуги, честные жертвы, понесенные ими за народ, и свои... кровавые расписки о продаже души Сталину. Но ничего не оказалось, все исчезло на глазах вместе с душой в какой-то гнилой тлеющей куче, от которой все отворачивались, не хотели её замечать. Даже пресловутого дьявольского хохота, как встарину, не было явственно слышно, ибо в дьявола ведь нельзя верить. Родная же партия вовсе не встретила их как родных страстотерпцев, а хмуро отворачивалась от них как от неудобных, надоедливых старичков-инвалидов и вовсе не собиралась призвать их к руководству как консультантов по перестройке партийной жизни в духе ленинских норм, тем более, что у многих из ее членов у самих рыльце в пуху и сами же они продали любимому Сталину эти нормы. Молодежь не хочет их слушать... Она рвется слушать любовные стихи, ибо молодежь любит жизнь, а не смерть.

Из всего сказанного здесь о массовом умерщвлении человеческих душ вовсе не следует, что все дело революции и революционных кадров было ложным или порочным с самого начала, как пытаются утверждать некоторые люди под влиянием горестных разочарований. Нет, что бы ни произошло в эпоху Сталина, а также до и после неё, не подлежит никакому сомнению очевидный факт, что революцию делали, главным образом, самоотверженные, честные люди, которые выполнили высший подвиг, отдавая жизнь свою «за други своя» и ничего не ведая о приготовленных для них в будущем бюрократических креслах министров и прокуроров и не испытывая еще той похоти власти, которая впоследствии захватила многих из них. Революция *произошла*, и следовательно была *необходимым* актом истории, деянием высоких духовных сил, и как происшедший факт не нуждается ни в каких вымышленных человеческих оправданиях или отрицаниях. Засвидетельствовал же поэт, современник революции, хорошо слышавший и видевший её, что «впереди Исус Христос».

Как смешалось здесь добро и зло, правда и ложь — это великий вопрос для великих мудрецов. Мы можем здесь только привести слова одного из таких мудрецов — Вл. Соловьева:

«Всякое заблуждение... содержит в себе несомненную истину, которой оно есть лишь более или менее глубокое искажение, — этою истиною оно держится, ею привлекает, ею опасно, и через неё же только может быть как следует обличено и опро-

вергнуто. Поэтому первое дело разумной критики относительно какого-нибудь заблуждения — найти ту истину, которой оно держится и которую оно извращает».

4. МИССИЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Большие наводнения, потопы оставляют после себя плотные отложения земли, песка, ила, покрывающие все живое, как могила, твердые наносы, не сдуваемые, не смываемые и зачастую не поддающиеся даже лопате. (Такие гладкие твердые поверхности на больших площадях обнаружены, между прочим, при раскопках на некоторых территориях Ближнего Востока, где происходили гигантские наводнения, описанные в еврейских и вавилонских сказаниях о всемирном потопе.)

Нечто подобное оставил после себя в духовном мире грандиозный потоп зла и смерти в эту эпоху сталинских лагерей и тюрем. Это имеет вид духовных окаменелостей, омертвелостей, аналогичных омертвелым образованиям в живом теле (опухоли, «дикое мясо»).

Тяжелые твердые образования затемняют и тянут вниз прозрачную и легкую духовную атмосферу общества, порождают равнодушие — этот самый большой грех, эту самую страшную форму духовной смерти — равнодушие к судьбам всех, всего общества, в том числе к своей судьбе, своему будущему и, между прочим, в невиданных масштабах стимулирует всенародное пьянство.

Эти духовные камни лежат на сердце всех думающих советских людей, а особенно, конечно, бывших учеников лагерей — заключенных («зэков»), — как ледяные глыбы, как застывшие металлические «козлы» в доменной печи при внезапном её остывании. Эти камни вообще не поддаются ни разрушению ударами «извне» (т. е. внешними доводами, рассуждениями), ни механическому удалению, «вырезанию», как почечные камни. Просвечивание же каким-либо духовным светом не может быть применено, ибо непосредственные источники этого света отвергнуты и недоступны. Люди застыли между жизнью и смертью. Единственная связь с духовным миром, которая может быть восстановлена, — это *искусство*.

Единственное пока спасение, первая помощь — это *соше-*

ствие искусства в сталинский концлагерь. Необходимо доплести нить искусства, этот проводник из духовного мира, до концлагеря. *Этот жертвенный подвиг, эту светлую миссию для своего, и не только своего, народа и выполнил первым из мучеников лагерей — А. И. Солженицын.*

Солженицын, следуя своей миссии, должен был написать не мемуары, не исторический анализ или разоблачение, а *поэму* с ритмическим текстом и композицией, вернее — *былину,* подобную, например, «Слову о полку Игореве», что он и выполнил, написав «Один день Ивана Денисовича». В этой былине концлагерь с его злом *ритмизованы* — конечно, не метрическими ритмами во времени или рифмами, а внутренними, композиционными духовными ритмами, которые при помощи как бы резонанса или «индукции» проникают в душу, например, «реабилитированного» заключенного, глубоко подогревают её подобно УВЧ, разрыхляют лежащий там камень, превращают его в пыль, уносимую духовными ветрами, восстанавливают жизненные функции закоченевших частей души, в частности, возвращают слезы и смех.

В этой связи уместно привести следующее указание из духовной науки. У немолодых людей наблюдаются нервные заболевания (приводящие к физическим болезням), причины которых медицина не может постигнуть. Может оказаться, что причиной такой болезни является какое-либо страшное событие в прошлой жизни человека, которое спустилось в подсознательное, обитает там и образовало некую скрытую, замкнутую «душевную» провинцию, которую человек не сознает, «забыл», но которая все же является болезнетворной. И вот, когда человеку напоминают, «вскрывают» это замкнутое душевное образование, поднимают его и вносят в сознание, то это может привести к исцелению.

История этой миссии Солженицына представляет, конечно, огромный непреходящий интерес. Известно, что до своего заключения он не был писателем и, по-видимому, проявлял лишь некоторый интерес к литературе и сочинительству — интерес, во всяком случае, настолько несущественный, что учиться он пошел на физико-математический факультет и ни одного литературного произведения, по-видимому, не напечатал и не сохранил. Между тем, в лагере он почувствовал призвание, призыв, точнее — инспирацию, приказ высших духовных властей: стать поэтом событий, разыгрывающихся вокруг него, иначе

говоря, ритмизовать их. Свободный человек может принять или не принять такое назначение, но приняв его, он делает его своим личным, собственным призванием, долгом, связывает с ним свое Я и судьбу, идет ради него на муки, на подвиг. Так и получилось с Солженицыным. Он уже не мог ограничиться борьбой за поддерживание своего физического существования и достоинства, что само по себе требовало напряжения всех сил заключенного. Он должен был еще пребывать в духовном мире и творить образы или, говоря языком духовной науки, переводить образы из хаоса в космос. Но в лагере запрещалось писать. Он мучительно старался запомнить поток мыслей и образов, иногда пытаясь для облегчения памяти переводить их в стихотворную форму, становясь поэтом поневоле. А духовный мир продолжал непрерывно нагнетать в него мысли, образы, ритмы, невыносимо распирая его душу и память.

Не будет! Не было сверкающего мира!
Портянка в инее — повязкой у лица.
О к а ш а х спор, да окрик бригадира,
И — день, и — день, и — нет ему конца.

*

Искрит о землю мерзлую бессильная кирка.
А солнце блещет, блещет свысока:
Мир — есть! И будет мир! Довлеет злоба дневи,
Но не замкнуться человеку днем.
Со светлым пониманием, не в гневе —
Писать! Писать — теперь, теперь — а не потом!
Едва ворочаются мысли жерновами.
Чуть вспыхнет свет в душе по временам.
Да, тесен круг здесь очертили нам, —
Просторный круг открою в нем — стихами!
Созвучной, мерной, может быть, сумею уберечь
Такой ценой открывшуюся речь!
Тогда напрасно вы по телу шарить станете:
Вот я. Весь ваш. Ищите! Ни строки...
А к чуду Божьему, к неистребимой нашей памяти
Вы не дотянете палаческой руки!!!
Мой труд! Год за год ты со мной созреешь,
Год по году Владимиркой пройдешь.

Наступить день — не одного меня согреешь,
Не одного меня ознобом обоймешь...

*

Пусть бьются строки — не шепни.
Пускай колотятся — а ты губой не шевельни.
Не вспыхни взглядом при другом.
И ни при ком, и ни при ком
Не проведи карандашом:
Из всех углов следит за мной тюрьма.
НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА!
Я разных не писал стихов для развлеченья,
Ни — от избытка сил.
Не с озорства сквозь обыски в мозгу их проносил.
Купил я дорого стихов свободное теченье,
Права поэта я жестоко оплатил —
Всю молодость свою отдавшей мне бесплодно
Жены десятилетним одиночеством холодным,
Непрозвучавшим криком неродившихся детей,
В труде голодном смертью матери моей,
Безумьем б о к с о в следственных, полночными допросами,
Карьера глиняного рыжей жижей осени,
Безмолвной, скрытою, медлительной огранкой
Зимой на кладке каменной и летом у вагранки —
Да если б это — в с я цена моих стихов!
Но тоже и за них платили жизнью те,
Кто в реве моря заморен в молчаньи Соловков,
Бессудно в ночь полярную убит на Воркуте.
Любовь, и гнев, и жалобы расстрелянные их
В моей груди скрестились, чтобы высечь
Вот этой повести вместительный печальный стих,
Вот этих строк неёмких горстку тысяч.
Убогий труд мой! По плечу тебе цена?
Одной единой жизни — ты пойдешь в уплату?
Который век уже моя страна
Счастливым смехом женщин так бедна,
Рыданьями поэтов так богата!
Стихи, стихи! — за все, утерянное нами,
Накап смолы душистой в срубленном лесу!

Но ими жив сегодня я! Стихами, как крылами,
Сквозь тюрьмы тело слабое несу,
Когда-нибудь в далекой темной ссылке
Дождусь, освобожу измученную память —
Бумагой, берестой в засмоленной бутылке,
Укрою повесть под хвою, под снега заметь.
Но — если раньше хлеб отравленный дадут?
Но если разум мой задернет тьма?
Пусть т а м умру! — не дай погибнуть т у т!
НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА!!!

1948-1950

Об этой нечеловечески трудной миссии — выполнять в сталинском концлагере свое высшее личное предназначение — рассказал еще другой поэт, выполнявший такую же миссию в местах гораздо более страшных, чем лагерь, описанный в «Иване Денисовиче», где его много лет заставляли работать голодного, работать под землей в забое при морозах до 60°, а когда он падал — его били сапогами в лицо. Этот поэт засвидетельствовал:

Нынче я пораньше лягу,
Нынче отдохну.
Убери же с глаз бумагу,
Дай дорогу сну.

Мне лучи дневного света
Тяжелы для глаз.
Каменистый путь поэта
Людям не указ.

Легче в угольном забое,
Легче как-нибудь,
Только не с самим собою
Прошагать свой путь.

Оказывается, легче просто подневольно работать в забое! Там можно быть пассивным, сбросить страшный груз свободы, выпустить из рук нити своего разума, воли, жизни, потерять сознание и успокоиться, замерзнуть или умереть под сапогами бригадира. Выполнять свою свободную миссию (даже не работая в забое) гораздо труднее! Так, тонущему, замерзающему или

голодающему человеку становится, в конце концов, легче, приятнее отдаться смерти, чем бороться против нее.

Эти богатыри боролись *в одиночку* со всеми необъятными силами зла и смерти, физическими и духовными, боролись за всех. Они умирали и воскресали, побеждая смерть. Они пропускали страдания и смерть через свое богатырское сердце, омывали их своею кровью, чутко и нежно ритмизовали их в стихах и прозе, чтобы для тех из нас, кто глубоко переживает их произведения, это заменило личное, физическое и моральное прохождение через лагерный ад, и чтобы таким образом этот ад действительно не повторился. Они честно и до конца прошли путь страдания, по-видимому, единственный, оставшийся в наше время еще открытым путь очищения и прозрения в духовный мир.

Мы не знаем, сколько всего их выжило духовно и физически — этих героев-победителей из многих миллионов бессловесных мучеников. Может быть, меньше, чем пальцев на одной руке. Но они спасли достоинство эпохи, достоинство русского духа, как горстка повстанцев в варшавском гетто спасла национальное достоинство живых и шести миллионов погибших от рук немецких фашистов евреев.

Нужно еще добавить, что оба наших поэта не имели даже той поддержки, которой располагали в лагере многие — религии. Оба они были люди *сознательно* нерелигиозные. Они боролись буквально в одиночку — даже не призывая на помощь Бога, не философствуя и сознательно не помышляя ни о каких там объективных духовных силах, возложивших на них какие-то миссии.

Солженицын вышел из лагеря тяжело больным, еле выжил, но остался с такой злокачественной опухолью, которая «практически» всегда сводит человека в могилу. Но ей «приказано» было отступить, и она отступила. Солженицын стал здоровым человеком с огромным творческим потенциалом.

В течение примерно пяти лет — это были его первые звездные дни — в глубокой тишине, возможной в наше время только для безвестно затерявшегося подпольного писателя, в обстановке, описанной в «Матренином дворе», или близкой к ней, без помех создавал он свой шедевр — «Ивана Денисовича», а, возможно, и другие, неизвестные еще нам.

В 1962 году время созрело. Подпольный писатель Солже-

ницын, не знавший до сих пор, как бы спрятать получше своего «Ивана Денисовича», передает его редактору журнала, члену ЦК КПСС Твардовскому, который не затрясся от негодования или страха, а немедленно принялся за продвижение этого произведения в верхах, как за дело своей жизни.

Дальше произошла уже настоящая чертовщина, невиданная в благородном советском семействе. В самом деле, известно, что все мало-мальски грамотные советские люди, большие политики, умеют оценивать «с точки зрения», объяснять и предвидеть, чем очень гордятся. («Везде мыслители сидят!», огорчается Евтушенко. Ильф и Петров называли их «пикейными жилетами».) Так вот, если бы ознакомить любого из них в 1961-1962 годах с «Иваном Денисовичем», он сказал бы, что начальство, конечно, не только никогда не разрешит издать такой соблазн, но его и не стоит издавать, ибо он вызовет по меньшей мере «нездоровый интерес» (при этом, «пикейный жилет» сделал бы непроницаемо умное, надменное лицо), а отсюда один шаг к потрясению основ. Но само начальство, которое должно было лучше всех понимать это, вдруг ни с того, ни с сего... разрешило издать «Ивана Денисовича», а редакциям советских газет было приказано расхвалить это произведение! Так, в ноябре 1962 года родился на свет «Иван Денисович» после, примерно, девятимесячного журнального утробного состояния, к великому посрамлению всех мыслителей и политиков — от серой инженерно-чиновничьей массы до серо-черной писательской сотни.

Куда же смотрело высшее начальство? А оно на то и есть высшее начальство, чтобы к нему сходились нити со всех сторон и чтобы примечать больше других; а если оно не досмотрить, не приметит или не захочет приметить, то нечто (назовем его «время») тронет его, поначалу вежливо, за локоть, и покажет пальцем: не зевай, открывай шлагбаум.

Всякое же новое общественное или духовное явление, идея или течение входит в мир только тогда, когда в нем имеются соответствующие для этого притяжения, предрасположения, вакуум. Если же общество насыщено определенными идеями или течениями, то невозможно ничего проталкивать туда, как невозможно качать воздух в надутую до предела камеру или насыщать влагой перенасыщенный уже ею воздух. Так вот, «Ивана Денисовича» ждал глубочайший жадный вакуум. В 1962 году, еще задолго до получения разрешения к печати, можно было «слышать», как «Иван Денисович» «со свистом» проникает

через щели в вакуумную камеру советских живых читателей и писателей. Несмотря на строжайшие правила обращения в редакциях с рукописями как с секретным материалом, «Ивана Денисовича» беззастенчиво воровали из сейфа Твардовского, перепечатывали и давали возможность читать тысячам людей. Честные писатели успели уже воздать хвалу и поклониться ему как восходящему светилу. К счастью, но непонятно почему, рукопись не успела за это время попасть в руки иностранных издателей, что могло бы принести большой вред и автору и рукописи. А такой свист должен быть услышан начальством, если оно есть начальство и не хочет прятать голову в песок.

В течение считанных дней полуподпольный Солженицын, известный доселе какому-нибудь десятку родственников и однодельцев (причем из них даже никто не оценил по-настоящему его деяния), стал известен всему культурному миру. Но такое внезапное — «адиабатическое» — расширение не смутило его, не оглушило ни в малейшей степени. Он был и остается невозмутимым, собранным исполнителем своей миссии, полным творческого накала.

Начальство потрясено, ума не приложит: ведь на XX и XXII съездах с высочайшей трибуны было рассказано всему миру о злодеяниях Сталина, были раскрыты более страшные вещи, чем в «Иване Денисовиче», где даже как будто и никаких ужасов-то нет, *на наш советский взгляд,* и все же официальные разоблачения были приняты спокойно, деловито, а от «Ивана Денисовича» весь мир вздрогнул. Какой-то джин был выпущен из бутылки, и растерянность начальства не прекращается до сих пор. Между тем, «Иван Денисович» уже год как отделился от своего отца Солженицына и как хороший «работяга» крепко орудует самостоятельно.

5. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В духовной атмосфере вокруг Солженицына завертелись продолжая расширяться, духовные вихри: вихрь любви и вихрь ненависти. «Иван Денисович» стал неким пробным камнем или, как сказал один читатель, рентгеновским аппаратом, почти автоматически сортирующим людей на живых и мертвых, за-

сохших душ, причем результаты сортировки бывают очень очень часто неожиданными!

Вот бывшие зэки и подобные им люди, те, у которых на душе самые тяжелые камни, люди, не смеющиеся, не плачущие, «забывшие радость свою», сухие кости. Оживут ли сухие кости? Эти люди, давно оторванные от духовной жизни, думали о себе, вернее, тайно ощущали, что нет, нет, не оживут. Они не знали великого пророчества Иезекииля!

Это пророчество относится непосредственно к Израилю. Но уж если должны ожить старые, засохшие и пересохшие, сожженные в немецких крематориях израильские кости, а они действительно ожили на наших глазах (и не только в государстве Израиль), то тем паче могут быть оживлены кости, засохшие в течение жизни одного-двух поколений. Но для этого нужно слово, творческое слово пророка, поэта, несущее в себе частицу того «Слова», которое некогда сотворило из Хаоса весь Космос, и о котором было сказано в могучем магическом ритме, что Оно было в начале, что «все через Него начало быть», что «в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Многие из «засохших» или «окаменевших» людей (зэков и не зэков) рассказывают о том, что с ними произошло, устно или в письмах (в журнал «Новый мир», в газеты). Вот примеры:

«...Обильные слезы заливали мое лицо, и я их не вытирала, я не стыдилась их, ибо это все, что уложилось в несколько страниц журнала, мое, кровное мое, изо дня в день мое во все 15 лет пребывания в лагере».

«...Я плакала и смеялась... Я теперь плачу, а тогда у меня не было слёз».

«...Я счастлив. Повесть подтверждает великую истину несовместимости искусства и лжи. После появления такой повести любой писатель устыдится лить розовую водичку. И ни один прохвост не сможет обелить необелимое».

«...Наконец растапливается холод отчуждения. Вот и к нам ко всем обращается человеческое сочувствие...»

«...Я хоть и плакал, читая, но чувствовал себя среди окружающих полноправным гражданином, до сих пор же я чувствовал от них холодные взгляды, напоминающие Печору и Норильск».

«...Чувство счастья, которое испытываешь, читая... трудно передать словами. Счастье — странно звучит рядом с содержа-

нием ниписанного, но именно им я наполнилась от правды, от соков земли, от давно невиданной настоящей человечности, от того, что вступила в недра большого ума и таланта, от того, что есть изумительный человек, который все знает, все понял...»

«...сегодня я прочитала «Матренин двор» и замерла, в горле сдавило от предельной силы, от человечности, от гениального совершенства, от бесконечной толстовской глубины...»

«...Книга заставила нас с особенной радостью почувствовать — жива Россия! Жива! После долгого мертвящего оцепенения жива!... Связь времен восстановлена — нить, связывающая нашу литературу с Чеховым и Толстым».

«...У меня одно чувство — страшной силы правды».

«...Повесть для меня и мне подобных — последняя надежда на то, что есть где-то правда, что еще не сгинула она, не зачахла до смерти».

«Описание мук зэков... *«сделано с таким громадным мастерством... да еще проникнуто глубочайшим милосердием и любовью к человеку... Поэтому страдания Шухова каждый считает своими и, читая о них, читает о себе».*

«...'Иван Денисович' был для всех нас откровением: испорченная соцреализмом, я и не подозревала даже возможности создать на русском материале действительно по-настоящему гуманистические и со всепрощающей любовью вещи».

В этих немногих отзывах ясно чувствуется, как читатели были внезапно ошеломлены, как ударом, шоком от правды, любви, человечности, милосердия, потрясшими их в «Иване Денисовиче» (а также в «Матренином дворе»).

А вот несколько строчек из вихря любви и благодарности, несущегося к Солженицыну из многих, многих сердец через письма в «Новый мир»:

«Целую Ваши золотые руки». «Спасибо за правдивость». «Земной поклон, вам, дорогой человек». «Спасибо Вам за Ваше сердце, мужество и за правду».

«...Простите мне мою смелость и назойливость. Но если у Вас есть настоящий дом, где Вас любят, передайте мой привет всем Вашим близким и друзьям... Почтительно жму руку как читатель. И от всего сердца зэка желаю Вам счастья как близкому человеку... Спасибо за все».

«...Спасибо Вам, дорогой друг, товарищ и брат! Спасибо за твой великий подвиг, спасибо от всей души. Ничего тебе не

жалко отдать, ничего. Читая твою повесть, я вспомнил Сивую Маску, Воркуту... морозы и пурги, унижения и оскорбления... Читал, плакал — все знакомые лица, как будто сказано о моей бригаде... Еще раз спасибо! Продолжай в том же духе — пиши, пиши. Тебя судьба наградила способностью, которой лишила меня — умением записывать историческую правду... Будь здоров, дорогой друг! Ты уже оставил в истории советской литературы свое имя, и ничем никто его не сотрет...»

«...В пятый раз прочитал про Матрену. Сами Вы тот человек, без которого не стояла бы земля наша. И от этого так хочется в пояс, по-русски, низко, низко поклониться Вам за всю нашу землю, за всех русских людей...»

«...Спасибо за то, что Вы есть... Берегите себя. Счастье, что Вы есть...»

«...Россия — страна писательская, по преимуществу. Как бы в ней ни складывалось, всегда нам было легче, когда у нас был Тургенев, Толстой, Чехов. Нам было мало, чтобы писатель был хороший, даже великий. Нам нужно было, чтобы он был такой, которого можно любить. Вы — тот, кого мы полюбили сразу, кому мы благодарны за это чувство, потому что без любви человеку плохо... Мы очень гордимся Вами, товарищ Солженицын, Ваша слава — это наша слава. Если бы Вы изменили большой правде, это было бы горем для всех нас. Была в России Ясная Поляна, было Мелехово, вот теперь в Рязани Солженицын. Это я не Вам говорю приятное, это — себе... Берегите себя, Александр Исаевич, потому что после того, как Вы написали «Ивана Денисовича», Ваша жизнь уже не принадлежит Вам одному. Ведь Вы даже не понимаете, вероятно, кто Вы и кем Вы стали для нас».

«...Мы Вас любим, мы Вам верим, желаем Вам сил, здоровья. Спасибо».

«...Примите нашу любовь и благодарность, родной писатель, великий писатель!»

«...Ведь нет сейчас города милее, чем Рязань, и нет писателя дороже... К вам я отношусь коленопреклоненно — и как бы это слово ни звучало выспренно, оно выражает суть дела».

«...Спасибо Вам за любовь и мужество...»

Этот свежий вихрь, бушующий в духовной атмосфере русской земли, уже невозможно погасить никакими «мероприятиями» и зажимами. Поздно!

Наряду с этим отслаивается и консолидируется всё злое и мертвое.

1. «ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА». Это большие и малые сталинские последыши (зачастую работники лагерей и просто палачи), очень чувствительные к угрозе их положению, чинам и пенсиям (появилось, как будто, уже и название СТОП — сталинская оппозиция). Эти люди отозвались на «Ивана Денисовича» неслыханно злобным змеиным шипением. Не так легко слушать или читать их, поверить, что они говорят всерьез. Они не могут даже скрыть своей злобной, бессильной палаческой похоти по отношению к самому персонажу — Шухову. Несмотря, например, на утверждение рассказа, являющееся в данном случае документальным «фактом», что Шухов действительно был с утра нездоров, один палач утверждает:

«...Шухов ваш за здоровьишко свое, за свой живот пуще всего трясется. Холодно на улице — к фельдшеру побежал. Даже сам себя убедил, что болен. А на деле-то оказался совершенно здоровым».

И дальше палач не может уже сдержать своего шипения:

«...Он в бою-то, наверно, первым руки поднял, чтобы шкуру свою спасти. А, может, он нарочно сам на себя наговорил у следователя? Знал, что в лагере живой останется».

«...Шухов — законченный эгоист, типичный себялюбец. По-умному хитрый, живущий только ради своего брюха».

«...Шухов — «шакал» квалифицированный, изворотливый, безжалостный. Такой зверь без зазрения совести вырвет кусок изо рта другого, более слабого зверя... За день насобирал Ваш герой килограммы хлеба, и в матрас спрятал и за пазухой держит. Запихивает всё в свою утробу. С голодающими товарищами никак уж не поделится, будьте спокойны!»

Что́ этому палачу подробное описание и рассказы полного достоинства поведения Шухова по отношению к товарищам, в частности, именно того, как он, действительно, делился «куском». Он читает и не видит, не понимает. Он чует запах пропотевшего зэка, кровь ударяет ему в голову, он забывается, как волк, почуявший запах ягненка, «виноватого» уж тем, что вол-

ку хочется кушать, как белый плантатор, заметивший ускользающего от него черного раба, или барская собака при виде нищего.

Вот из другого письма:

«...А. Солженицын оправдывает з/к Шухова, что осужден зря. Я, правда, с ним не знаком и не могу об этом судить, но как видно из книги (!), я лично считаю, что он осужден правильно».

О стукачах: *«...убивают «стукачей», и это со стороны писателя как бы заслуга заключенных. Все же знают, что такое разведчик, «стукач». В Советском Союзе этих людей уважают... Это передовые, сознательные люди, которые помогают выявить врагов... В лагерях они были из самих заключенных, которые осознали свою вину, они выявляли з/к, которые не хотели работать, предупреждали побеги и диверсии против надзирателей и офицерского состава. Если бы не было «стукачей», совершались бы побеги, а что з/к делать на воле (!), ведь ему честным трудом не прожить, значит, он будет заниматься грабежом и убийством мирных граждан».*

Есть и спокойные, «рассудительные» лагерные деятели, утверждающие, что лагерь есть лагерь, а не курорт, и все так и должно быть, и что теперь, после Сталина, режим в лагерях стал не легче, а даже суровее в некоторых отношениях. Правда, говорят они, есть одно, по-видимому, *небольшое различие:* тогда сидели невинные, а теперь их нет, но ведь это не характеризует, мол, охранников и лагерный режим.

Но есть и угрожающие письма. Вот письмо Твардовскому:

«...Много разной литературы прочитано мной и, к сожалению, больше плохого качества: уж очень много расплодилось нынче старателей от литературы, но такой дряни, которой Вы попотчевали в одиннадцатом номере журнала «Новый мир», еще не доводилось переваривать. Да, по правде говоря, и не переварилась она... И это не только мое мнение — много нас таких, и имя нам — легион».

Это солидная фигура, по меньшей мере крупный сталинский прокурор, привыкший чувствовать себя хозяином земли русской и помыкать даже литературой («уж очень много расплодилось нынче...»), то есть помпадур, которому ничего не стоит «сжечь гимназию и упразднить науки». Но по своему грязному невежеству (хорошее выражение Достоевского), не заглянув

никогда в Евангелие, гражданин прокурор не знает, что обозвал себя и своих единомышленников... свинячими бесами. «Имя нам — легион», — так именно называли себя бесы, покинувшие человека и, с разрешения Христа, переселившиеся в свиней. На сей раз устами палача глаголет Истина.

2. «БЕСНОВАТЫЕ». Впрочем, многие читатели, в том числе и бывшие зэки (!), напоминают евангельских бесов или бесноватых. В самом деле, тех корчило при приближении Христа, в котором они чуяли Праведника. Они начинали вопить: «Оставь, что Тебе до нас... Ты пришел мучить нас...»

Нынешние бесноватые корчатся при чтении «Ивана Денисовича» и вопят: «Не надо, не надо! Зачем? Отойди, молчи!...» Они инстинктивно бятся правды, ее целебного эффекта. Вот пишет бывшая заключенная:

«...Я бы не напечатала. Да, да! Даже несмотря на красивое предисловие тов. Твардовского. Я прекрасно знаю, что это не выдумка, что все это жуткая правда, что в печати это освещено еще мало. Я была в лагере... поэтому все это хорошо знаю. Печатая «Ивана Денисовича» и ему подобное, мы только даем лишний козырь в руки реакционной печати, которая может показать, что режим в наших лагерях был близок к режиму фашистских лагерей. Зачем и кому это нужно?... Изъян на собственном теле стараешься как-нибудь и чем-нибудь прикрыть, а не выставлять напоказ... Мы имели жуткую язву на теле нашей Родины. Так не лучше ли ее несколько прикрыть, а не выставлять напоказ всем на обозрение... Все давно прошло (!). Люди выстоявшие вернулись к семьям и творческому труду. Но зачем молодежь на этом учить?»

Все эти аргументы в точности повторяют не только палачи, но и бывшие *зэки*, у которых это уже является проявлением бесноватости, именно — боязни исцеления от душевного недуга, от внутренней опухоли, «камня» беса. Это — бегство с истерической руганью от целительной правды.

«...Удовлетворены ли Вы, что Ваша рукопись опубликована?... Это ли было Вам нужно? Чего же больше — Зла или Добра Вы сделали сейчас? Понимаете ли, какую борозду глубокую пропашет в душах не литературных, а нормальных ребят наших каждая строка этих воспоминаний?»

Умилительна эта трогательная родительская забота о молодежи, которую нужно оградить от правды.

Еще сильнее корчит тех же читателей от языка «Ивана Денисовича». Люди, за много лет питания казенной многотиражной литературой давно потерявшие слух и вкус к русской поэзии, кричат:

«...Это невиданное по своей дикости словоблудие... издевательство... Я не могу говорить по этому поводу сдержанно и спокойно. Да разве об этом можно говорить без негодования и протеста?»

«...Это настоящая нечистоплотность языка человека, вообразившего, что он так может писать... Следует рекомендовать этому Солженицыну, вместо того, чтобы писать, пусть лучше читает на сон грядущий «За далью даль», особенно обращая внимания на главу «Так было».

Автор этого письма добавляет о себе:

«Это... боль души человека, любящего язык и родную литературу, обожающего всю свою сознательную жизнь А. С. Пушкина, его великие творения».

Характерно, что наиболее резкое беснование вызывает именно язык, где читатели явственно подвергаются воздействию ритма рассказа. Например, автор первого из цитированных выше писем, «разоблачая» Шухова как эгоиста и т. д., еще сохраняет видимость нормального полемического стиля, но, говоря о языке Солженицына, уже не может сдержаться и начинает браниться:

«...И за каким дьяволом понадобилось Вам такое махровое выдрючивание!»... «Словесные гадости» и т. д.

Следует уточнить, что нападки на язык Солженицына идут по двум линиям: во-первых, нападки на стиль и словотворчество автора (один автор даже назвал его футуристом) и, во-вторых, — особенно резко — на «блатные» слова.

Палачи, следователи, прокуроры, спокойно «паявшие» полумертвым невинным людям после пятнадцати-двадцатилетней каторги очередную «десятку», не выносят «грубых» слов в рассказе о лагерях. Обижаются, волнуются, вопят... разумеется, все это из боязни «развращения» молодежи.

Следует еще отметить у некоторых читателей тенденцию

поучения, командования писателем и даже всем искусством вообще:

«...Покажите, что нет у этих людей личной обиды, и живут они, движимые большими чувствами...»

«...Этим критерием (доступности), по моему мнению, и должны руководствоваться в своем творчестве все работники искусства, в том числе и литераторы».

Точное знание того, о чем *«должен писать»* каждый писатель (и «все работники искусства») — это, конечно, результат многолетнего чтения «Литературки».

3. ПЕЧАТЬ. Поскольку случилось так, что «Иван Денисович» был сразу же одобрен высочайшим начальством, то, естественно, что вся печать тут же, наперегонки расхваливала его. Опомнились несколько позже, так что пришлось уже пускать в ход запасное оружие: замалчивание, а основное оружие — облаивание — применять только к другим рассказам Солженицына.

Есть, впрочем, одно исключение: «Комсомольская правда» осмелилась не пойти на поводу у начальства и ни разу «не замаралась» об «Ивана Денисовича» — ни разу даже не произнесла этого сакраментального имени, попросту скрыла его от своих читателей. Она одна устояла на ногах, когда были повергнуты на колени все органы печати. Может быть, это опять-таки заботливое «ограждение» молодежи, а может быть, просто дальновидная газетка хочет всех перехитрить, и когда все отрекутся от Солженицына (а это «бу́ди, бу́ди»), получить право выпятить живот, ткнуть указательным пальцем, расхохотаться: «Дурачье! Растерялись!..» И однажды, в феврале-марте 1963 года, казалось, что этот сладчайший миг наступает, чуть-чуть не наступил... Газетка уже начинала рычать на Твардовского и на «Новый мир»... Но что-то не сработало... Что ж, старенькая, многоопытная молодежная газетка будет терпеливо ждать и, вероятно, дождется скоро...

Впрочем, может быть, дело здесь еще в тенденции сохранить наметившуюся странную традицию перехода лидера комсомола на должность министра КГБ. А всему миру известно, что руководить ведомством государственной безопасности могут только люди надежные, консервативные, не имеющие ничего общего с подрывателями полицейских основ, как тюрьмы и ла-

геря, и вообще с либеральными болтунами, вроде «Литературки», которая то и дело получает затрещины то в мозолистую задницу, то в заплеванную морду. Но ей-то что! Ведь какой-нибудь Чаковский или Ермилов не метят в министры КГБ...

4. ПИСАТЕЛИ. Кроме немногих «стариков», «в гроб сходя, благословивших» Солженицына, вся остальная писательская масса с ужасом почувствовала то, что почувствовал гоголевский колдун, когда всадник на Карпатах схватил его и поднял над бездной:

«...Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи».

До ноября 1962 года они могли еще как-то считать себя литературными «колдунами». Но в момент выхода «Нового мира» с «Иваном Денисовичем», они мгновенно умерли, хотя и осталась слава, у некоторых всемирная, миллионные тиражи и доходы, автомобили, виллы, почести. Гоголь, великий знаток мертвых душ, с потрясающей силой и точностью сказал об этих «колдунах»:

«Но уже был он мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галичской, и от Карпат, как две капли воды схожих лицом на него...»

Вот, оказывается, где настоящий соцреализм: в гоголевских кошмарных образах, а не в кошмарной «оптимистической» лжи Бабаевских и Сурковых. Такова призрачная, трупная жизнь этих писателей. Они устраивают и еще долго будут устраивать «семинары», где обучают молодежь писать по их образцам, «симпозиумы», где болтают со своими иностранными приятелями, сами разъезжают и пишут, пишут... Но все это призрачно. Жизнь ушла. Все это происходит уже на «том свете» Твардовского. Они растерялись до смешного, раскрыли рты, как глупая баба при встрече с губернатором, забыв даже поздороваться. Да, уже в течение полутора лет у них не хватает духу просто познакомиться со своим новым прославленным собратом. Они избегают его, молчат о нем, может быть, плачут на грудях у своих любовниц, стараются не издавать его, не замечать, но сами же чувствуют, как все это глупо. Только немногие, самые тупые и лакейские души из них, соглашаются еще иногда тяв-

кнуть на Солженицына из грязной подворотни «Литературки», но и они чувствуют, как это стыдно. Другие же — писательские бонзы — пытаются за кулисами рядиться в мундир графа Бенкендорфа, а братии поменьше не дают покоя лавры Греча и Булгарина. А ведь все они, как будто совсем недавно, в старших классах средней школы (как время-то бежит) получали пятерки по русской литературе за то, что бойко и гневно разделывали под орех этих жандармов, которые душили русскую литературу, свободное слово, Пушкина!.. И еще получали пятерки за сочинения на тему о «Портрете» Гоголя. Потом выросли и уже сами, своими словами, писали, печатали и читали лекции об этом. Как время бежит... И куда девалось дыхание, свежее дыхание, чистый воздух? Ничего этого нет. Есть только свиное рыло.

Мгновенную смерть литературных «колдунов» ощущают и некоторые писатели. Так, писатель Г. Бакланов писал в «Литературке», что после «Ивана Денисовича»... «становится совершенно очевидно, что писать так, как писали еще недавно, нельзя уже». А Твардовский заявил на симпозиуме с иностранными писателями, что «ни одно литературное явление уже не может быть рассматриваемо без сопоставления с этим художником».

И то и другое означает по существу, что появился живой писатель, и с этого момента уже нельзя жевать мертвечину.

Впрочем, нельзя сказать, что писатели из живых стали мертвыми в один миг. До этого смертельного сдвига, скачка, они долго гнили, эти инженеры человеческих душ, и сгноили целые пласты русской литературы. Сколько они опошлили, сгноили за много лет одних только хороших русских слов! — раздумье, взволнованный, идейность, труженики («труженики совхоза» и т. д.), «полюбившийся народу», общественность, вождь, принципиальность, чуткость и много, много других слов, которые для человека с нормальным слухом невыносимо теперь ни читать, ни писать в их прямом смысле. Как не вспомнить «словесный гной» Иудушки Головлева!

Впрочем, некоторые слова устояли, не сгнили, например: коллектив, патриотизм, родина, трудящиеся и др. Справедливость требует отметить, что дореволюционная литература и интеллигенция, в свою очередь, опошлили немало высоких слов: истина, красота, добро, возвышенный идеал, духовность и другие. Любопытно, что эти «подгнившие слова» как будто проветрились, отдохнули без употребления и в настоящее время на-

чинают звучать свежо и полнозвучно. Может быть, и всяким «раздумьям», «взволнованностям», и т. п. тоже удастся отдохнуть и когда-нибудь восстановиться...

Мертвые писатели и все прочие представляемые ими мертвые души хотят ни более, ни менее, как покончить с «лагерной» тематикой. Промелькнула, дескать, такая эпизодическая «модная» тема, и хватит. Незачем копаться в старом грязном белье. Вернемся лучше к описанию нашего чудесного *завтра* (тоже протухшее словечко). Но это — безумное желание. Покончить с этой «тематикой» можно только покончив с русским народом. Ибо нет и не может быть для русского народа более важной тематики, чем точное знание постигшего его исторического зла, чем тщательное изучение вредоносных сил, нанесших его душе такие страшные раны, чтобы отражать эти силы в будущем, как изучение болезней, необходимо для борьбы с ними.

Много статей будут писать по этой «тематике». Будут великие писатели и великие эпопеи. Это будет очередной вклад русского народа в мирную духовную жизнь. Но никогда не забудет мир великую битву на дне человеческой души в сталинских концлагерях против всех торжествующих дьявольских сил зла, лжи и смерти, не забудет тех мужественных одиночек, которые победили в этой битве, мертвые и живые, и тем спасли душу человечества, и среди них с благодарностью будут вспоминать первого живого вестника победы — *Александра Исаевича Солженицына.*

7. ШУХОВ

Некоторые читатели сентиментально любуются им и готовы приписать ему несуществующие у него добродетели. Другие же, их тех, кто учился читать книги в сталинскую эпоху, разрезают Ивана Денисовича на отдельные черты, «стороны», качества, клеют на них ярлыки, подсчитывают и говорят: эгоист, приспособленец, работающий только для «пайки», не думающий о ближнем. Особенно свирепствует в этих обвинениях читатель типа «гражданина надзирателя», сталинского следователя или прокурора, утробно ненавидящий Шухова за один его вид, как убийца (человек или зверь) ненавидит свою жертву.

Да, сталинская эпоха создала и своих писателей и своих читателей.

Кажется, непосредственно для всех очевидно, что Шухов — простой русский человек. Но мало того, он тщательно продуманный и прочувствованный автором тип, *представитель* основной, коренной — в геологическом смысле, так сказать, «материковой» породы русского народа. Не всего народа, а именно его «материка», толщи.

Он не представляет ни русской интеллигенции, ни цвета народа — духовных вождей, произрастающих из него, как из почвы, но духовно формирующихся и зреющих под воздействием высоких духовных сфер и, в свою очередь, духовно формирующих народ.

Шухов — современный продукт многовековой древнейшей, а также тысячелетней христианской культуры целого народа.

Он еще мало индивидуализирован. Его личность, «Я», еще слабо выделилась из народного «Я», народной души.

Он морально устойчив, но его моральность — народная, инстинктивная, не вполне его личная в том смысле, что она еще не прошла через его личность, не вызывала у него никогда сомнений внутренней борьбы, размышлений и кризисов и поэтому может быть совращена, соблазнена.

Он тяжело страдает как человек и семьянин, но в меньшей степени от унижения его личного и гражданского достоинства, а также от общей несправедливости, чем, например, Буйновский. Для Шухова «номера не весят».

Именно народность, стихийность морали Шухова придает ей и стихийную устойчивость, и он, возможно, менее охотно пойдет на стукачество и вообще предательство (неприемлемое для него «бережение на чужой крови»), чем иной неустойчивый интеллигент, носящийся со своим «Я». Да еще вытащит Шухов иного такого интеллигента, как котенка из беды, как многократно выручал он растерявшегося Цезаря, например, спасая его продукты во время вечерней проверки, причем делая это с достоинством, ловкостью и с некоторой душевной и телесной грацией.

Но нельзя идеализировать эту народность Шухова. Из-за слабого развития мышления и личной нравственной свободы шуховская мораль достаточно примитивна и не в состоянии служить перспективой и образцом для человека, вырабатывающего свое научное мировоззрение. Шухов охотно и убежденно стремится опередить других в борьбе за существование, спи-

хивает свои неприятности на других зэков, безжалостно сгоняет в столовой со скамьи обреченных «доходяг», вырывает поднос из рук другого зэка и т. д. Хитрит даже со своим напарником Кильгасом («отвес прежде Кильгаса захватить»). За подобные качества ему нравится и Гопчик-«плутишка», умеющий ловко утянуть поднос у зазевавшегося зэка.

Разумеется, кто сам себя не испытал в подобных обстоятельствах, не имеет права читать Шухову мораль, но дело в том, что Шухов бессознательно убежден в своем беспощадном праве, ему чужды сомнения и сожаления. Он не сочувствует неудачникам («пусть не зевает»). Его полностью устраивает то, что на тяжелое строительство Соцгородка послали другую, *«нерасторопную бригаду»*, и ему не приходит в голову просто пожалеть её. Правда, к уважаемым им работягам — Сеньке, Алешке — «недобытчикам», он добр и щедр, он отрывает от себя и дарит им щедрые в тех условиях подарки — окурок или кусок печенья.

Важнейшая истинно народная, жизненная черта Шухова — это органическая привязанность и любовь к честному труду, да еще связь с землей. Отсюда же проистекает, в основном, и его нравственность и честность. Его страсть к труду достаточно ярко показана при описании работы на ТЭЦ. О тоске же по честному крестьянскому труду и ненависти его ко всякой халтуре, к пресловутым коврам, рассказано прекрасными словами:

«...А разбередили его эти ковры...

Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»[1])

---

[1]) Стр. 24. Цитируется по журналу «Новый мир» № 11, 1962 г. В дальнейшем будут указаны только страницы.

«...Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».[2])

Уже промелькнуло в критических статьях об «Иване Денисовиче» имя толстовского Платона Каратаева, причем как-то готовым ярлыком (для отмежевания) — «каратаевщина». Между тем, сравнение этих двух народных персонажей интересно и поучительно, и да будет эта тема вдохновлять грядущих диссертантов.

От Каратаева до Шухова около полутора веков. Каратаев — крепостной солдат, в плену у Наполеона, Шухов — советский солдат-патриот, в плену у своих, у Сталина: обстоятельство, до какого не могли бы додуматься в былые времена даже такие врали, как Ноздрев или Мюнхгаузен. Каратаева не мучают, французы относятся к нему добродушно, и только тогда, когда их захватывает «оно» — военная дисциплина, треск барабанов, «та таинственная безучастная сила, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных», они становились бездушны и жестоки, и «обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями её, было бесполезно». Но всё же солдаты, пристрелившие по долгу службы на дороге больного отставшего Каратаева, «были бледны».

Шухову гораздо труднее. Его много лет подряд третируют свои, мучают голодом и непосильной работой. Он живет «об землю рожей», у его надзирателей, «попок», начальников режима и прорабов всегда присутствует «оно», и любой конвоир застрелит его за «шаг вправо, шаг влево», не побледнев, а покраснев от злости.

Но есть у этих двух сынов народа общие истинно народные черты. Интереснейшая из них — это полуинстинктивное мастерство на все руки. Каратаев шьет рубашки и ботинки, научившись этому, по-видимому, примерно так же, как ласточка научается вить гнездо. Движения его круглы, инстинктивно изящны и бездумны. Шухов живет в век технических училищ, ФЗУ и т. д., но и он еще учился мастерству не в них, а скорее опять-таки по-птичьему, подражанием. У себя в деревне он делал печную, столярную, жестяную работу, строил рубленые избы.

«А в лагере понадобилось на каменщика — и Шухов, по-

---

[2]) Стр. 48.

жалуйста, каменщик. Кто два дела руками знает, тот еще и десять подхватит».[3])

У Шухова виртуозная, как у Каратаева, быстрота и округлость движения (например, утром на вагонке при поспешном сборе на работу) — результат восьмилетнего «всасывания в себя» лагерного быта, вплоть до образования инстинктивных, крестьянского типа навыков (условных рефлексов). Он приметлив, и глаз у него наметан значительно лучше, чем у углубленного в себя интеллигента Цезаря, которому больше всего неприятна «прерванная мысль».

По мере развития всеобщего обучения наукам и развития личности это патриархальное «птичье» мастерство разлагается, как разлагается, например, родной быт, и отмирает. Новое цивилизованное техническое мастерство усваивается уже через рассудок.

Есть еще общие черты у Каратаева и Шухова: трудолюбие и терпение, и душевная простая религиозная ясность, и отсутствие личных привязанностей к чужим. Каратаев так и не привязался лично к Пьеру, а Шухов — к Цезарю и другим.

Но всё же Каратаев выглядит ребенком в сравнении с Шуховым. Каратаев жил еще в эпоху офицерских зуботычин. Он пассивен и бесконечно покорен. У Шухова уже чувство собственного достоинства. Он не клянчит никогда ничего даже у Цезаря, который ему обязан, он в надзирательской *«...тряпку невыжатую бросил за печку... выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство...»*[4]) чего Каратаев не осмелился бы сделать даже в мыслях. И изворачиваться Шухову приходится, чего вовсе не умел Каратаев. Религиозность Каратаева полностью стихийная, почти неосознанная, у Шухова она наполовину разложилась. Он утверждает, что охотно верит в Бога («как громыхнет — пойди, не поверь») и даже молится Ему в рискованную минуту на шмоне, но не признает попов, рая и ада. Он религиозный «ревизионист», вера его расшатана. В соседе своем, горячо верующем Алеше, ему больше всего импонирует, что тот свою записную книжечку с переписанным в нее Евангелием *«...так засавывает ловко в щель в стене — ни на едином шмоне еще не нашли».*[5]) Но и веры в науку у него еще нет, он

---

[3]) Стр. 45.

[4]) Стр. 12.

[5]) Стр. 17.

суеверен, что приводит в ужас кавторанга. Шухов гнется до земли, но *не* ломается. Он остается и остается жить, как остается жить русский народ. «*...Переживем! Переживем все, даст Бог, кончится!*»[6])

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что Господь ни пошлет!..

8. АЛЕША

Два любимых сына у русской матери: старший — земной, материковый, плотский, он кормит, одевает, приют дает; младший — возвышенный, небесный, он радость душе дает. Без первого не прокормишься, не проживешь, без второго — солнца не увидишь, проживешь, как свинья, уткнувшись рылом в землю. Первому подобает имя Иван, второму — Алексей («Алексей — человек Божий», так же звали и младшего Карамазова). Ваня и Алеша.

Баптист Алешка полон напряженного внутреннего света и молитвенного подъема, он так сильно чувствует всегда бизость Христа, что лагерь его не смущает. Мало того, он рад страдать за Христа.

Во время всеобщего «обмирания» перед разводом Алеша лежит «чистенький», «приумытый», читает свое Евангелие. Разумеется, он кажется внешне «чистеньким», «приумытым», потому что светится изнутри. Придя с колонной в рабочую зону, он сам смотрит на восходящее большое красное солнце

«*...и радуется, улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает — чему рад? По воскресеньям всё с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода*».[7])

А рад Алешка тому, что ощущает солнечные лучи как материальное выражение духовного света Христова.

Когда его подгоняют на работе, он только улыбается уступчиво.

---

[6]) Стр. 63.

[7]) Стр. 24.

«— Если нужно быстрей — давайте быстрей. Как вы скажете».[8])

Когда Шухов дарит ему одно печенье, улыбается Алешка: *«— Спасибо! У вас самих нет»!*[9])

И с горячей юношеской страстью он легко, с улыбкой, возносит свою девственную душу, тело, молодость, упрятанную в лагерь на двадцать лет, как теплую жертву, к престолу Того Единственного, любимого им Бога, Который так милостив к нему, что просветил его, Алешку, и не покидает никогда. Таков второй русский сын. Тот, который согревает матери душу и не дает ей окаменеть, уйти в землю. Тот праведник, без которого (еще в большей мере, чем без Матрены)

«...не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».[10])

9. ФЕТЮКОВ

«Это был из последних бригадников, поплоше Шухова». Он — «шакал», потерявший человеческое достоинство. Когда Цезарь курит, «он ему в рот засматривает, и глаза горят». Потом он не выдерживает:

«— Цезарь Маркович! — ...прослюнявил Фетюков. — Дайте разок потянуть!»[11])

И Цезарь дает окурок... но не ему, а Шухову, который доволен не столько за себя, сколько потому, что безжалостно «Фетюкова-шакала пересек».

Фетюков вынужден собирать грязнейшие окурки. Он

«...в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил».[12])

У него

«...на воле детей трое, но как сел — от него все отказались, а жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда».[13])

---

[8]) Стр. 45.

[9]) Стр. 74.

[10]) «Матренин двор», «Новый мир», № 1, 1963 г., стр. 63.

[11]) «Новый мир», № 11, 1962 г., стр. 19.

[12]) Стр. 30.

[13]) Стр. 26.

Его презирают и унижают, может быть, ещё особенно за то, что был «начальством». Поначалу он пытался покрикивать на кавторанга как на новичка, «но кавторанг ему двинул в зубы раз, на том и поладили». Затем уже кавторанг командует им: поднимает за шиворот «*...и к носилкам пихает: — Иди песок носить, падло!*»[14])

«*...с каждыми носилками кавторанг становился расторопнее, а Фетюков все ленивее: идет, сучье вымя, носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтобы легче нести.*

Костыльнул его Шухов в спину разок:

— У, гадская кровь! А директором был — небось, с рабочих требовал?»[15])

Увы! Директорский пост с ездой на машине только разложили нравственные и физические силы Фетюкова.

«*— Бригадир! — кричит кавторанг. — Поставь меня с человеком! Не буду я с этим г....ком носить!*»[16])

Силы Фетюкова угасают. Ему тяжелее, чем всем другим, он уже лижет миски, но никому, по-видимому, и Алеше, в голову не придет не только физически поддержать его хотя бы окурком или половиной закошенной миски баланды, но даже просто пожалеть его. Наоборот, его страдания вызывают злорадство, даже если он страдает от руки начальства:

«*Помначкар со зла его по шее, Фетюкова*».[17])

«— Правильно!» — восклицает автор в лице Шухова.

Таковы законы погибели в лагерном обществе, с документальной точностью показанные нам автором. Зэк не оторвет от себя для Фетюкова и вообще для «доходяг» не только окурка или рыбьего скелетика, но и кусочка человеческого чувства, который тоже пригодится себе самому для поддержания своих собственных душевных сил («подохни ты сегодня, а я завтра»). Кто не поверит автору и захочет после сытного обеда вступить в моральную дискуссию с ним или с зэком, пусть вспомнит хотя бы одно литературное свидетельство. Пусть вспомнит Пьера Безухова со всем его высоким духовным развитием, который, имея достаточно физических сил, стал избегать подходить к Каратаеву, как только тот безнадежно заболел в дороге,

---

[14]) Стр. 31.

[15]) Стр. 44.

[16]) Там же.

[17]) Стр. 53.

хотя раньше Пьер занимал душевной бодрости у того же Каратаева и носил башмаки, сшитые для него тем же Каратаевым. Пьер *«испугался своей жалости к этому человеку...»*. Когда Каратаев перед смертью подзывал его к себе, *«Пьеру слишком страшно стало за себя. Он сделал так, как будто не видел его взгляда, и поспешно отошел»*. А когда французы застрелили отставшего Каратаева, Пьер и другие солдаты не оглянулись. Они бежали от смерти за жизнью.

Но нет, наш автор не остается и не оставляет нас на этом уровне. В конце он пожалел все-таки Фетюкова. Вечером, когда зэки собрались в бараке на своих вагонках, —

«Прошел по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя и слез своих не скрывая, прошел мимо всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас.

Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить».[18])

Вот и всё. В осажденном погибающем городе не плачут ни над убитыми бойцами, ни над агонизирующими женщинами и детьми, и пищу берегут для воинов. Жалость выражают сухо, сдержанно, по-солдатски.

Но вот нашелся в 1964 году критик В. Лакшин, апологет повести, её автора и её положительных героев («Иван Денисович, его друзья и недруги», «Новый мир» № 1, 1964), который до того полюбил Шухова и Буйновского, что стал вместе с ними ругать Фетюкова шакалом и даже топать на него ножками:

«Шакал Фетюков и в бригаде «придуривается», старается прожить на чужой счет. Прежде Фетюков в какой-то конторе большим начальником был, на машине ездил, а теперь он — одна обуза для 104-й. Ставит его бригадир носилки с раствором носить — на это ума вроде не надо. Но Фетюков и тут ловчит, носилки тихонько наклоняет, раствор выхлюпывает, чтобы легче нести».[18а])

Ума действительно не надо, чтобы поднять и нести носилки с раствором по скользкому трапу наверх. Но для этого нужна, тов. Лакшин, физическая сила и трудоспособность. А у Фетюкова её нет, понимаете, нет! Он — бывший служащий, как мы с Вами, он не втянут в физический труд, как крестьянин

---

[18]) Стр. 67.

[18а]) «Новый мир», № 1, 1964 г., стр. 240-241.

Шухов или моряк Буйновский... Мало того, те же Шухов и Буйновский на Ваших же глазах неплохо прикармливаются, а Фетюков сидит на самой низшей пайке, и, к Вашему же и шуховскому злорадству, никто не дарит ему ни одной крошки пищи, и спасения ему нет, ибо жена и дети бросили его, отказались от него. Читайте внимательно:

«Утром только этим зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить — упарится, свалится».[19])

А ведь поднимать носилки с раствором — несравненно тяжелее, чем быстро ходить. Поднимая их, Фетюков чувствует, что вибрируют руки, болят почки, затылочные позвонки и связки, темнеет в глазах, пальцы разжимаются, и, чтобы не выронить носилки, он должен что-нибудь сбросить, хоть немного раствора слить, — может быть, еще раз удержится — не упадет. Испытывали ли Вы что-нибудь подобное? И будьте уверены: скоро он выронит носилки, ибо ему уже будет все равно — сколько и куда будет его бить бригадир — наш уважаемый Тюрин. Ваши друзья-бригадники цепляются за борта разваливающейся «телеги жизни» и спихивают с неё обреченного Фетюкова и других доходяг, чтобы облегчить телегу и как-нибудь доехать. И Вы туда же с ними! Вам тоже, как и крестьянину Шухову, не нравится Фетюков, который прежде был начальником и на машине ездил; вот Вы какой рабоче-крестьянский критик! Поездил на машине — теперь подыхай, падло, на каторге! Ведь другой вины за Фетюковым нет! А ведь, скажем, Ваше «начальство» А. Т. Твардовский, наверно, тоже разъезжает на машинах (и, кстати, говорят, что и его чуть не посадили тогда — ведь он был достаточно талантливый и порядочный человек, чтобы сесть)? Что ж, и он не заслужил бы сочувствия при таких обстоятельствах?

Ведь на поверку оказывается, что Фетюков настолько прост, что не сумел в лагере устроится придурком, вроде Цезаря или Дэра, и, голодая, не паразитирует, не ворует и не «стучит». Вы соблазнились словом «шакал» и стали тоже дразнить им Фетюкова. А что такое шакал? — позвольте Вас спросить. Это — нищий среди нищих лагерников, это тот, которому не подают *ничего*, даже мимолетного сочувствия. Обзывают его другие шакалом, отталкивают и бьют для того, чтобы обмануть соб-

---

[19]) «Новый мир», № 11, 1962 г., стр. 54.

ственную человечность, свою мучительную жалость к обреченному: *мол, сам виноват,* шакал, падло, не умеет себя поставить, смотрит другим в рот.

И самое стыдное для Вас — это то, что Шухов, вечером придя в себя, всё же пожалел Фетюкова: «Разобраться, так жаль его». Шухов в лагере разобрался, а вот Вы на воле, в тепле — не разобрались! Плохо Вы прочитали рецензируемое произведение. Вы, конечно, не хотите, чтобы Вас называли «черносотенцем». Вы хотите войти в грядущее царство человечье на земле, пишете в журнале «Новый мир», который мужественно, но еще слабым ручонками борется за знамя этого царства.

А для этого надо научиться при всех обстоятельствах быть человеком. Запомните хорошее завещание, оставленное нам умирающим благородным рыцарем Ланселотом:

«Эй, вы! Не бойтесь. Это можно — не обижать вдов и сирот. *Жалеть друг друга тоже можно.* Не бойтесь! *Жалейте друг друга.* Жалейте — и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, чистая правда, самая чистая правда, какая есть на земле».

10. МУЧЕНИЯ И УНИЖЕНИЯ

В повести показана широкая картина физических мучений заключенных. Многолетний голод. Бесплатный принудительный труд голодных людей на лютом холоде. Бесконечные шмоны на морозе, иногда босиком на снегу. Избиения, страшный БУР. Безжалостное по-звериному начальство, которое только и думает, чем бы еще досадить зэку, например, под каким бы предлогом отнять у него законный воскресный отдых. «Больше всего им, наверно, досаждает, если зэк спит после обеда». Но особенно широко показаны нравственные страдания, унижение человеческого достоинства заключенных.

В повести приведен обширный словарь чинов и титулов зэка: падло, сволочь, блевотина, паскуда, ..яди и т. д. — около двадцати званий.

«Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят, — огрызается надзиратель на Шухова, моющего пол. — Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить».[20])

---

[20]) Стр. 13.

Заключенный обязан

«...перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть».[21])

Плохо считающие, малограмотные надзиратели и конвоиры отнимают последний покой у зэка бесконечными проверками, пересчитываниями их днем и ночью, сопровождаемыми хамскими окриками, мордобоем, сажанием на снег и т. д.

В строю зэки обязаны держать руки назад.

Зэк бесправен. Оскорбить, избить, погубить его может не только любой надзиратель, но даже любая «сволочь хорошая» из зэков: десятник Дэр, какой-нибудь «дневальный», вроде Хромого, или разбойник — старший барака, орущий

«— Вам дрына, падлы?»[22])

Бесправие зэков основывалось на устрашающей лжи: будто все эти миллионы невинных каторжников являются «врагами народа» или шпионами не «снарошки», а на самом деле, чему обязаны были верить все охранники (да и весь народ) и соответственно злобно относиться к зэкам.

Автор описывает один лагерь, но не забыл уточнить, что в этом лагере еще «жить можно». Что здесь поспокойней, и что были на севере лагеря, где зэки работали

«...— на лесоповале, да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остается на ночь в лесу.

Уж заполночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес».[23])

К тому же гарантийка была там еще на сто граммов ниже. Но не упоминает автор и о более страшных вещах: на Колыме заключенного, выполнившего норму менее, чем на 25% иногда... расстреливали — за «саботаж».

Мы уже видели, что у автора почти нет слов жалости к зэкам. Глаза его сухи, он не плачет над гибнущими. Но глубоко внутри его былины, в её ритме, спрятан крепко сжатый бушующий огонь негодования благородной человеческой крови. И все-

---

[21]) Стр. 15.

[22]) Стр. 73.

[23]) Стр. 33.

го только в двух-трех местах вырываются наружу вздохи горящего сердца:

«Вот этой минуты горше нет — на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь...»[24])

«Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?»[25])

«...Пропал вечер!.. Молдаван проклятый. Конвой проклятый! Жизнь проклятая!»[26])

Вот и почти все слова жалости и сочувствия.

За много лет заключения человек начинает терять веру в свободу. Дом, семья отошли в туманное прошлое. Идти «домой» означает идти в лагерь, в барак. Писать жене — не знаешь о чем. О своей жизни в лагере — нельзя. И выходит — *«Сейчас с Кильгасом, латышом, больше об чем говорить, чем с домашними»*. Да и *«жизни их не поймешь»*.[27])

Весь этот лагерный режим надругательства над человеком является лишь концентрированным отражением всего сталинского режима лжи, унижения человеческого достоинства, запугивания, страха. В сталинскую эпоху советский гражданин мог в любой момент подвергнуться «шмону» — физическому или политическому с раздеванием и ощупыванием, он боялся тюрьмы, боялся встречи с «надзирателем»:

«Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком... Нет уж, за углом перестоим».[28])

Советский человек, особенно интеллигент, ощущал, как Блок, что «двери открыты на вьюжную площадь».

Такова общая картина.

Но и отдельные детали повести можно рассматривать как прямые зашифровки определенных сторон жизни из эпохи Сталина. Важнейшая из этих сторон — фантастическая растрата, расхищение материального и духовного достояния, какой-то грандиозный общегосударственный онанизм. Нечто подобное

---

[24]) Стр. 18.
[25]) Стр. 33.
[26]) Стр. 53.
[27]) Стр. 23.
[28]) Стр. 14-15.

выпуску из гигантской цистерны с трудом накопленного горючего и поджогу его на потеху ведьмам. А последствия этого шабаша, увы, не могут быть ликвидированы так скоро, как хотелось бы.

Рассмотрим отдельные детали этой картины.

11. ЭКОНОМИКА

В основе грандиозной организации лагерей — ГУЛАГ — несомненно, лежала не только карательная или истребительная идея, но еще и примкнувшая к ней (по-видимому, со времен строительства Беломорканала) «гениальная» экономическая идея великого отца, учителя и вождя всего прогрессивного человечества: построить коммунизм руками врагов народа, при помощи их бесплатного принудительного труда. Идея, безусловно потрясшая сердца эмгебешников своим столь понятным величием, справедливостью и простотой. Наконец-то им, простым хватателям за горло, дано было ощутить совсем близко дыхание гениальности. Все эти буржуи, кулаки, попы, баптисты, шпионы, меньшевики, оппозиционеры и т. п. не просто будут отбывать законное наказание или подыхать, но, искупая свою вину, будут одновременно строит экономическую базу коммунизма для всех честных людей и даже для... себя и своих детей... воистину красивая, почти гуманная идея!

И пошло́.

Если в нормальном обществе приходится, исходя из имеющегося контингента преступников, организовать для них в соответствующем объеме каторжные работы и тюрьмы, то здесь получилось наоборот: исходя из имеющихся планов грандиозных работ по индустриализации всего Севера, строительству каналов и т. п. организовать соответствующие многомиллионные контингенты преступников — врагов народа. Правда, уже в начале 30-х годов настоящие враги народа, то бишь Сталина, практически полностью перевелись. Но не может же быть пересмотрено хоть одно слово из «единственно верного» учения великого отца и учителя. И начинается дружная дьявольская работа по созданию десяти-пятнадцати миллионов «врагов народа» из невинных людей, вплоть до искренних друзей Сталина.

И вот в XX веке внутри самого передового социалистиче-

ского государства организуется другое — замкнутое рабское государство принудительного труда в масштабах, превышающих, по-видимому, древние рабовладельческие империи, но со всеми современными атрибутами, начиная от механизированных шахт и вплоть до тюремных научно-исследовательских институтов, где ученых рабов принудительно заставляли делать научные открытия, изобретать и двигать вперед новую технику.

Разница между ГУЛАГом и древними рабовладельцами была та, что последние берегли рабов, их рабочую силу как созидательную, ГУЛАГ же относился к своим рабам, как к врагам, хищнически эксплуатировал их, истощал, истреблял, затаптывал (буквально) в шахтах Колымы и Воркуты.

Нельзя сказать, что рабочая сила заключенного была дешева, она была бесплатна, а точнее — заключенный обладал отрицательной стоимостью как враг народа, и всего желательнее было просто истребить его, между тем как древний раб был довольно дорогой вещью, как и крепостной.

Оставим пока в стороне мораль (её не было ни в ГУЛАГе, ни у Сталина) и взглянем на вопрос с чисто экономической точки зрения, для которой, как известно, морали не существует (как принято считать).

Оказывается, что люди, зубрившие всю жизнь Маркса, забыли, что принудительный труд старых общественных формаций давно упразднил сам себя экономически за *невыгодностью*, и восстановление его есть немыслимый, чисто экономически, анахронизм.

И анахронизм этот жестоко отомстил за себя. Что из этого получилось — хорошо показано в повести.

Прежде всего невероятно низкая производительность труда. Дело в том, что, оказывается, человек XX века не хочет работать принудительно (даже несмотря на то, что на воротах лагеря написано «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства»), и приходится заставлять его силой, а для этого нужно содержать гигантский аппарат принуждения.

Работают бесплатно голодные, больные зэки, а за их счет живут сытые, здоровые надзиратели и конвоиры, которые стерегут их и мучают; живут и объедают их бесчисленные придурки в лагере и во всей гигантской иерархии выше, вплоть до министерств, все те, кто ничего производительного не делают, а только «смотрят», как метко сказано в повести:

«...Монтер копается, прораб смотрит. Это — как положено: один работает, один смотрит».[29])

И ясно видно, что если ликвидировать этих «смотрящих», в том числе конвоиров (которым бессмысленная служба в лагере тоже «не масло сливочное»), а их питание и обмундирование отдать работягам, то незачем будет тех стеречь — они добровольно приедут на эти работы и будут работать свободно и производительно — так, как это делается теперь, и прекратится фантастическая растрата народных трудовых ресурсов из-за низкой, почти нулевой производительности труда, отвращения к труду и хищнической растраты времени, описанной в повести. Вспомним, что полдня ушло у бригадира на закрытие процентовки, ибо *«от процентовки больше зависит, чем от самой работы»*.

А сколько времени тратится на хождение на работу и обратно, на шмоны и прочие бесконечные помехи! *(«Ну, скажи, Ваня, если б начальство умное было — разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?»)*[30])

Гнилая организация работ сама вызывает и поддерживает хищения, делает их необходимыми. Зэки рубят на дрова ценный строительный материал, чтобы не замерзнуть, ибо начальство не удосуживается обеспечить их другим топливом. Мало того, зэки носят эти дрова к себе в бараки, а конвой... не препятствует этому, ибо часть краденых дров зэки отдают ему.

А вот организация питания в рабочей зоне:

«С утра... получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверно, грамм по пятьдесят... получается немногим меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает нести ш е с т е р к е... лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за счет работяг. Воду принести, дров, печку растопить... тоже работяги да доходяги — и им по порции, чужого не жалко... Чтоб мисок из столовой не выносили — ставят ещё нового шестерку на дверях... надо еще... сборщика пустить: миски собирать грязные... И тому порцию. И тому порцию...

Дошла каша — сейчас санинструктору: ешь от пуза... Тут

---

[29]) Стр. 45.

[30]) Стр. 28.

дежурный бригадир приходит... пробу снимать... Бригадиру дежурному — двойную порцию.

Тут и гудок. Тут приходят бригадиры в черед, и выдает повар в окошко миски, а в мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей крупы — не спросишь и не взвесишь, только сто тебе редек в рот, если рот откроешь».[31])

И ясно, что действия повара диктуются прямой необходимостью, иначе ему не выкрутиться с кормлением придурков и начальства, ибо в тупых инструкциях ничего не предусмотрено, а продукты обворованы уже в высших инстанциях.

Так же разворовывается и хлеб, ибо «*...честно вешая, в хлеборезке не удержишься».*[32])

Та же организация неизбежно порождает блат и взяточничество. Бригадир отнес килограмм сала нарядчику — и спас свою бригаду от гиблой работы в Соцгородке; туда погонят другую бригаду, «победней и поглупей». В столовой кормится «по списку» вся бухгалтерия по блату.

А кто посылку получает, должен давать, и давать.

«Надзирателю, бригадиру, — а придурку посылочному как не дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует, её неделю в списках не будет. А каптеру... если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам больше ущиплет... А за услуги... А банщику, чтоб ему отдельное белье порядочное подкидывал... А парикмахеру, который его с бумажкой бреет (то есть бритву о бумажку вытирает, не об колено твое же голое) — много не много, а три-четыре сигаретки тоже дать? А в КВЧ, чтоб ему письма отдельно откладывали, не затеривали? А захочешь денек з а к о с и т ь, в зоне на боку полежать, — доктору поднести надо...»[33])

Моральный же итог этой системы — духовное развращение, разложение зэков. У них разлагаются даже элементарные общественные инстинкты, чувство людской солидарности, взаимопомощи и взаимозащиты. Как бригадиры, так и отдельные зэки разобщены, воюют между собой, вырывают друг у друга из зубов крупинки жизни. Сталинский режим развивает у них

---

[31]) Стр. 34-35.

[32]) Стр. 17.

[33]) Стр. 66.

культ ненависти, доносов. Речь идет не только о должностях «придурков», «хороших сволочей», но о всей массе зэков.

«Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б арестанты друг с другом не сучились — э-эх!..»[34])

Лагерная экономика, описанная в повести, в известной мере отражает некоторые стороны сталинской экономики вообще. Работа «за палочку» в колхозе, с неизбежным расхищением, порчей ресурсов самой матушки-земли, с неизбежными липовыми процентами урожаев, которые докладывались из колхозов через районы-обкомы вверх «лично товарищу Сталину», с липовыми премиями и орденами для всевозможных «придурков» и с хронической нехваткой продуктов питания в стране, недоеданием, особенно у самих колхозников-работяг. А как хорошо изображается война между бригадами в лагере за какой-нибудь растворный ящик, отражая всеобщую снабженческую войну при Сталине, когда все хозяйственные организации — тресты, заводы и т. д. изо всех сил, при помощи толкачей в министерствах и прочих агентов, рвали друг у друга строительные материалы, сырье, оборудование, широко пуская в ход блат, взаимоснабжение, взятки — все, на что были способны их снабженцы — эти центральные фигуры сталинской экономики, девизом которых было — *достать*. На крупных строительствах, например, еще на Днепрострое, снабженцы отдельных участков воровали друг у друга целые вагоны оборудования, запутывая или подкупая железнодорожников. Такие подвиги, подобно подвигу Шухова и Кильгаса с рулоном толя, конечно, высоко ценились начальством.

А неизбежность, необходимость воровства из-за деревянных, несгибаемых систем и инструкций? Вот пример уже из наших дней. Недавно (1963) в «Известиях» была напечатана статья одного директора магазина примерно следующего содержания: Надоело читать фальшивые газетные статьи о причинах недостатков и хищений в торговой сети. Вот рядовой жизненный случай. В моем магазине вечером погас свет. Исправить проводку некому. Электромонтер имеется в райторге, но у него кончился рабочий день, он ушел домой. Магазин полон покупателей, которые могут за несколько минут растащить в темноте пол-магазина. При домоуправлении, где находится мой ма-

---

[34]) Стр. 55.

газин, имеется монтер, но у меня, директора предприятия с миллионными оборотами, не предусмотрено положением денег для оплаты подобных мелких частных услуг. Я не имею права их оплачивать. Что мне делать? Разумеется, я приглашаю этого монтера «левым» способом ради спасения магазина и плачу ему товарами или деньгами из... того же магазина, чем даю наглядный урок покрытия недостач самим же служащим.

Вся эта система хищений, потерь была увенчана системой лжи, обмана начальства по всем ступеням до самого верху (в конечном счете — обмана народа) при помощи кругового очковтирательства, липовых процентов и т. д.

«От процентовки больше зависит, чем от самой работы... С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано...

Лагерь через то (те проценты. — Д. Б.) со строительства тысячи лишние выгребает, да своим лейтенантам премии выписывает. Тому ж Волковому за его плетку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят».[35])

Да, проценты, проценты... Эти умные арифметические величины, без которых нельзя обойтись в жизни — ни в науке, ни в экономике, ибо без них невозможно правильно оценивать и сравнивать изменения в текущих процессах. Но как одиозно звучат они и поныне для уха честного советского человека — эти проценты, спутники всех бедствий! Веселые проценты выполнения плана посевной и уборочной кампаний, скрывающие голод; пресловутые проценты снижения цен при Сталине, скрывающие (а иногда и вызывающие) фактическое повышение цен; проценты выполнения планов, означающие в действительности их невыполнение; проценты всяческого роста при фактическом снижении, проценты успеваемости в школе, по сей день способствующие развалу народного образования...

Эта невинная арифметическая величина была опошлена, убита и в таком виде присосалась к советскому обществу как будто намертво.

«ЦК КПСС и Совет Министров СССР располагает данными о том, что местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы принуждают совхозы и колхозы расширять посевы одних культур и сокращать другие, увеличивать поголовье

---

[35]) Стр. 30.

того или иного вида скота только ради того, чтобы выдержать в плане показной процент».[36])

«От процентовки больше зависит, чем от работы... С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано...»[37])

12. ИЕРАРХИЯ

В лагере среди зэков, не говоря уже о «вольняшках», как в каком-нибудь феодальном обществе или в церкви, имеется сложная иерархия прав и привилегий.

На низшей ступени стоят бесправные, серые работяги-кормильцы, выше — их бригадиры и помбригадиры. Дальше идут всевозможные «придурки», которым удалось устроиться на теплых работах: работники ППЧ, КВЧ, бухгалтера, нормировщики, вплоть до парикмахеров. Все они кормятся за счет работяг и еще требуют от них взяток.

«...Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего, — парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у придурни меж собой спайка и с надзирателями тоже».[38])

Непосредственные угнетатели, например, десятник Дэр, — «сволочь хорошая», всяческие дневальные по бараку и особенно по столовой — Хромой, «дюжий, стерва», бьет березовым посохом всякого, кто без его команды лезет в столовую.

«Название — «дневальный». А разобраться — князь! — с поварами дружит!»[39])

---

[36]) Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта.

[37]) «Новый мир», № 11, 1962 г., стр. 30.

[38]) Стр. 59.

[39]) Стр. 60.

А уж завстоловой, повара́ — это такая высокая инстанция, что дружит уже с самыми заоблачными властями — лагерным начальством.

Повар — красная рожа,

«Руки у повара белые, холеные, а волосатые, здоровы».
«Завстоловой — откормленный гад, голова как тыква...»
«...силы у них немереные, мясо едят...»[40])

Эта лагерная иерархия напоминает сложную иерархическую лестницу сталинских кадров, бесконечную надстройку привилегий в отношении прав и снабжения: все эти приснопамятные закрытые распределители многочисленных рангов, «спец» и «особ», литеры «А», «Б», и т. д., вплоть до целых литерных городов. И еще больше секретных невидимых иерархий, политических и карательных, вершины которых терялись в высочайших заоблачных сферах, о которых даже знать было небезопасно.

13. ВСЕОБЩАЯ ВИНОВНОСТЬ

Каждый заключенный был опутан законами и приказами-запретами, так что в любой момент мог оказаться виновным и быть наказан. Административное «творчество» начальства направлялось сверху так, чтобы запреты проникали все глубже и глубже в быт зэков, чтобы в пределе зэку было запрещено вообще *всё*, и в любой момент его можно было бы засадить в БУР или припаять второй срок. Примеры таких запретов приведены в повести.

Запрещено было иметь тряпичные тапочки (в бараке с мерзлым полом).

Запрещено было иметь вторую нижнюю рубаху на теле этим людям, работающим на холоде. У виновников отбирали лишнюю рубаху при «шмоне» прямо на морозе.

Запрещено иметь ремни.

Запрещены ножики.

Запрещалось лежать, хотя бы несколько минут, после подъема.

Но на этих запретах не каждого поймаешь. Часть зэков

---

[40]) Стр. стр. 62, 60, 61.

может соблюсти их. Тогда тупая фантазия садиста-начальника подсказывает ему такие запреты, соблюдать которые практически невозможно.

«...Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и там дожидался, и назад — тоже строем».[41])

Виновных, конечно, оказалось много. *«Надзиратели хватали одиночек... и в БУР таскали...»*[42]) Приказ был близок к идеалу. Можно было сажать в карцер зэка за... хождение в уборную. Достигалась всеобщая виновность.

«Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но у него не вышло, пузатого... а поломался приказ. Натихую, как много шумных приказов ломается».[43])

А поломался приказ, разумеется, не потому, что кто-то постеснялся «последнюю свободу отнять», а потому, что он грозил приостановить жизнь и, главное, работу лагеря. Но что весьма характерно: такие приказы ломаются *«натихую»*. Они не отменяются формально, и в любой день прокурор или надзиратель может обвинить в его нарушении зэка, которому остается только беспомощно лепетать, что ведь никто, мол, давно уже не выполняет приказа, ведь вон, посмотрите, все ходят в одиночку, и никто не останавливает...

Так и на воле советского человека в сталинскую эпоху подстерегали дежурные обвинения в нарушении писаных и неписаных законов. Для того, чтобы жить, он должен был либо нарушить правила прописки, или правила переписки служебной или личной, либо украсть в колхозе килограмм картошки, или стащить на работе (с военного «объекта») кусок никелевой спирали для электроплитки.

Но не это было самое страшное. Была объявлена всеобщая бдительность и заведено грандиозное анкетное хозяйство. На

---

[41]) Стр. 59.

[42]) Стр. 60.

[43]) Там же.

каждого человека было записано впрок что-нибудь подозрительное: либо он был на территории, занятой белыми (хотя бы в пятилетнем возрасте), или оккупированной немцами, либо родители его были лавочниками, то есть буржуями. Иной в 1920 году хвалил Троцкого, другой сказал, что Бунин — великий писатель (в лагере могли за это дать второй срок). Третий сделал политически правоверный доклад, но сослался только на Ленина, забыв сослаться на Сталина.

А уж когда пошли многомиллионные репрессии пресловутых «врагов народа», виновность распространялась подобно цепной реакции, так, что стала подстерегать практически каждого советского гражданина. У каждого из многих миллионов арестованных оказывались виновными за близость к «врагу народа» или за политическую слепоту и недоносительство: члены его семьи, все родственники, соседи, сослуживцы, начальники и руководители общественных организаций, когда-либо давшие ему положительную характеристику, и даже члены ревизионной комиссии, обследовавшие в прошлом его работу и не обнаружившие у него никаких нарушений.

Все это подстерегало советского человека. И когда по плану бил его час, брали из бездонного запаса универсальных обвинений любую горсть, швыряли ему в лицо и хватали за горло.

«Так и вся жизнь у зэка... только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись».[44])

Многие, понимая, что они вообще всегда виноваты, ибо живут под луной, пытались спастись «на чужой крови», как лагерный «стукач» «сука Пантелеев», но и это не всегда помогало, а иногда и губило.

14. «ЗАКОННАЯ БАЛАНДА»

В повесть включена незабываемая картина, показывающая, как голодные после рабочего дня на морозе пытаются изо всех сил проникнуть в столовую. Этот эпизод — еще один из поэтических шедевров повести по своей драматической и ритмической силе. На крыльце стоит «князь» Хромой, «шестерка»

---

[44]) Стр. 19.

Хромого и «откормленный гад» завстоловой. Они спихивают зэков с крыльца, опрокидывая их друг на друга, бьют их.

«— *Стой, ..яди! — Хромой орет и палку поднял на передних. — Осади! Сейчас кому-то расквашу!...*

— *Опять, падлы? — Хромой ярится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине, да спихивает, спихивает одних на других.*

....Качается толпа, душится — чтобы баланду получить. Законную баланду».[45])

Так берет с бою голодный, промерзший работяга причитающийся ему ужин — баланду, которая

«*...по вечерам... всегда жиже много, чем утром: утром зэка надо накормить, чтоб он работал, а вечером и так уснет».*[46])

«Законную баланду». Сдержанный автор не поставил даже восклицательного знака. Он только с легким вздохом напоминает читателю: законная баланда, — законно причитающаяся ему для кой-какого восстановления его рабочей силы на завтра.

Это — глубоко символическая для всей сталинской эпохи, при всем её внешнем натурализме, картина. В самом деле, при Сталине, из-за хронического дефицита всяческих продуктов потребления и невозможности удовлетворять спрос потребителей, было выработано враждебное отношение к... потребителю.

Самый термин «потребительское» (или «иждивенческое») отношение стал означать паразитизм, желание сесть на шею государству. Потребитель — враг. Проклятый потребитель, вместо того, чтобы проводить лишние часы на работе, «шлялся по магазинам», искал, требовал, клянчил хлеба, мяса, сахару, штанов, перчаток, стульев; он неотвязно заполнял грандиозные очереди, раздражал продавцов, министров, Сталина. Причем искал и покупал он все это, сукин сын, не для государства, а для себя лично, для своей собственной частновладельческой, единоличной шкуры.

Потребитель, покупатель — вот враг. И с ним боролись методами Хромого. Магазинов было недостаточно. А покупателю еще всячески мешали попадать в них. Например, незадолго до войны правительство Сталина-Молотова для сокращения спроса сократило часы торговли магазинов. Разве это не

---

[45]) Стр. 61.

[46]) Стр. 63.

то же самое «Стой, ..яди!» Хромого? И разве не были бытовыми явлениями толпы женщин, рвущихся в магазины, столовые, а в дверях вышибалы, вроде Хромого, не пускающие их? А хамское обращение продавцов с покупателями, не изжитое до сих пор? И если в Киеве на базаре, во времена «Вия», торговки певучими голосами приглашали покупателей:

«Паничи! паничи! сюды! сюды!... ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-Богу, хороши! на меду! сама пекла! — то рассказывают, что ныне, в 60-х годах XX века на том же киевском базаре государственная продавщица в мужском пальто и условно белом халате со злым лицом скрипит:

— Мужчина (обращение в стиле публичного дома. — Д. Б.)! Куды лезете руками. Я вам говорю. Мужчина, не трогайте яблоки, отойдите!

Впрочем, меньше всего будем придираться к продавщице. Может быть, её раздражение относится не столько к покупателю, сколько к себе самой, к своей горькой судьбе, вынуждающей её воровать, чтобы прокормиться и даже просто удержаться в торговой сети.

И нечего там, собственно, придираться к Хромому и к завстоловой. Если б они на минуту превратились в людей и перестали сталкивать со ступенек толпу наседающих зэков, последние в течение той же минуты разнесли бы столовую и кухню в щепы.

Это была дьявольская система, «порядок» той эпохи. Никакой человек, ставший «винтиком» этой системы, не мог, не смел безнаказанно снова очеловечиться. Это был необратимый процесс.

15. НАПЛЮЙСТВО В СОВЕТСКУЮ ДУШУ

В повести отчетливо показано, что главный контингент заключенных «врагов народа» составляли именно лучшие друзья народа, лучшие патриоты, храбрейшие защитники родины, в частности, те, кто страдал в плену, и особенно, кто бежал из немецких лагерей для пленных или выходил из окружения к своим.

Так, Шухов геройски выбрался из окружения и плена и вернулся в советскую армию, где его встретили словами: «Из плена, мать вашу так!» Ещё раньше, на фронте Шухов пришел в медсанбат с поврежденной челюстью

«...и — недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать».[47])

Об этом он с сожалением вспоминает в санчасти лагеря, где его, больного, не хотят освободить на день от работы на морозе.

Сенька Клевшин три раза бежал из плена, сидел в Бухенвальде, был там в подпольной организации,

«...его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били».[48])

Вообще все, побывавшие в плену, — «шпионы»,

«...шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. И Шухов такой же шпион».[49])

Буйновский — также честный воин без страха и упрека. Или эстонец — именно из тех немногих эстонцев-возвращенцев, что тянулись к советской власти. Его

«...когда Советы уставились, ребенком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад — в Эстонии институт кончать».[50])

Другой автор — тоже бывший зэк, Дьяков, в своих воспоминаниях («Пережитое» — журнал «Знамя», в журнале «Октябрь» уже ряд эпизодов и этот, в том числе, «отредактированы») рассказывает о заключенном колхознике, который у себя в деревне в день советского праздника, исполненный горячих патриотических чувств, веселый, подвыпивший, заметил на сельсовете полинялый красный флаг, оскорбивший его советское чувство, полез на крышу, сорвал флаг, чтобы заменить его свежим, и... попал в лагерь.

Вот эта черта — издевательство именно над своими же сторонниками, защитниками, доверителями, — является чисто дьявольской особенностью и была присуща всему сталинскому режиму. Вспомним, что репрессиям и просто уничтожению подвергались именно лучшие защитники, талантливые работники,

---

[47]) Стр. 16.
[48]) Стр. 33.
[49]) Стр. 51.
[50]) Стр. 26.

старейшие коммунисты и самые преданные Сталину люди. Никакому другому режиму это не было свойственно. Все тираны уничтожали только своих врагов, а не друзей...

Так совершалось в лагере и «на воле» грандиозное разбазаривание гражданских, советских, партийных чувств и доверия, политического фонда, накопленного коммунистической партией неисчислимыми жертвами за много десятилетий.

16. ДЬЯВОЛЬЩИНА

Не касаясь вопроса о персоне дьявола, сатаны и т. д. — в виде ли простого старо-украинского рогатого или хвостатого чёрта гоголевского типа, в образе ли гётевского Мефистофеля или наконец «известного сорта русского джентльмена, лет уже не молодых» в коричневом пиджаке и клетчатых, несколько старомодных панталонах, посетившего Ивана Карамазова, — можно, однако, довольно точно определить некоторые особенности дьявольщины, дьявольского (в отличие от простого зла).

Одну из особенностей дьявольщины можно определить как только что описанное провокационное предательство своих последователей, как *наплюйство в доверившиеся тебе, в соблазненные тобой души.* Классический литературный пример: насмешки Мефистофеля над соблазненной с его помощью Маргаритой (между тем как физический соблазнитель Фауст сострадает ей).

К сожалению, сталинское дьявольское зло этого типа еще далеко не изжито у нас. Иллюстрацией его живучести является другой рассказ того же Солженицына «Для пользы дела» о том, как уже в наше время некоторые партийные и советские отцы наплевали в душу сразу 900 юношам и девушкам. Их уговорили пожертвовать своим трудом и отпуском ради государственного дела — постройки здания техникума, а потом, к великому удовольствию Мефистофеля, хохотавшего, наверно, как в опере, отобрали у них здание и тем самым наплевали не только и не столько на их личные интересы, сколько именно в их советскую душу, в их советские чувства, что повлекло за собой, конечно, растрату этих чувств.

Вторую особенность дьявольщины можно кратко определить как *культ ненависти:* радость, сладострастие мучительства, самораспаляющий садизм, широко воплотившиеся в ста-

линских лагерях и отраженные в повести об Иване Денисовиче. Лейтенант Волковой с его плеткой является лишь простейшим представителем этого типа дьявольщины. Суть дела заключается в постоянно действующей одержимости, инициативе, своеобразном «творческом импульсе» ненависти, непрерывно измышляющем и создающем все бóльшие и бóльшие мучения для невинных заключенных.

Тупые мозги тюремщиков в «муках творчества» искали, что бы можно было еще отнять у арестанта, у которого как будто уже ничего и нет. Оказывается, что при дьявольском старании можно еще кое-что отнять: ремни от штанов, иголку, стеклянную посуду, лекарство, внутренний карманчик, лишнюю рубаху, наконец — воскресный отдых.

Другая область «творчества» мучителей — это измышление всяческих приказов и запрещений, вроде пресловутого запрещения ходить по лагерю в одиночку или запрещение носить каждому свой кусок хлеба в рабочую зону и приказа:

«...каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан... и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки...»[51])

Только когда три зэка воспользовались таким чемоданом хлеба для побега, «опомнились начальники и все чемоданы порубали...». Таков морально-политический и интеллектуальный уровень эмгебешного «творчества», в котором изощрялись друг перед другом эти кадры от министра до последнего лагерного «вертухая», от которого, кстати, зависело их служебное положение и награды. В основе всего этого лежал провозглашенный Сталиным культ ненависти, разумеется, формально — к врагам, а не к друзьям. Но ведь объявить врагом любого друга или, например, целый народ ничего не стоило.

Третью особенность дьявольщины можно охарактеризовать как самораспространение и самовозбуждение зла как бы в виде цепной реакции. Всякое «обыкновенное» зло вообще вызывает по индукции несколько толчков зла (например, в виде актов мести), но толчки эти представляют собой как бы зату-

---

[51]) Стр. 20.

хающие колебания. Охватив некоторый вначале расширяющийся круг лиц, зло в конце концов гасится общественным массивом, как землетрясение массой земного шара. Иное дело дьявольское зло. Оно неограниченно возрастает по интенсивности, как амплитуда резонансных колебаний, от которых рушатся мосты или отлетают хвосты самолетов в полете, и неограниченно распространяется вширь, как пожар в лесном массиве, охватывающий все новые площади и затухающий только тогда, когда доходит до границы поселения. Так зло этого типа по глубине доходит до чудовищных, в полном смысле слова *немыслимых* деяний, т. е. деяний, которых вообще не могут помыслить себе обычные люди, *даже свидетели, даже жертвы этих злодеяний.* Именно так: люди видят это зло, испытывают его на себе и все же искренне утверждают, что его не было. В экспансии же своей такое зло захватывает в свой вихрь все новые слои людей, может охватить целые народы, материки и затухает только на естественных границах, например, государства, либо, скажем, от какого-нибудь соответствующего мощного препятствия... Механическую модель распространения такого зла можно наблюдать, если мешок, не плотно заполненный зерном, положить на полку, например, в вагоне, так, чтобы уголок мешка свешивался с полки. Зерно начинает пересыпаться в этот уголок все больше и больше, и наконец свисающая часть мешка перевешивает, и весь мешок обрушивается на пол.

Этой третьей особенностью также обладало зло сталинского режима, показанное нам в былине об Иване Денисовиче. Причем довольно убедительно показана сама, так сказать, «технология» распространения зла, её ощутимые формы, которые она принимает в реальной жизни, например, форма *необходимости.*

Воровство необходимо: без него, как мы видели, повар не может сварить обеда для арестантов. Необходимо бить арестантов, ибо иначе они не станут работать или ворвутся в столовую халабуду и опрокинут её вместе с кухней. Необходимо ухудшать жизнь зэков, ибо иначе охранников самих посадят. Необходимо доносить, чтобы в какой-то мере парализовать доносы, которые могут быть на тебя самого, и т. д., и т. д. Так разлагаются древние общественные силы взаимного тяготения, и возникает война всех против всех.

«Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б арестанты друг с другом не сучились — э-эх!..»[52])

Так растрачивается и проваливается нравственное, духовное добро, накопленное тысячелетиями целым народом.

Еще одна черта дьявольщины была бегло затронута выше — *это необходимость процесса обесчеловечивания её деятелей.* По-видимому, грех этот — «каинова печать», не смываемая ни в каком «Иордане».

Носители его — мертвые души, нечеловеки, люди-черти — широко описаны Гоголем и нарисованы в большом количестве испанским художником Франциско Гойей.

Все эти привидевшиеся Гоголю черти, ведьмы, басаврюки, пацюки — больше не плоды фантазии. Они нашли свое человеческое (точнее человекоподобное) воплощение в лице реальных сталинских следователей, прокуроров, надзирателей, журналистов, писателей. Сталин мог бы сказать вместе с Драконом:

«Мои люди очень страшные... Моя работа. Я их кроил...

Если б ты увидел их души — ох, задрожал бы... Я их лично покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь, станет послушной и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепкие души, лягавые души, окаянные души... Дырявые души, продажные души, мертвые души. Нет, не жалко, что они невидимы».

17. ГДЕ АВТОР?

Некоторые читатели повести об Иване Денисовиче жалуются на её «трудный слог», «грубый жаргон» и т. д. Они утверждают, что «многие описания автора можно было изложить прекрасным русским языком».

«...будто едешь по мерзлому кочковатому болоту: трясет!..»
«...музыки слов не чувствуешь...»

Некоторым советским читателям хотелось бы — если уж нужно читать книги о проклятых сталинских лагерях, вошед-

---

[52]) Стр. 55.

шие нынче в моду, — чтобы эти книги, по крайней мере, были написаны гладким, без кочек, «прекрасным русским языком», например, тургеневской (но отнюдь не гоголевской) «музыкой слов»:

«Дайте мне руку, любезный читатель, и поедем вместе со мной. Погода прекрасная; кротко сияет майское небо; гладкие молодые листья ракит блестят, словно вымытые; широкая ровная дорога...» и т. д.

Да, «Записки охотника» можно читать с улыбкой, склонив голову на бок. Это, конечно, не солженицынская музыка.

«Прошло ваше время, заразы, срока давать!»[53])
Или:

«...Ухайдакался бы сам на каменной кладке — небось бы тихо сидел».[54])

Или там:

«Без подъемника — без фуёмника».[55])

Незадачливый читатель по-своему прав. Но его образное представление нам кажется недостаточно точным (разумеется, это дело вкуса, личной фантазии). «Езда по кочкам» — это образ беспокойства, неудобства, нет в нем той *воли*, которая пронизывает повесть от начала до конца и которую этот читатель, конечно, не заметил.

Нам кажется, что если внимательно вглядеться внутрь «магического кристалла» поэмы через любую из его многочисленных граней, то в самом центре, где находится так называемый «центр кристаллизации», то есть частичка, вокруг которой складывается всякий кристалл, мы увидим русскую женщину-мать, топающую босыми красными ногами по колючим, режущим снежным застругам. В длинной полотняной рубахе, с волосами, повязанными по-вдовьи, в платке, накинутом с затылка накрест на грудь и завязанном сзади, как носят белорусские или польские крестьянки, без патетически протянутых вперед рук, но с мрачной решимостью идти до конца туда, за тем, кто

---

[53]) Стр. 46.
[54]) Стр. 16.
[55]) Стр. 48.

виднеется далеко впереди, чтобы догнать, помочь, выручить, выпросить его или утешить. А вдали по пустынному снегу быстро уходят, виляя бедрами с болтающимися на них пистолетами, две стройные черные блошки — это офицерики, поспешно волокущие под руки её последнего кормильца — круглоголового Ваню, повисшего у них на руках с оттопыренным задом в штанах, «везде пересидевших».

И помощи нет ниоткуда. Дети-защитники, проливавшие за неё кровь на фронте и на баррикадах, сами в беду попали, губит их дракон — «батька усатый» — одного за другим.

А для погибельной этой работы он сам обучил и назначил, по-нынешнему, ученых специалистов — *инженеров-отравителей человеческих душ.* Они пихнули дракона усатого в постель к родной матери, умирающей от омерзения, прозвали его отцом родным и, взявшись за руки, похабно пляшут вокруг них, тычут в них пальцами, задирают матери подол, сыплют туда пыль и репья. Они слышат, как дракон усатый любезничает с матерью: «Ха-ароший народ русский... имеет ясный ум и терпение. Меня стерпел, нэ прогнал, а мог свободно это сделать».

И охальники-инженерики визжат от восторга: «Мы, русские, — теперь, слышь, великий народ. Так назначил сам 'батька-дракон'!»

И по чертячьей своей природе завели они такую игру: кто из своих же невзначай скажет «русский» через одно «с» или просто зазевается, дружно спихивать его в концлагерь навеки. И покатываются со смеху.

А честные сыновья не в состоянии помочь матери и пожалеть её. Сын Ваня-кормилец, руки трудовые, стальные, да умом младенец, обманывают, обезоруживают его черти, себе помочь не сможет. Алешка — радость небесная, да занят, родной, спасением собственной души. И вот только появился третий сын, зрелый, сильный. Он — писатель-былинник, и воин, и грамотный он, понимает её. Он уже выдержал один на один первый страшный бой с мучившим его драконом. У него непримиримый гнев против дракона и светлая ласка для неё. У чертей холодная кровь. У него в сердце горячая кровь, он согреет её ноги. Сразу стало заметно, что от его слов явно чертям тошно становится.

А ведь раньше лучшие, великие её сыновья — поэты, писатели — пели ей дифирамбы, молились на неё, но только душу надрывали себе и ей. Думали, что если она бессмертна, то и

силы у неё нескончаемые. Они только слезами исходили по ней и в конце концов обессиленные либо бежали прочь, либо кидались в её колени за утешением, как Гоголь:

«Спасите меня, возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых как вихрь коней!.. Взвейтесь, кони, несите меня с этого света! Далее, далее... Вон и русские избы виднеются. Дом ли мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его болъную головушку! Посмотри, как мучат они его! Прижми ко груди своей бедного сиротку! Ему нет места на свете! Его гонят! — Матушка! пожалей о своем болъном дитятке!..».

А Достоевскому слезы жалости к ней до того застилали глаза, что он договорился до... самодержавия и антисемитизма.

Александр Солженицын не рыдает и не бросается в колени матери. У него глаза сухие, гневные. Он крепко берет мать за руку, он кладет её голову на свои колени.

Страшную её обиду и боль в босых ногах на снегу он посыновьи берет на себя. Он знает, что делать с этой болью. Он одевает её в многоцветный неразрушимый магический кристалл — былину — для вечного хранения и назидания: «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(Лица, активно выступавшие в «деле Солженицына»)

Абашидзе, Ираклий Виссарионович, р. 1909. Поэт. Первый секр. Союза писателей Груз. ССР (1966). Член ЦК КП Груз. ССР. Член АН Груз. ССР (с 1960). Секр. Правл. СП СССР (1967). Член КПСС с 1939. Стр. 48.

Абдумомунов, Токтоболот, р. 1922. Драматург, прозаик. Перв. секр. Правл. СП Киргизск. ССР (1966). Секр. Правл. СП СССР (1967). Стр. 36, 48.

Адамов, Артюр (Adamov, Arthur), р. 1908. Франц. драматург. Стр. 191.

Альварес, Альфред (Alvarez, Alfred), р. 1929. Англ. литературный критик. Сотрудник «Нью стэйтсмен», «Обсервер» и др. Стр. 194.

Антокольский, Павел Григорьевич, р. 1896. Поэт. Член Правл. СП СССР (1967). Член КПСС с 1943. Стр. 14, 15.

Апдайк, Джон (Updike, John Hoyer), р. 1932. Амер. писатель. Стр. 193.

Арагон, Луи (Aragon, Louis), р. 1897. Франц. писатель. Член ЦК франц. компартии с 1954. Участвовал в создании подпольного еженедельника «Летр франсез» (1942). Директор «Летр франсез» с 1953. Член Всемирного Совета мира. Лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957). Стр. 191.

Арендт, Ханна (Arendt (Blücher) Hannah), р. 1906. Лауреат амер. Академии искусств и литературы. Стр. 194.

Асанов, Николай Александрович, р. 1906. Прозаик, поэт. Стр. 162, 169, 170.

Ахмадулина, Изабелла Ахатовна, р. 1937. Поэтесса, прозаик. Стр. 187.

Бакланов, Григорий Яковлевич, р. 1923. Прозаик. Член Правл. Моск. писательской организации (1969). Член КПСС с 1942. Стр. 66, 67, 177.

Баранов, Сергей Х. Писатель. Член Рязанской писательской организации. Стр. 136, 137, 143, 146.

Баруздин, Сергей Алексеевич, р. 1926. Поэт, прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1967). Член КПСС с 1949. Стр. 35, 48, 52.

Белинков, Аркадий Викторович, 1921 - 1970. Литературовед, лит. критик. Подвергся преследованиям во времена Сталина (1944 - 1956 — тюрьмы и концлагеря). В 1968 остался за границей. Стр. 177, 178.

Бёлль, Генрих (Böll, Heinrich), р. 1917. Нем. писатель. Стр. 193.

Березко, Георгий Сергеевич, р. 1905. Прозаик, драматург, киносценарист. Секр. Правл. Московск. писательск. организации (1969). Стр. 154, 160, 176, 187.

Бори, Жан-Луи (Borg, Jean-Louis), р. 1919. Франц. профессор и писатель. Стр. 191.

Борщаговский, Александр Михайлович, р. 1913. Прозаик, литературный критик, театровед. Член Правл. Моск. писательской организации (1969). Член КПСС с 1940. Стр. 154, 162, 163, 164.

Бровка, Петр Устинович, р. 1905. Поэт, прозаик. Предс. Правл. СП БССР (1966). Секр. Правл. СП СССР (1967). Член ЦК КП БССР. Член-корр. АН БССР (с 1953). Член КПСС с 1940. Стр. 49.

Бронне, Карло (Bronne, Carlo), р. 1901. Бельг. писатель и журналист. Вице-президент ПЭН-клуба. Стр. 194.

Бюрньо, Констан (Burniaux, Constant), р. 1892. Бельг. писатель и литературный критик. Профессор. Член Королевск. Академии французского языка и литературы. Вице-председатель Бельгийского отдела ПЭН-клуба. Стр. 194.

Бютор, Мишель (Butor, Michel), р. 1926. Франц. профессор и писатель. Стр. 191.

ван Фрисланд, Виктор (van Vriesland, Victor). Стр. 194.

Вандеркаммен, Эдмонд (Vandercammen, Edmond), р. 1901. Бельг. поэт, критик и живописец. Член Королевск. академии языка и литературы Бельгии. Член бельг. ПЭН-клуба. Стр. 194.

Веркор (Vercors псевд. Bruller, Jean Mariel), р. 1902. Франц. писатель. Член французского Движения сопротивления. Член ПЭН-клуба и почетн. председатель Национального комитета писателей Франции. Стр. 191.

Винниченко, Иван Федорович. Очеркист. Секр. Правл. Моск. писательской организации (1969). Стр. 161, 162.

Владимов (Волосевич), Георгий Николаевич, р. 1931. Прозаик, литературный критик. Стр. 16, 20.

Войтинская, Ольга Сергеевна. Литературовед и литературный критик. Стр. 187.

Воннегут, Курт (Vonnegut, Kurt), р. 1922. Амер. писатель. Стр. 193.

Воронков, Константин Васильевич. Прозаик, драматург. Секр. Правл. СП СССР (1967). Стр. 31, 36, 37, 38, 43, 48, 61, 77, 95, 98.

Вюрмзер, Андре (Wurmser, André), р. 1899. Франц. писатель и публицист. Главн. ред. «Летр франсез». Пишет передовицы в «Юманите» (с 1954). Литературный критик в «Летр франсез» (с 1947). Стр. 191.

Гароди, Роже (Garaudy, Roger), р. 1913. Франц. профессор философии. Бывший сенатор (1959 - 1962). Член Политбюро КПФ с 1956 по 1969. Исключен из ЦК КПФ на съезде в Нантере в 1970. Тогда же лишился поста директора Высшей партийной школы. Автор большого числа трактатов о марксизме. Стр. 191.

Глэнвилл, Брайен (Glanville, Brian), р. 1931. Англ. писатель и критик. Стр. 194.

Гови, Жорж (Govy, Georges), р. 1910. Франц. писатель, новеллист. Член Национального комитета писателей Франции. Стр. 191.

Гоффин, Роберт (Goffin, Robert), р. 1898. Адвокат при суде. Президент ПЭН-клуба в Бельгии. Стр. 194.

Грасс, Гюнтер (Grass, Günter), р. 1927. Немецкий писатель. График. Стр. 193, 194.

Грин, Грэм (Greene, Graham), р. 1904. Англ. писатель. Лит.-крит. статьи. Стр. 194.

Дэкс, Пьер (Daix, Pierre). Франц. писатель и журналист. Стр. 191.

Демичев, Петр Нилович, р. 1918. Секр. ЦК КПСС (с 1961). Кандидат в Политбюро (с 1964). Председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС. Член КПСС с 1939. Стр. 14, 80.

Допань, Жорж (Dopagne, Georges), р. 1911. Бельгийск. писатель. Предс. Общества бельгийск. писателей. Член ПЭН-клуба. Стр. 194.

Дюрренматт, Фридрих (Dürrenmatt, Friedrich), р. 1921. Швейцарский писатель и драматург. Стр. 193.

Жиллé́с, Даниель (Gillès, Daniel), р. 1917. Бельг. писатель. Участник Движения сопротивления во 2-й мировой войне. Стр. 194.

Зимянин, Михаил Васильевич, р. 1914. Главн. ред. газ. «Правда». Предс. Союза журналистов СССР. Член ЦК КПСС. Стр. 58, 62.

Ионсон, Уве (Johnson, Uwe). Немецкий писатель-модернист. Стр. 194.

Кабо, Любовь Рафаиловна, р. 1917. Прозаик, педагог. Член КПСС с 1945. Стр. 168, 174.

Каверин, Вениамин Александрович, р. 1902. Прозаик. Стр. 89, 94, 96, 113, 130, 132, 133, 158, 161, 172, 173.

Казин, Альфред (Kazin, Alfred). Амер. писатель. Стр. 194.

Капоте, Труман (Capote, Truman), р. 1924. Амер. писатель. Киносценарист. Стр. 193.

Карвер, Дэвид (Carver, David). Англ. писатель. Секр. Международного ПЭН-клуба с 1969. Стр. 194.

Карякин, Юрий Федорович. Литературн. критик. Стр. 171, 185.

Кедрина, Зоя Сергеевна, р. 1904. Литературный критик. Выступила в качестве общественного обвинителя на процессе А. Синявского и Ю. Даниэля в 1966. Член Центр. рев. ком. СП СССР (1967). Стр. 166, 170, 172, 174.

Кербабаев, Берды Мурадович, р. 1894. Прозаик, поэт, драматург. Предс. СП Турк. ССР (1966). Секр. Правл. СП СССР (1967). Член АН Турк. ССР. Член ЦК КП Турк. ССР. Дважды лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1948. Стр. 50.

Клавель, Бернар (Clavel, Bernard), р. 1923. Франц. писатель. Стр. 191.

Кожевников, Александр Сергеевич. Секр. отдела агитации и пропаганды Рязанского обкома КПСС. Стр. 135, 140, 145.

Кожевников, Вадим Михайлович, р. 1909. Прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1967). Член КПСС с 1943. Стр. 44.

Корнейчук, Александр Евдокимович, р. 1905. Драматург. Секр. Правл. СП СССР (1967). Член ЦК КПСС (с 1952) и ЦК КП Украины. Член През. Всемирного Совета мира (с 1958). Член АН СССР (с 1943). Стр. 34, 43, 46, 50, 52.

Костерин, Алексей Евграфович, 1896 - 1968. Прозаик. Был арестован во времена Ежова и отсидел 17 лет в концлагерях. Реабилитирован. Активный участник борьбы за свободу творчества. В 1968 исключен из Союза писателей СССР. Стр. 21, 30.

Лану, Арман (Lanoux, Armand), р. 1913. Франц. писатель. Председатель общества «Франция - СССР». Выступал на IV съезде СП СССР в защиту Солженицына. Стр. 191.

Левченко, Николай. Член Рязанской писательской организации. Стр. 146.

Леман, Розамонд (Lehmann, Rosamond Nina). Англ. писательница. Стр. 194.

Луи, Виктор (собственно Виталий) Евгеньевич, р. 1928. Москов-

ский корреспондент англ. газ. «Ивнинг ньюс», ам. газ. «Вашингтон пост» и др. Советский журналист. Часто бывает за границей. Стр. 99, 100, 102.

Мадол, Жак (Madol, Jacques). Франц. писатель. Предс. Национального комитета писателей Франции. Стр. 191.

Маккарти, Мэри (McCarthy, Mary), р. 1912. Амер. писательница. Стр. 194.

Мальцев (Пупко), Елизар Юльевич, р. 1917. Прозаик. Секр. Моск. партийной организации писателей. Лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1949. Стр. 89, 173.

Маркин, Евгений. Писатель. Член Рязанской писательской организации. Стр. 138, 146.

Марков, Георгий Мокеевич, р. 1911. Прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1956). Секр. СП РСФСР (1965). Лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1946. Стр. 31, 51, 77, 95.

Матушкин, Василий Семенович, р. 1906. Прозаик, драматург. Член Рязанской писательской организации. Член КПСС с 1945. Стр. 136, 137, 139, 140, 143, 145.

Медников, Анатолий Михайлович. Прозаик. Член Рев. ком. Моск. писательской организации (1969). Стр. 163.

Мелентьев, Ю. С. Канд. в члены ЦК ВЛКСМ (1962). Зам. зав. Отдела культуры ЦК КПСС (с 1966). Стр. 33.

Мемми, Альбер (Memmi, Albert), р. 1920. Франц. профессор. Стр. 191.

Миллер, Артур (Miller, Arthur), р. 1915. Амер. драматург. Предс. Международного ПЭН-клуба с 1965-1969. Стр. 193, 194.

Мишима, Юкио (Michima, Yukio), р. 1925. Японск. писатель. Стр. 193.

Мусрепов, Габид Махмудович, р. 1902. Прозаик, драматург. Секр. Правл. СП СССР (1959). Перв. секр. СП Казах. ССР (1966). Член АН Казахской ССР (с 1958). Член КПСС с 1926. Стр. 37.

Новиченко, Леонид Николаевич, р. 1914. Литературовед и литературный критик. Секр. Правл. СП СССР (1959). Член-корр. АН УССР (с 1958). Лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1944. Стр. 50.

Нотт, Катлин (Nott, Kathleen). Англ. писательница. Предс. комитета по поэзии англ. ПЭН-клуба. Стр. 194.

Оден, Уистен Хью (Auden, Wyston Hugh). Амер. поэт. Стр. 194.

Озеров, Виталий Михайлович, р. 1907. Литературный критик. Секр. Правл. СП СССР (1967). Член КПСС с 1940. С 1959 — гл. ред. ж. «Вопросы литературы». Стр. 46, 63.

О к л е р, Марсель (Auclair, Marcelle), р. 1899. Франц. писательница. Стр. 191.

П а р а ф, Пьер (Paraf, Pierre), р. 1893. Франц. писатель и журналист. Участник Движения сопротивления. Стр. 191.

П а р м е л е н, Элен (Parmelen, Helène). Франц. писательница. Член Национального комитета писателей Франции. Стр. 191.

П и к а с с о, Пабло (Picasso, Pablo), р. 1881. Франц. живописец. Член компартии Франции. Стр. 191.

П о в а р е н к и н. Редактор издательства. Стр. 135, 139.

П о з н е р, Владимир (Pozner, Vladimir), р. 1905. Франц. писатель и литературовед. Стр. 191.

П р е в о, Ален (Prevost, Alain). Франц. журналист. Стр. 191.

Р о д и н, Николай Александрович. Прозаик. Член Союза писателей. Стр. 137.

Р о ш ф о р, Кристиан де (De Rochefort, Christiane). Стр. 191.

Р ю р и к о в, Борис Сергеевич. Публицист. Литературный критик. Секр. Правл. СП СССР (1967). 1954-55 главн. ред. «Лит. газеты». Главн. ред. ж. «Иностр. литература» (с 1963). Стр. 47, 48, 54.

Р ю с с е л о, Жан (Russelo, Jean). Франц. журналист. Стр. 191.

С а ж и н, Петр Александрович. Прозаик. Стр. 175.

С а л ы н с к и й, Афанасий Дмитревич, р. 1920. Журналист и драматург. Секр. Правл. СП СССР (с 1967). Член КПСС с 1942. Стр. 35, 41, 47.

С а р н о в, Бенедикт Михайлович. Литературный критик. Стр. 170, 173.

С а р т а к о в, Сергей Венедиктович. Прозаик, драматург. Секр. Правл. СП СССР (1967). Стр. 31.

С а р т р, Жан-Поль (Sartre, Jean-Paul), р. 1905. Франц. писатель и философ. Вице-предс. Европейского содружества писателей с 1965. Стр. 191, 193.

С а ф о н о в, Эрнст. Писатель. Секр. Рязанской писательской организации. Стр. 135, 140, 146.

С в и р с к и й, Григорий Цезаревич. Прозаик. После выступления на отчетно-выборном собрании Московск. отд-ния СП 21-22 янв. 1968 г. исключен из КПСС с запретом публикации его произведений. Стр. 80.

С и м о н о в, Константин (Кирилл) Михайлович, р. 1915. Поэт, прозаик, драматург. Секр. Правл. СП СССР (1967). Член Правл.

СП РСФСР. 1954-57 — гл. ред. ж. «Новый мир». Многократный лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1942. Стр. 42, 63, 65, 74, 81, 95, 136.

Славин, Лев Исаевич. Прозаик. Член Правл. Моск. писательской организации (1969). Стр. 165.

Соболев, Леонид Сергеевич, р. 1898. Прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1967). Лауреат Сталинской премии. Стр. 31.

Солсбери, Харрисон (Salisbury, Harrison), р. 1908. Моск. корр. «Нью-Йорк таймс» 1949-1954. Редактор «Нью-Йорк таймс». Стр. 193.

Софронов, Анатолий Владимирович, р. 1911. Драматург, поэт. Член Правл. СП СССР (1958). Секр. Правл. СП РСФСР (1964). Дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1949). Член КПСС с 1940. Гл. ред. ж. «Огонек» с 1953. Стр. 180.

Спарк, Мюриель (Spark, Muriel). Англ. писательница. Ген. секр. «Общества поэтов». Стр. 194.

Стайрон, Уильям (Styron, William), р. 1925. Амер. писатель. Стр. 194.

Стиль, Андре (Stil, André), р. 1921. Франц. писатель и публицист. Редактор «Юманите» (1950-1959). Лауреат Сталинской премии (1952). Стр. 191.

Стравинский, Игорь, р. 1882. Композитор. Стр. 193.

Сурков, Алексей Александрович, р. 1899. 1949-1954 секр. Правл. СП СССР. 1954-1959 — 1-й секр. Правл. СП СССР. Секр. Правл. СП СССР (с 1959). Дважды лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1925. Стр. 44, 46, 51, 54, 57.

Тагер, Евгений Борисович. Литературовед. Стр. 176.

Таурин, Франц Николаевич. Прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1967) и РСФСР. Стр. 135, 146.

Твардовский, Александр Трифонович, р. 1910. Поэт. Член Правл. СП (с 1954) и секр. Правл. СП СССР (с 1959). С 1950-54 и с 1958 до февраля 1970 — гл. ред. ж. «Новый мир». Член КПСС с 1940. Стр. 36, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 50, 56, 64, 79, 102, 136.

Тойнби, Филип (Toynbee, Philip). Англ. литер. критик. Стр. 194.

Триоле, Эльза (Triolet, Elsa), р. 1896. Франц. писательница. Сотрудница «Летр франсез». Почетн. предс. Национального комитета писателей Франции. Участница Движения сопротивления. Жена Луи Арагона. Стр. 191.

Турков, Андрей Михайлович. Литературный критик. Стр. 176.

Турчин, Валентин Федорович. Доктор физико-математических наук. Старший научный сотрудник Института прикладной математики АН СССР. Стр. 116, 121.

Уилбур, Ричард (Wilbur, Richard), р. 1921. Амер. писатель и педагог. Член Акад. искусств и литературы с 1954. Стр. 193.

Уилсон, Митчелл (Wilson, Mitchell), р. 1923. Физик. Амер. писатель. Стр. 193.

Уолл, Бернард (Wall, Bernard). Стр. 194.

Фай, Жан-Пьер (Faye, Jean-Pierre), р. 1925. Франц. профессор и писатель. Стр. 191.

Федин, Константин Александрович, р. 1892. Прозаик. Первый секр. СП СССР (с 1959). Член Конституционной комиссии Верховного Совета СССР. Член Комитета по выдаче Сталинских премий. Лауреат Сталинской премии. Член АН СССР (с 1958). Стр. 33, 34, 35, 43, 44, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 64, 79, 94, 130, 132, 133, 166.

Флад, Чарлз Браселен (Flood, Charles Bracelen). Амер. писатель. Президент амер. ПЭН-клуба. Стр. 193.

Фуше, Макс-Поль (Fouchet, Max-Paul), р. 1913. Франц. профессор и писатель, литературовед. Стр. 191.

Фуэнтес, Карлос (Fuentes, Carlos), р. 1928. Мексиканский писатель. Член. мекс. делегации Межд. орг. труда. Руководитель отдела культурных сношений мин. ин. дел Мексики. Стр. 193.

Хаксли, Джулиан (Huxley, Sir Julian), р. 1887. Англ. проф. (биологии) и писатель. Д-р honoris causa многих университетов. Член-корр. Франц. Акад. наук. Стр. 194.

Харпprecht, Клаус (Harpprecht, Klaus), р. 1927. Нем. писатель и публицист. Редактор ж. «Монат» (Берлин). Стр. 194.

Хоххут, Рольф (Hochhuth, Rolf), р. 1931. Нем. писатель и драматург. Стр. 194.

Хэртлинг, Петер (Härtling, Peter), р. 1933. Нем. писатель. Член Академии наук и литературы (с 1967). Редактор ж. «Монат» (Берлин). Стр. 194.

Чаковский, Александр Борисович, р. 1913. Прозаик, критик. Секр. Правл. СП СССР (1963). Член Правл. СП РСФСР (1962). 1954-62 — главн. ред. ж. «Иностр. литература». С конца 1962 — главн. ред. «Литературной газеты». Член КПСС с 1941. Стр. 116.

Чивер, Джон (Cheever, John), р. 1912. Амер. писатель. Стр. 193.

Чуковская, Лидия Корнеевна, р. 1907. Писательница и литературовед. Подвергалась преследованиям в сталинское время.

Автор «Открытого письма» Шолохову после процесса А. Синявского и Ю. Даниэля в 1966 г. Стр. 21, 30, 122, 135, 148.

Шапиро, Мейер (Schapiro, Meyer), р. 1904. Проф. Колумбийского университета с 1965. Историк искусства. Член Амер. Акад. наук и искусств с 1952. Стр. 194.

Шарипов, Адий Шарипович, р. 1912. Прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1967). Первый секр. СП Казахск. ССР (с 1966). Член ЦК КП Каз. ССР. Стр. 37, 50.

Шолохов, Михаил Александрович, р. 1905. Прозаик. Секр. Правл. СП СССР (1967). Член ЦК КПСС (с 1961). Член АН СССР (с 1939). Член КПСС с 1932. Лауреат Сталинской премии (1941). Лауреат Ленинской премии (1960). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965). Стр. 21, 65, 70, 71, 148.

Эйр, Альфред Джюл (Ayer, Alfred Jules), р. 1910. Проф. философии. Член Брит. Акад. наук. Почетн. член Амер. Акад. наук и искусств. Стр. 194.

Эмануэль, Пьер (Emmanuel, Pierre псевд. Mathieu, Noel Jean), Предс. Международного ПЭН-клуба с 1969. Стр. 194.

Яшен, Камиль Нугманович, р. 1909. Драматург. Секр. Правл. СП СССР (с 1967). Первый секр. СП Узбек. ССР (1959) и Предс. Правл. СП Узб. ССР (1966). Стр. 49.

Библиография
произведений А. Солженицына

ВВЕДЕНИЕ

Собранный нами библиографический материал мы разбили на четыре части: Первое опубликование на русском языке, Издания в СССР, Издания на русском языке за границей и Издания на иностранных языках.

Первоиздания и издания на русском языке за границей мы располагаем в хронологическом порядке, а в случае выхода в одном и том же году придерживаемся последовательности появления их на книжном рынке. Описание этих книг (за небольшим исключением) сделано нами на основании нашей коллекции. Издания на иностранных языках вне Советского Союза мы располагаем по странам, а внутри стран — по годам издания и по издательствам (в алфавитном порядке). В случае выхода в свет в одном том же году переводов нескольких произведений А. Солженицына, мы сохраняем последовательность первой публикации на русском языке, то есть «Раковый корпус» будет тогда стоять перед «В круге первом».

В нашей работе мы пользовались национальными библиографиями, которые поступают в главную архивную библиотеку ФРГ (Deutsche Bibliothek). Некоторые страны, однако, издают и присылают свои библиографии с большим запозданием, а отдельные библиографии мы были не в состоянии использовать по языковой причине (например, японскую). В таких случаях, а также для проверки наших данных, мы пользовались справочниками кумулятивного характера, в том числе Index translationum, Fichero bibliográfico hispanoamericano, Cumulative book index, Biblio.

И, наконец, мы обратились к помощи друзей (или в национальные библиотеки) в тех странах, откуда библиографии поступают нерегулярно. Мы выражаем нашу глубокую благодарность всем, кто откликнулся и прислал нам данные о книгах, или сообщил, что в данной стране действительно ничего не издано.

Тем не менее, как в каждой библиографии, возможны, даже неизбежны, пропуски (в особенности это касается, в нашем случае, отдаленных от Европы стран — прежде всего, азиатских). Мы были бы весьма благодарны нашим читателям, которые бы помогли нам восполнить пробелы, а также сообщали в будущем о выходе новых книг.

А. Артемова

I. ПЕРВОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(в хронологическом порядке)

1. Один день Ивана Денисовича. Повесть. Вступление А. Твардовского. — Москва, ж. «Новый мир», № 11, 1962 г. Стр. 8-74.
2. Случай на станции Кречетовка. Рассказ. — Москва, ж. «Новый мир», № 1, 1963 г. Стр. 9-42.
3. Матренин двор. Рассказ. — Москва, ж. «Новый мир», № 1, 1963 г. Стр. 42-63.
4. Для пользы дела. Рассказ. — Москва, ж. «Новый мир», № 7, 1963 г. Стр. 58-90.
5. Этюды и крохотные рассказы. — Франкфурт-на-Майне, ж. «Грани», № 56, 1964 г. Стр. I-XI.
6. Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. Статья. — Москва, «Литературная газета» от 4 ноября 1965 г.
7. Захар-Калитá. Рассказ. — Москва, ж. «Новый мир», № 1, 1966 г. Стр. 69-76.
8. а) Anonimo. Раковый корпус. Ч. 1. — Milano, II Saggiatore, (1968). 320 с. 18,5 см.
   б) Раковый корпус. Ч 1, 2. — Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1968. Часть 1. 317 с.; часть 2. 255 с. 14,5 см.
   в) Раковый корпус. Ч. 1, 2. — Лондон, The Bodley Head, 1968. Часть 1. 328 с.; часть 2. 282 с. 25,5 см.
   г) Раковый корпус. Повесть в 2-х частях. — Paris, YMCA-Press, (1968). 446 с. с портр. 23 см.
9. а) В первом кругу. — Frankfurt/Main, S. Fischer Verl., 1968. 551 с. 30 см.
   б) В круге первом. — Beograd, Marija Čudina, Leonid Šejka & Slobodan Mašić, [1968]. (Druck: Possev-Verlag.) 14, 5 см.
   в) Солженицын, Александр. В круге первом. — New York, Harper & Row, 1968. 515 с. 22 см.
   г) Солженицын, Александр. В первом кругу. — London, Flegon Press, 1968. 644 с. 22 см.
10. Правая кисть. Рассказ. — Франкфурт-на-Майне, ж. «Грани», № 69, 1968 г. Стр. I-X.
11. Свеча на ветру (Свет, который в тебе). Пьеса. — London, Flegon Press, ж. «Студенческий» № 11-12, 1968 г.

12. Пасхальный крестный ход. Рассказ. — Франкфурт-на-Майне, ж. «Посев», № 2, 1969 г. Стр. 45-47.
13. Ответ трем студентам. Письмо. — Париж, газ. «Русская мысль» от 17 апреля 1969 г.
14. Читают Ивана Денисовича. Статья. — Франкфурт-на-Майне, ж. «Посев», № 5, 1969 г. Стр. 36-42.
15. Олень и шалашовка. Пьеса. — Франкфурт-на-Майне, ж. «Грани», № 73, 1969 г. Стр. 3-95.

II. ИЗДАНИЯ В СССР

Солженицын, А. Один день Ивана Денисовича. Повесть. [Предисловие А. Твардовского] — [Москва], «Советский писатель», 1963. 143 с. с портр. 17 см. 100.000.

Солженицын, А. Один день Ивана Денисовича. [Повесть. — Москва, Гослитиздат, 1963]. 47 с. [Роман газета. № 1 (277)] 8° 700.000. 12 к.

Solženicyn, Aleksandr Isaevič. Viena Ivano Denisovičiaus diena. [Один день Ивана Денисовича.] Per. Antanas Pakalnis. — Vilnius, Goslitizdat, 1963. 191 s. 15.000. 35 k.

Solženicyn, Aleksandr Isaevič. Üks päev Ivan Denissovitši elus. [Один день Ивана Денисовича.] Per. L. Meri & E. Sarv. — Tallin, Gaz.-žurn. izd., 1963. 114 s. 40.000. 20 k.

Solženicyn, Aleksandr Isaevič. Asja huvides. [Для пользы дела и др. рассказы.] Per. Olev Jõgi. — Tallin, Gaz.-žurn. izd., [1964]. 104 s. (B-ka „Looming". No. 38/39 (358/359)). 19.000. 20 k.

III. ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Солженицын, А. Один день Ивана Денисовича. — (London), Flegon Press, [1963]. 67 с. 24 см. (Фототипическое издание с «Нового мира».)

Солженицын, А. Два рассказа. [Случай на станции Кречетовка. — Матренин двор.] — (London), Flegon Press, [1963]. 55 с. 24 см. (Фототипическое издание с «Нового мира».)

Солженицын, Александр. Для пользы дела. — Chicago, Russian Language Specialities, 1963. 32 с. 22 см. (Russian study series No. 29.) (Фототипическое издание с «Нового мира».)

Солженицын, А. Матренин двор. — Paris, YMCA-Press, (1965). 24 с. 24,5 см. 3.50 фр. (Фототипическое издание с «Нового мира».)

Солженицын, А. Матренин двор. [Случай на станции Кречетовка. — Матренин двор.] — (London), Flegon Press, [1965]. 56 с. 18,5 см. (Фототипическое издание с «Нового мира».)

Солженицын, А. Избранное. [Один день Ивана Денисовича, повесть. — Два рассказа.] — Chicago, Russian Language Specialities, 1965. 122 с. 25 см. (Russian study series, No. 54.) 2.50 дол. (Фототипическое издание с «Нового мира».)

Солженицын, А. Сочинения. [Один день Ивана Денисовича. — Случай на станции Кречетовка. — Матренин двор. — Для пользы дела. — Этюды и крохотные рассказы. — Захар Калитá.] — (Frankfurt/Main), «Посев», 1966. 317 с. 21 см. В пер. ДМ 18.— Тоже. 2-ое изд. — (Frankfurt/Main), «Посев», 1968. 317 с. 21 см. В пер. ДМ 18.—

Anonimo. Раковый корпус. (Повесть в двух частях). — (Milano), Il Saggiatore, (1968). 2 т. 19-29 см.

Солженицын, А. Раковый корпус. Повесть. (Часть 1, 2). — (Frankfurt/Main), «Посев», 1968. 14,5 см. Ч. 1. 317 с. Ч. 2. 255 с. ДМ 15.—

Солженицын, Александр. Раковый корпус. Часть 1, 2. — Лондон, Bodley Head, 1968. 25,5 см. Ч. 1. 355 с. 35/-. Ч. 2. 282 с. 35/-. (Фототипическое изд. с машинописного текста.)

Солженицын, А. Раковый корпус. Повесть в 2-х частях. — Paris, YMCA-Press, (1968). 446 с. с портр. 23 см. 27 фр.

Солженицын, Александр. В первом кругу. — (Frankfurt am Main), S. Fischer, (1968). 551 с. 30 см. ДМ 30.— (Фототипическое издание с машинописного текста.)

Солженицын, А. В круге первом. — (Beograd, Marija Čudina, Leonid Šejka & Slobodan Mašić), [1968]. (Druck: Possev-Verl.). 640 с. 14,5 см. ДМ 16.— (Фототипическое издание с машинописного текста.)

Солженицын, Александр. В круге первом. — New York, Harper & Row, 1968. 515 с. 22 см. 12.50 дол.

Солженицын, Александр. В круге первом. — (Frankfurt am Main), S. Fischer, 1968. 515 с. 21 см. В пер. ДМ 24.— (Книга вышла в 1969.)

Солженицын, Александр. В первом кругу. — (London), Flegon Press, 1968. 644 с. 22 см.

Солженицын, А. В круге первом. — Paris, YMCA-Press, (1969). 666 с. с портр. 23 см. 39 фр.

Солженицын, Александр. Собрание сочинений в шести томах. С приложением критических статей о творчестве автора и документов по так наз. «делу Солженицына». — (Frankfurt/Main), «Посев», (1969, 1970). 21 см. В пер.

Т. 1. Один день Ивана Денисовича. Повесть. — Рассказы. — Биографическая справка. (1970). 308 с. с портр. В твердом пер. ДМ 18.— В мягком пер. ДМ 15.—

Т. 2. Раковый корпус. Повесть. Часть 1, 2. (1970). 600 с. В тверд. пер. ДМ 24.— В мягк. пер. ДМ 21.—

Т. 3. В круге первом. Роман. Гл. 1 — Гл. 47. (1970). 408 с. с портр. В тверд. пер. ДМ 18.— В мягк. пер. ДМ 15.—

Т. 4. В круге первом. Роман. Гл. 48 — Гл. 87. (1970). 409-807 с. В тверд. пер. ДМ 18.— В мягк. пер. ДМ 15.—

Т. 5. Пьесы. — Рассказы. — Статьи. (1969). 270 с. В тверд. пер. ДМ 15.— В мягк. пер. ДМ 12.—

Т. 6. «Дело Солженицына». — О творчестве А. Солженицына. — Библиография произведений А. Солженицына. (1970). 400 с.

IV. ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

АРГЕНТИНА

Solyenitzin, Alejandro

Cuentos en miniatura. — Buenos Aires, Emecé, 1969. 179 p. (Col. Grandes Novelistas.)

En el primer círculo. [V kruge pervom.] — Buenos Aires, Emecé, 1969. 578 p.

БОЛГАРИЯ

Солженицин, А.

Един ден на Иван Денисович. [Ориг. загл.: Один день Ивана Денисовича.] (Повест). [Предг. от А. Твардовски.] Преведе Венцел Райчев. — София, «Народна култура», 1963. 156 с. 8° (Б-ка «Книги за всички». № 7.) 30.000 0.50 лв.

ВЕНГРИЯ

Szolzsenyicin, Alekszandr

Ivan Gyenyiszovics egy napja. [Odin den' Ivana Deniszovicsa.] Regény. /Bev./ (Alekszandr [Trifonovics] Tvardovskij. Ford. Wessely László.) — Budapest, Európa Kiadó, [1963]. 185 p. 19 cm. (Modern könyvtar. 58.) 5.30 Ft.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Solzhenitsyn, Alexander

One day in the life of Ivan Denisovich. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. by Ralph Parker.—London, Victor Gollanz, 1963. 192 p. 8°

One day in the life of Ivan Denisovich. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. by Ralph Parker. — Hardmondsworth, Penguin Books, 1963. 142 p. 8° (Penguin Books, no. 2053.)

For the good of the cause. [Dlja pol'zy dela.] Tr. by David Floyd and Max Hayward. — London and Dunmow, Pall Mall Pr., 1964. XVII, 134 p. 8° 25/-.

Cancer ward. [Rakovyj korpus.] Tr. [from the Russian] by Nicholas Bethell and David Burg. 2 vol. — London, Sydney [etc.], Bodley Head, 1968. 1969. 21 cm.
Part 1. [7] 338 p. 1968. 30/-.
Part. 2. [7] 279 p. 1969. 30/-.

The first circle. [V kruge pervom.] Tr. from the Russian by Michael Guybon. — London, Collins; Harvill P., 1968. [1] 581 p. 23 cm. 42/-.

The love-girl and the innocent. A play. [Olen' i šalašovka.] Tr. [from the Russian] by Nicholas Bethell and David Burg. — London, Bodley Head, 1969. [7] 131 p. 19 cm. 21/-.

The first circle. [V kruge pervom.] Tr. from the Russian by Michael Gyubon. — London, Fontana, 1970. 700 p. 18 cm. (Fontana modern books.) Pbk. 10/-.
This translation originally published London, Collins, Harvill Pr., 1968.

Solschenizyn, Alexander

Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. [Odin den' Ivana Denisoviča.] (Aus d. Russ, übers. von Max Hayward u. Ronald Hingley. Einführung von Max Hayward u. Leopold Labedz. Übers. aus d. Engl. von Gerda Kurz u. Siglinde Summerer). — (München, Zürich). Droemer/Knaur, (1963). 186 S. 8° Lw. 9.80

Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Erzählung. (Dt. von Wilhelm Löser, Theodor Friedrich u. a.) — Berlin-Grunewald, Herbig, (1963). 126 S. kl. 8° (Non Stop-Bücherei. Bd 77.) Kart. 2.40

Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Roman. (Aus dem Russ. übers. von Wilhelm Löser, Theodor Friedrich u. a.) — (Gütersloh), Bertelsmann-Lesering, [1964]. 190 S. 8° Nur f. Mitglieder. DM 4.40

Solshenizyn, Alexander

. . . den Oka-Fluß entlang. [Etjudy i krochotnye rasskazy]. 15 Kurzgeschichten u. eine Erzählung [Matrenin dvor]. (Ins Dt. übers. von Mary v. Holbeck u. a.) — (Frankfurt a. M.), Possev-Verl., 1965. 78 S. 8° kart. 5.80

Solschenizyn, Alexander

Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. [Odin den' Ivana Denisoviča.] (Aus d. Russ. übers. von Max Hayward u. Ronald Hingley. Einführung von Max Hayward u. Leopold Labedz. Dt. Bearb. von Gerda Kurz u. Siglinde Summerer.) — Berlin, Darmstadt, Wien, Deutsche Buchgemeinschaft, (1968). 238 S. 8° Nur f. Mitglieder.

Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Roman. (Aus d. Russ. übers. von Max Hayward u. Ronald Hingley. Einführung von Max Hayward u. Leopold Labedz. Deutsche Bearb. von Gerda Kurz u. Siglinde Summerer. Vollst. Ausg.) — (München, Zürich), Droemer/Knaur, (1968). 143 S. kl. 8° (Knaur-Taschenbücher. 190.) kart. 2.80

Der erste Kreis der Hölle. [V kruge pervom.] Roman. (Aus dem Russ. übers. von Elisabeth Mahler u. Nonna Nielsen-Stokkeby.) — (Frankfurt a. M.), S. Fischer, (1968). 669 S. 8° Lw. 25.-
Dto. 2. Auflage. (21-30 Tsd.) [1969]. Lw. 25.-

Krebsstation. [Rakovyj korpus.] Roman in 2 Büchern. (Aus dem Russ. von Christiane Auras u. a. Red.: Gisela Drohla u. Elisabeth Borchers.) — (Neuwied u. Berlin), Luchterhand, 1968. 1969. 8°
Buch 1. Mit einem Vorw. v. Heinrich Böll. 1968. 408 S. Lw. 18.- (im 50 000)
Buch 2. 1969. 326 S. Lw. 18.- (im 35 000)

Im Interesse der Sache. Erzählungen. („Ein Tag des Iwan Denissowitsch" u. a.) [Odin den' Ivana Denisoviča i rasskazy.] Aus d. Russ. von Mary v. Holbeck, Leonie Labas, Elisa Marin, Christoph Meng u. Ingrid Tinzmann. — (Neuwied u. Berlin), Luchterhand, 1970. 456 S. (Die Bücher der Neunzehn. 183.) Lw. DM 12.80

Krebsstation. (Раковый корпус.) Roman (in 2 Büchern). (Aus dem Russ. von Christiana Auras, Agathe Jais u. Ingrid Tinzmann.) Mit einem Vorwort von Heinrich Böll. — (Gütersloh; Stuttgart; Wien), Bertelsmann; Europäischer Buch- und Phonoklub; Buchgemeinschaft Donauland, [1970]. 735 S. 8° Nur f. Mitglieder. DM 15.-

ГРЕЦИЯ

Α. Σολζενίτσυν: «Μία ἡμέρα τοῦ Ἰβάν Ντενίσοβιτς». Μεταφραστὴς: Ἀ. Σαραντόπουλος. - Ἀθῆναι, Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Ἐκδόσεων, Ἄνευ ἔτους ἐκδόσεως. Σχῆμα: 8-ον
Название ориг.: Один день Ивана Денисовича.

ДАНИЯ

Solzjenitsyn, Aleksandr

En dag i Ivan Denisovitjs liv. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Overs. fra russisk af Edith Frey. — København, Gyldendal, 1963. 154 S. 18.75

To fortællinger. Et møde på Kretjetovka station. Matrjonas gård. [Slučaj na stancii Krečetovka. — Matrenin dvor.] Overs. fra russisk af Edith Frey. — København, Gyldendal, 1964. 134 S. 16.75

En dag i Ivan Denisovitjs liv. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Overs. fra russisk af Edith Frey. 2. udg. — København, Gyldendal, 1968. 154 S. (Gyldendals Tranebøger, 252.) 6.75

Kræftafdelingen. [Rakovyj korpus.] Overs. fra russisk af Ole Husted Jensen. — København, Gyldendal, 1969.
1. del. 362 S. 49.-
2. del. 300 S. 46.50

ИНДИЯ

Solženicyn, Aleksandr Isaevič

Ivan Denisovicher jıbaner ekdin. [Ben]-Subhash Mukhopadhayay. — Calcutta, D. M. Library, 1965. 222 p. Rs. 5.00
Eng.: One day in the life of Ivan Denisovich. (orig. Rus.)

A vitu. [Matrenin dvor, malayalam.] Tr. Ioseph Mundasseri. — Trichur, Mangalodayam, 1967. 75 p. Re. 1.50

ИСЛАНДИЯ

Solzhenitsyn, Alexander

Dagur í lífi Ívans Denisovichs. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Steingrímur Sigurðsson íslenzkaði. Káputeikningu gerði Atli Már /Árnason/. — Reykjavik, Almenna bókafélagið, 1963. 176 p. 8° kr. 195

ИСПАНИЯ

Solzhenitsyn, Alexander

Un día en vida de Iván Denisovich. Versión castellana de Ismael Antich. — Barcelona, Herder, 1963. 253 p. 18 cm. Tela: 125.00

Soljenitsin, Aleksandr

La Casa de Matrona, seguit de Tot sigui per la causa. Trad. catalana del ruso per Josep M. Güell. — Barcelona, Edicions 62, 1968. 127 p. 20 cm. (Col. El Balanci. 41.) Cartone 135,00

ИТАЛИЯ

Solženicyn, Aleksandr Isaevič

Una giornata di Ivan Denisovič. Trad. R. Uboldi. — Torino, G. Einaudi, 1963. pp. 174[2]. 19 cm. („I coralli. 169".) L. 1000
Tit. orig.: Odin den' Ivana Denisoviča.

Una giornata di Ivan Denissovič. Romanzo. Pref. A. T. Tvardovskij. Trad. G. Kraiski. — Milano, A. Garzanti, 1963. pp. 204[4]. 19,5 cm. („Romanzi moderni Garzanti".) L. 1000
Tit. orig.: Odin den' Ivana Denisoviča.

La casa di Matrjona. Trad. C. Coisson, V. Strada. — Torino, G. Einaudi, 1963. pp. 143. 19 cm. („I coralli. 179".) L. 1000
Tit. orig.: Matrenin dvor; Slučaj na stancii Krečetovka.

Divisione cancro. Romanzo di anonimo sovietico [cioè Aleksandr Isaevič Solženicyn]. Trad. di Maria Olsúfieva. — Milano, Il Saggiatore, 1968. pp. 397. 22 cm. („Scritture".) L. 2800
Tit. orig.: Rakovij korpus. Contiene la prima parte dell 'opera.

Il primo cerchio. Romanzo. Trad. di Pietro Zveteremich. — [Milano], A. Mondadori, 1968. pp. 746. 20 cm. („Nuova collana Mondadori".) L. 3500
Tit. dell' opera orig.: V kruge pervom. Tit. dell' ed. orig.: The first circle.

Reparto C. Introduzione di Vittorio Strada. Trad. di Giulio Dacosta. — Torino, G. Einaudi, 1969. pp. XXIV, 584. 18 cm. („Nuova universale Einaudi. 99".)
Tit. orig. Rakovij korpus.

КОРЕЯ

Solženicyn, Aleksandr Isaevič

Ibandenisobichi-eui Haru. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Trans. Hwag-su-Kim. — Seoul, Sasang-gesa, 1963. pp. 250. W. 150

Ibandenisobichi-eui Haru. [Odin den' Ivana Denisoviča]. Tr. Hwayeong Kim. — Seoul, Jimungag, 1963. pp. 276. W. 120

КУБА

Solzhenitzin, Alexandr

Un día de Iván Denisovich. Prólogo de A. Tvardovski. — La Habana, Editora del Consejo Nacional de Cultura, Editorial Nacional de Cuba, 1965. IX, 163 p. 19 cm. (Colección Cocuyo.)
Titulo en ruso: Odin den Ivana Denisovicha.

МЕКСИКА

Solzhenitsin, Alexander

Un día de Iván Denisovich. Prólogo de A. Tvardovski. [1. ed. en español. — México, Ed. Era, 1963. 177] p. 20 cm. 26.00 (Méx.) $ 2.08
Nombre completo: Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn. Traducción de „Odin den Ivana Denisovicha" por Isabel Vicente.

НИДЕРЛАНДЫ

Solzjenitsin, Alexander

Het verhaal van een dag. Uit het leben van Iwan Denisowitsj. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Ned. van Theun de Vries. — Amsterdam, Pegasus, [1963]. 223 p. 21 cm. Geb. fl. 8.90

Kankerpaviljoen. [Rakovyj korpus.] Roman [vert. uit het Russ.] — Baarn, De Boekerij. 22 cm. 1. [Voow. door Heinrich Böll. 1-e-2-e dr., 1969]. 288 p. fl. 10.20; geb. fl. 13.90. 2. [1969]. 229 p. fl. 10.20; geb. fl. 13.90

Voor leden van de N. L. K. geb. fl. 10.90

In de eerste cirkel. [V kroege pervom. The first circle.] Roman. [Vert. uit het Amerikaans van Pieter Grashoff.] — Baarn, De Boekerij, [1969]. 590 p. 23 cm. fl. 18.-; geb. fl. 22.50

Voor leden van de N. L. K. geb. fl. 16.90

НОРВЕГИЯ

Solsjenitsyn, Aleksander

En dag i Ivan Denisovitsj's liv. [Odin denj Ivana Denisovitsja.] Overs. av Natalia Fredriksen. — Oslo, Tiden, 1963. 202 s. 21,50; ib. 29,50

Det hende i Kretsjetovka. — Ei krigsenke. To noveller. [Slutsjaj na stantsijii Kretsjetovka. — Matrenin dvor.] Overs. av. Olaf Rytter. — Oslo, Norske Samlaget, 1964. 128 s. 25,00

Kreftavdelingen. [Rakovyj korpus.] Overs. av. Ingvild Broch. 1. del. — Oslo, Tiden, 1969. 316 s. 8° 49,00

ПОРТУГАЛИЯ

Solzhenitzin (Alexandre Isaevich)

Um dia na vida de Ivan Denisovich. Trad. de H. Silva Letra. — Lisboa, Europa-América, 1963. 201+2 p. 18 cm. (Col. Os Livros das Três Abelhas. 53.)

Um dia na vida de Ivan Denisovich. Trad. de Fernando de Melo Moser e Paulo Madeira Rodrigues. — Lisboa, Guimarães Editores, 1963. 185 p.+1 fl. 19,5 cm.

A casa de Matriona (Matrionin dvor.)* Trad. de Jorge Feio. — Lisboa, Ed. Arcádia, 1964. 192+1 p.+3 fl. 18 cm. (Biblioteca Arcádia de Bolso. 26.)

США

Solzhenitsyn, Alexander

One day in the life of Ivan Denisovich. [Odin den' Ivana Denisoviča.] [Tr. from the Russian by Ralph Parker] with an introd. by Marvin L. Kalb. Foreword by Alexander Tvardovsky. — New York, Dutton, 1963. 160 p. 21 cm.

One day in the life of Ivan Denisovich. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. by Max Hayward and Ronald Hingley. Introd. by Max Hayward and Leopold Labedz. — New York, Praeger, 1963. 210 p. 22 cm.

We never make mistakes. Two short novels. [Slučaj na stancii Krečetovka. — Matrenin dvor.] Tr. from the Russian and with an introd. by Paul W. Blackstock. — Columbia, Univ. of South Carolina Pr., 1963. XIX, 100 p. 24 cm. $ 3.75

For the good of the cause. [Dlja pol'zy dela.] Tr. by David Floyd and Max Hayward. Introd. by David Floyd. — New York, Praeger, [1964]. XVII, 134 p. 22 cm. $ 3.95 Burns & MacEachern $ 6.-

The cancer ward. [Rakovyj korpus.] Tr. from the Russ. by Rebecca Frank. — New York, Dial press, 1968. 616 p. 24 cm. $ 8.50

The first circle. [V kruge pervom.] Tr. from the Russian by Thomas P. Whitney. — New York, Harper & Row, [1968]. XIII, 580 p. 25 cm. $ 10.-

Cancer ward. [Rakovyj korpus.] Tr. from the Russian by Nicholas Bethell and David Burg. — New York, Farrar, Straus & Giroux, [1969]. XIV, 560 p. 22 cm. $ 10.-

The love-girl and the innocent. [Olen' i šalašovka.] Tr. from the Russian by Nicholas Bethell and David Burg. — New York, Farrar, Straus & Giroux, 1969. [7] 131 p. 19 cm. $ 4.95

---

*) Судя по количеству страниц, это — сборник, в который входят также и др. рассказы, то есть «Случай на станции Кречетовка» и «Для пользы дела».

The first circle. [V kruge pervom.] Tr. from the Russian by Thomas P. Whitney. — New York, Ballantine, 1969. 674 p. pa. $ 1.25

ТУРЦИЯ

Solyenitsin, Aleksandr (İsayeviç)

İvan Denissoviç'in hayatinda bir gün. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Çeviren: Zeyyat Özalpsan. — İstanbul, İskender Matbaası, 1965. 146 S. 8° (Yirminci Yüzyıl Klâsikleri.) 600 kr.

İvan Denizsoviç'in bir günü. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Çeviren: Niyazi Dalyancı. — İstanbul, Ataç Kitabevi, (1965). 160 S. 8° (Ataç Kitabevi Yayınları. 94.) 400 kr.

Dava uğruna. [Dlja pol'zy dela.] Çeviren: Zeyyat Özalpsan. — İstanbul, İskender Matbaasi, 1965. 147-211 p. 600 kr.

ФИНЛЯНДИЯ

Solženitsyn, Aleksander

Ivan Denisovitšin päivä. (Один день Ивана Денисовича. — Случай на станции Кречетовка. — Матренин двор.) Suomentanut Markku Lahtela. — Helsinki, Tammi, 1963. 250 s. 8° (Keltainen kirjasto. 50.) 7.-; sid. 9.50

Syöpäosasto. Suom. Esa Adrian [Anisimoff]. Ven. alkuteos: Rakovyj korpus. — Helsinki, Tammi, 1968. 322 (1) s. (Keltainen kirjasto. 86.) 18.-; sid. 22.-

ФРАНЦИЯ

Soljénitsyn, Aleksandre

Une journée d'Ivan Denissovitch. [Один день Ивана Денисовича.] Récit traduit par M[aurice] Decaillot. Préface de Pierre Daix. — Paris, R. Julliard, 1963. 223 p. 18 cm. 9.90 F.

La maison de Matriona. [Matrenin dvor.] Suivi de: L'inconnu de Kretchetovka [et de] Pour le bien de la cause. Roman trad. du russe par Andrée et Léon Robel. Préf. de Léon Robel. — Paris, Julliard, 1966. XII, 243 p. 20 cm. 12 F.

Une journée d'Ivan Denissovitch. [Один день Ивана Денисовича.] Récit trad. par M. Decaillot. Préface de Pierre Daix. [2. ed.] — Paris, R. Julliard, 1967. 288 p. Rel. 18.60 F.

Le pavillon de cancéreux. [Раковый корпус.] [Roman]. Trad. du russe par Alfreda et Michel Aucouturier, Lucile et Georges Nivat, Jean-Paul Sémon. — Paris, Julliard, [1968]. 784 p. 20,5 cm. Cart. 31 F.

Le premier cercle. [V kruge pervom.] [Roman.] Trad. du russe par Henri Gabriel Kybarthi. — Paris, Laffont, [1968]. 576 p. 25 cm. (Coll. „Pavillons".) Br. 33.70 F.

Le pavillon des cancéreux. [Раковый корпус.] Trad. du russe par Alfreda et Michel Aucouturier, Lucile et Georges Nivat, Jean-Paul Sémon. Préface par Georges Nivat. [2. ed.] — Paris, Julliard, 1969. 784 p. 20,5 cm. Cart. 31 F.

Une journée d'Ivan Denissovitch. [Один день Ивана Денисовича.] Récit traduit par M. Decaillot. Préface de Pierre Daix. [3. ed.] — Paris, Julliard, 1970. 288 p. Cart. 9.90 F. Rel. 18.60 F.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Solženicyn, Aleksandr

Jeden den Ivana Děnisoviče. Z rus. orig. Odin den' Ivana Denisoviča přel. Sergej Machonin. Il. Stanislav Kolibal. 1. vyd. — Praha, NPL, 1963. 87 [2] s. 8° Kčs. 7.-

Jeden deň Ivana Denisoviča. Z rus. orig. Odin deň Ivana Denisoviča. Prel. Ján Ferenčik. Ill. Vencent Hložnik. (Doslov) A. Tvardovskij. 1. vyd. — Bratislava, SVKL, 1963. 144[3] s. (Prameň. Zv. 74.) 8° 15 000 výtl. Viaz. 9.50 kčs.

Ve vyššim zájmu. Z rus. orig. Slučaj na stancii Krečetovka, Matrenin dvor, Dlja pol'zy dela. Přel. Anna Nováková. 1 vyd. — Praha, Svět sovětu, 1964. 146[4] s. 8° (Nová sovět. knihovna. Sv. 67.) Kčs. 11.-

Tri poviedky. Z rus. orig. Slučaj na stanciji Krečetovka, Matrionin dvor, Dlja pol'zy dela. Prel. Zora Jesenská (ktorá nap. aj doslov) a Viera Hegerová. 1. vyd. — Bratislava, SVKL, 1964. 186[4] s. (Prameň. Zv. 88.) 8° 11 500 výtl. Viaz. 10.50 kčs.

Jeden den Ivana Děnisoviče a jine prózy. Z rus. orig. Odin den' Ivana Denisoviča přel. Sergej Machonin a z rus. orig. Slučaj na stancii Krečetovka, Matrenin dvor a Dlja pol'zy dela přel. Anna Nováková. Doslov a pozn. o autorovi: Jiři F. Franěk. Il. Karel Hruška. 1. souborné vyd. — Praha, Svět sovětu, 1965. 295[4] s. 8° Váz. 12.50 Kčs. 95 000 výt.

Matrionina chalupa. Z rus. orig. Odin deň Ivana Denisoviča. . . Prel. Ján Ferenčik, Zora Jesenská a Viera Hegerová. 2. vyd. — Bratislava, Slov. spis., 1966. 270[2] s. (SPKK. Zv. 193.) 8° 11 000 výtl. 12.20 kčs. Viaz. 16.50 kčs.

ЧИЛИ

Solyenitsin, Alejandro

Pabellon de canserosos. [Rakovyj korpus.] — Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1969. 500 p. 18,5 cm. E. 43.
2ª ed., 1970.

ШВЕЙЦАРИЯ

Solschenizyn, Alexander

Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. Roman. (Aus dem Russ. übers. v. Max Hayward u. Ronald Hingley. Einführung v. Max Hayward und Leopold Labedz. Dt. Bearb. v. Gerda Kurz u. Siglinde Summerer). — Zürich: Buchclub Ex Libris [1964]. 186 S. 8° Für Mitgl. Sfr. 4.80 Lizenzausg. d. Verl. Droemer/Knaur, München.

Soljénitsyn, Aleksandr

Une journée d'Ivan Denissovitch. Récit. (Trad. par M[aurice] Decaillot.) — Lausanne, La Guilde du livre, (1968). 216 p. 8° Sfr. 8.90 (Publ. avec l'autorisation des éd. René Juillard, Paris.)

ШВЕЦИЯ

Solzjenitsyn, Alexander

En dag i Ivan Denisovitjs liv. Roman. Övers. av. Rolf Berner. Ryska orig: s titel: Odin denj Ivana Denisovitja. — Stockholm, Arena, 1963. 191 s. 16.50

Tva berättelser. Ett nöre pa Kretjetovka-stationen. — Matrjonas gard. Övers. av Kurt Johansson. Orig: s titlar: Slutjaj na stantsii Kretjetovka. — Matrjonin dvor. — Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1963. 154(1) s. 21.60

Cancerkliniken. Roman i två delar. Övers. från ryska av Eva Thomson-Roos. Orig:s titel: Rakovyj korpus. — Stockholm, Wahlström & Widstrand. 1968. 1969.
D. 1. 259(3) s. 1968. 39.50 2. uppl. 1968 (tr. 1969). 39.50
D. 2. 218(2) s. 1969. 39.50

Den första kretsen. [Roman]. Övers. av Hans Björkegren. Orig:s titel: V kruge pervom. — Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1969. 520 s. inb. 54.50

ЮГОСЛАВИЯ

Solženicin, Aleksandar

Jedan dan Ivana Denisoviča. Dogadaj na stancii Krečetovka. Matrjonina kuča. Nasl. orig. Odin den' Ivana Denisoviča. Preveli: Zoran Žujović, Ana Grdan, Svetomir Durbabić. — Beograd, „Kultura", 1963. Str. 208+[4]. 17 cm. Tiraž 20.000. (Kol. Biblioteka „Kultura".)

Solženicin, Aleksander

En dan Ivana Denisoviča in sě dve noveli. Nasl. izvir. Odin den' Ivana Denisoviča. Prevedel [in] „Spremna beseda" [napisal] France Klopčič. Opremil Uroš Vagaja. — Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1964. Str. 227+[3]. 19 cm. Tiraž 4000. (Kol. „Kiosk".)
U. sadržaju: Dogodek na postaji Krečetovki. Nasl. orig.: Slučaj na stancii Krečetovka. Matrjonina hiša. Nasl. orig.: Matrenin dvor. (slov.)

Solženicin, Aleksandar

Radi koristi stvari (Dlja pol'zy dela). Preveo Aleksandar Flaker v „Suvremeni sovjetski pisci." Četvrta knjiga. 1961-1963. Izbrao i uredio Aleksandar Flaker. — Zagreb, „Naprijed", 1964. Str. 372+[3]. 20 cm. Tiraž 2000.

Odjel za rak. Nasl. orig. Rakovyj korpus. S ruskoga preveo Ivan Kušan. — Rijeka, „Otokar Keršovani," 1968. 1969. 20 cm. Tiraž 3000.
D. 1. Str. 344. 1968. D. 2. Str. 282. 1969.

U prvom krugu. Nasl. orig. V kruge pervom. Prevela Nada Šoljan. — Rijeka, „Otokar Keršovani" 1969. Str. 554 [1] 24x17. Tiraž 4000. (Kol. Biblioteka „Svjedočanstva". 1)

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Solzhenitsyn, Alexander

Die dag van Ivan Denisowitsj: die egte beeld van Stalin se strafkampe. [Odin den' Ivana Denisoviča.] [Vert. deur Leo van der Westhuijzen.] — Kaapstad, H.A.U.M. [1963?]. [III], 194 p. 20 cm. R. 1. 85

ЯПОНИЯ

Solženicyn, Aleksandr Isaevič

Ivan Denisovich no ichinichi. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. Toyoki Ogasawara. — Tôkyô, Kawade shobô shinsha, 1963. pp. 230. Y 200.

Ivan Denisovich no ichinichi. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. Taku Egawa. — Tôkyô, Mainichi shinbunsha, 1963. pp. 198. Y 200.

Ivan Denisovich no ichinichi. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. Hiroshi Kimura. — Tôkyô, Shinchô-sha, 1963. pp. 212. Y 90.

Kesareta otoko. [Slučaj na stancii Krečetovka. — Matrenin dvor.] Tr. Toyoki Ogasawara. — Tôkyô, Kawade shobô shinsha, 1963. pp. 228. Y 250.

Ivan Denisovich no ichinichi [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr. Toyoki Ogasawara. — Tôkyô, Kawade shobô shinsha, 1965. pp. 287-411. (Sekai bungaku zenshu III, 19). Y 330.

Ivan Denisovich no ichinichi. Krečetovka eki no dekigoto. Matrenin no ie, etc. [Odin den' Ivana Denisoviča i dr.] Tr. Taku Egawa, Toyoki Ogasawara et al. — Tôkyô, Keisô shobô, 1968. pp. 358. (Atarashii soviet no bungaku, 6.) Y 580.

Ivan Denisovich no ichinichi. [Odin den' Ivana Denisoviča.] Tr Inada Sadao. — Tôkyô, Kadokawa shoten, 1968. pp. 234.

Gan Byoto. [Rakovyj korpus.] Pts. 1-2. Tr. Toyoki Ogasawara. — Tôkyô, Shincho-sha, 1969. Part 1: pp. 297. Part 2: pp. 236.

Rengoku no naka de. [V kruge pervom.] 1-2. Tr. Hiroshi Kimura, Ryokuya Matsunaga. — Tôkyô, Time-Life International, 1969. 1: pp. 347. 2: pp. 330.

Дополнительные документы

к

„делу Солженицына“

Этот том собрания сочинений А. Солженицына находился в печати, когда мы получили дополнительные документы по «делу Солженицына». Поэтому технически было уже невозможно дать их на том месте, где они должны были бы быть поставлены.

Эти документы мы располагаем, как и другие, в хронологическом порядке. При чтении с ними нужно знакомиться сразу же после письма А. Солженицына IV съезду писателей СССР и перед письмом П. Антокольского П. Демичеву.

Ред.

ПИСЬМО 80 ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАЛЕТЕЙ

Письмо А. И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьёзный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества.

Только открытое обсуждение письма, обеспеченное широкой гласностью, может явиться гарантией здорового будущего нашей литературы, призванной быть совестью народа.

Сообщить свою точку зрения съезду мы считаем своим гражданским долгом.

Члены Союза Писателей СССР:

К. Паустовский	*В. Солоухин*	*А. Гладков*
В. Каверин	*Б. Балтер*	*Ю. Трифонов*
В. Тендряков	*Ф. Искандер*	*К. Ваншенкин*
Г. Бакланов	*В. Аксенов*	*Б. Сарнов*

В. Войнович
Ю. Сотник
В. Корнилов
М. Поповский
С. Крутилин
С. Ермолинский
А. Смирнов-Черкезов
Н. Коржавин
В. Максимов
Б. Можаев
Ф. Светов
Ю. Кагарлицкий
Э. Герштейн
К. Богатырев
А. Аникст
Н. Адамян
А. Гладилин
Н. Ильина
Ю. Давыдов
Л. Лазарев
Г. Семенов
В. Огнев
Г. Садовский
Л. Пинский
Е. Старикова
Ю. Стрехнин
Ю. Мориц
А. Соснин
Н. Тарасенкова
Р. Облонская
Н. Долинина
Л. Тоом
И. Фрадкин
Б. Окуджава
Г. Свирский
В. Чешихина
И. Варламова
Ю. Вронский
В. Амлинский
Н. Харкова
А. Ивич
Ю. Левитанский
Е. Голышева
В. Коростылев
А. Тарковский
Т. Литвинова
Л. Левицкий
Н. Оттен
А. Шаров
Н. Панченко
А. Рыбаков
А. Эфрон
М. Лорие
В. Бушин
Я. Волчек
С. Бондарин
В. Богомолов
Н. Ивантер
Н. Волжина
А. Берзер
Д. Николаев
М. Рощин
И. Борисова
А. Галич
М. Туровская
Н. Давыдова
Б. Слуцкий
В. Быков

ТЕЛЕГРАММА ТРЕХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР IV СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Москва
Воровского 52
Четвертому съезду советских писателей

Поддерживаем письмо Александра Солженицына. Настаиваем на обсуждении письма съездом.

Члены Ордена Ленина Союза Писателей СССР

Владимир Войнович
Владимир Корнилов
Феликс Светов

ТЕЛЕГРАММА В. КАТАЕВА В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Москва
Кремль
Президиуму Съезда писателей

Дорогие товарищи, не имея возможности по тяжелым семейным обстоятельствам и состоянию здоровья присутствовать на съезде, довожу до вашего сведения, что считаю совершенно необходимым открытое обсуждение съездом известного письма Солженицына, с основными положениями которого я вполне согласен.

Делегат Съезда, член президиума
Валентин Катаев

ПИСЬМО Д. ДАРА В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Копия: Редакции «Литературной газеты»

Дорогие товарищи!

Не имея возможности выступить на съезде, прошу приложить к материалам съезда мое нижеследующее открытое письмо:

Подводя итоги пятидесятилетнего развития советской литературы, каждый из нас должен отдать себе отчет в том, что несмотря на ожесточенные репрессии, клевету, гонения и преследования со стороны различных чиновников государственного и партийного аппарата, лучшие представители советской литературы, такие, как Ахматова, Пастернак, Есенин, Цветаева, Зощенко, Булгаков, Мандельштам, Солженицын и многие другие, руководствовавшиеся не постановлениями, сочиненными в различных ведомствах, а только голосом своей собственной гражданской совести, одержали в борьбе с чиновниками полную победу, завоевав любовь и признание читателей Советского Союза и всего мира.

Из этого факта мы должны сделать вывод, что пришло время покончить с иллюзией, будто государственные или партийные служащие лучше, чем художники, знают, что служит интересам партии и народа, а что вредит этим интересам. Сколько их было в России, разных Бенкендорфов, Ильичевых и Поликарповых, безуспешно пытавшихся задушить и поработить русское искусство! А сколько их и сейчас еще от имени партии и правительства диктует нам, как сочинять книги, писать картины, ставить кинофильмы и определяют

какие произведения искусства должны стать достоянием народа, а какие следует скрыть от народа.

Нынешний съезд должен назвать своим подлинным именем такое явление, как бюрократический реализм, который у нас стыдливо и лицемерно называется социалистическим реализмом. Только то, что угодно чиновникам и служащим разных ведомств (в том числе и такого бюрократического ведомства, как Союз писателей) получает спасительный ярлычок социалистического реализма, а всё, что не угодно чиновникам и не укладывается в их бюрократическом понимании объявляется противоречащим социалистическому реализму.

Нынешний съезд может иметь какое-нибудь значение только в том случае, если он во всеуслышание заявит, что нам, советским писателям, не меньше, чем служащим государственных и партийных учреждений, дороги интересы народа и родины, что мы не нуждаемся ни в чьей опеке. А тот литератор, который не чувствует своего права самостоятельно творить, тот, кто по своей глупости, невежеству, неопытности или трусости испытывает необходимость в подсказке, руководстве и опеке, тот попросту не достоин носить высокое звание писателя.

Член Союза советских писателей

Д. Дар

19 мая 1967 г.
Ленинград

ПИСЬМО В. КОНЕЦКОГО В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Я получил письмо А. И. Солженицына о цензурном произволе в нашей литературе и должен заявить, что полностью разделяю всю тревогу и боль, которыми переполнено это письмо.

Цензура наша есть вопиющее нарушение нашей Конституции. Она не подконтрольна обществу, конъюнктурна и не несет никакой ответственности за изуродованные и погубленные художественные ценности. Писатель лишен даже такого элементарного права, как лично встретиться с цензором и в диалоге защищать свою точку зрения и истинность своих положений. Явным признаком цензурного произвола является зависимость от географии места. Чем дальше от Москвы, тем ужаснее условия литературной жизни.

С презрением к самому себе должен заявить, что эта «цензура», это угнетение ею художественного сознания уже оказали на меня, на мой разум и творчество, вероятно, необратимое влияние. Внутренний цензор говорит знаменитое «не пройдет» еще до того, как приступаешь к работе. Таким образом, цензура, имея беспредельную власть, нравственно развращает писателей с первого дня их появления на литературный свет. Потери от этого для общества невосполнимы и трагичны.

В юбилейный год советской власти цензурный произвол и самодурство достигли апогея, что является кощунственным.

Итак, я полностью присоединяю свой голос к выступлению А. И. Солженицына. Вопрос о цензуре должен быть включен в повестку дня Съезда и обсужден. Я не согласен только с тем, что вопрос этот возможно

формулировать в такой максималистской форме, как это сделано А. И. Солженицыным: «упразднение всякой — явной или скрытой — цензуры на художественные произведения». Вероятно, формулировка должна быть выработана коллективно. Ибо во всех государствах, при всех режимах, во все века была и необходимо еще будет и военная, и экономическая, и нравственная (порнография) цензура. Я предлагаю Съезду добиться запрещения уродливой формы негласной цензуры, дать автору право личной встречи с цензором и право аппеляции в высшие цензурные инстанции и в конечном счете к правительству. Я считаю также, что Союзу писателей должно быть гарантировано право вмешательства в цензурные тяжбы и он должен защищать произведения своих членов перед правительством.

Я полностью согласен с каждым словом второго раздела письма-выступления А. И. Солженицына.

По третьему разделу я должен заявить, что только вчера, из письма А. И. Солженицына узнал о том, что он обращался в Правление СП РСФСР с просьбой о защите от клеветы, хотя я должен был быть информирован о таком заявлении русского советского писателя, ибо являюсь членом ревизионной комиссии Правления.

Все вопросы, поднятые А. И. Солженицыным в его письме на имя IV Съезда Советских писателей, есть корневые и главные вопросы нашей литературы, а значит и нашего народа, нашей страны. Время их решения назрело с беспощадной исторической необходимостью. Никто никогда не простит делегатам Съезда, если они опять уйдут от сложности этих вопросов в кусты.

Член Ревизионной комиссии
Правления СП РСФСР,
член Правления
Ленинградского отделения СП РСФСР
В. Конецкий

20 мая 1967 г.

ПИСЬМО С. АНТОНОВА В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ

За несколько дней до начала съезда я получил письмо А. Солженицына по поводу положения дел в литературе. Из этого письма следует, что оно послано и в Президиум съезда.

Прошло уже три дня нашей работы, а Президиум съезда хранит загадочное молчание, будто этого важного документа не существует в природе.

Я разделяю многие положения, выдвинутые А. Солженицыным на обсуждение, считаю их чрезвычайно важными для судеб искусства и прошу Президиум съезда не утаивать письма А. Солженицына от делегатов.

По сути дела хочу добавить:

1. Нынешняя цензура, кроме исполнения традиционных цензорских функций (изъятие публикаций, наносящих ущерб обороне, выпадов против власти, пресечение порнографии и агитации войны), бесконтрольно вмешивается решительно во все художественные компоненты произведения. О компетенции такого вмешательства приведу только один факт из многих сотен. В картине «Знойный июль», которая, к несчастью, была закончена съемками в тот месяц, когда сняли т. Хрущева, — были вырезаны все эпизоды, где было видно кукурузу.

2. Произвол цензуры усугубляется тем, что по некоему положению служащие «Главлита» входить в контакты с авторами не имеют права, а мы, писатели, должны делать вид, будто этой цензуры не существует. В моей книжке «Я читаю рассказ» после всех корректур и виз, из перечня современных советских рассказчиков кем-то без моего ведома была вычеркнута фамилия

А. Солженицына. Кем именно это сделано, я так и не мог дознаться. Редактор книжки заявила, что фамилия Солженицына, очевидно, не помещалась в строку.

3. Произвол цензуры поощряется и тем, что она действует анонимно, а потому и безнаказанно. История с изъятием романа А. Бека из «Нового мира» — романа, который был признан московскими прозаиками на специальном заседании одним из лучших произведений этого автора — необъяснима. Кто за это должен отвечать персонально — вряд ли станет известно.

4. Непоправимый ущерб от беззаконной цензуры терпит не только литература. До сих пор «лежат на полке», т. е. попросту говоря запрещены Комитетом по делам кинематографии, который, по существу давно выродился в одно из цензурных ведомств, такие фильмы как «Приключения зубного врача» (режиссер Климов), «Земные звёзды» (по повести О. Бергольц), «Скверный анекдот» (режиссеры Алов и Наумов), «Страсти по Андрею» (режиссер Тарковский) — картины, которые получили подавляющим большинством голосов аттестационной комиссии высшую категорию по качеству. А талантливая работа молодого режиссера Кончаловского была запрещена даже для просмотра в клубе Писателей.

О том, что творится в смысле отбора творений на выставки у художников и скульпторов — и говорить противно.

5. В результате того, что функции цензуры беспредельно расширялись, и каждый рядовой служащий под видом «бдительности» может эти функции бесконтрольно и безответственно присваивать, судьбами советского искусства ведают не творцы этого искусства, а мало смыслящие в этом деле чиновники или бесталанные деятели искусств, выродившиеся в чиновников. К чему это приводит, показывает, среди множества других прискорбных фактов, и факт несправедливого, позор-

ного отношения к одному из самых талантливых наших писателей — А. Солженицыну.

Прошу Президиум съезда дать мне возможность прочесть это письмо на съезде, или довести это письмо до сведения делегатов.

С. Антонов

СОДЕРЖАНИЕ ШЕСТОГО ТОМА

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА»

Письмо А. Солженицына IV съезду писателей СССР (16 мая 1967 г.) 7

Письмо П. Антокольского секретарю ЦК КПСС Демичеву 14

Письмо Г. Владимова в Президиум IV съезда писателей СССР 16

Письмо А. Е. Костерина М. А. Шолохову 21

Письмо А. Солженицына в Секретариат Правления СП СССР (12 сентября 1967 г.) 31

Запись заседания Секретариата Союза писателей СССР 33

Из выступления редактора «Правды» Зимянина в Доме печати в Ленинграде 58

Письмо Секретариата СП СССР А. Солженицыну 61

Письмо А. Солженицына Секретариату СП СССР (1 декабря 1967 г.) 62

Письмо А. Твардовского К. Федину 64

Выступление Г. Свирского на собрании Московского отделения Союза писателей 80

Письмо В. Каверина К. Федину 94

Письмо А. Солженицына членам Союза писателей СССР (16 апреля 1968 г.) 97

Письмо А. Солженицына в Секретариат СП СССР (18 апреля 1968 г.) 99

Письмо А. Солженицына в редакцию «Литературной газеты» (21 апреля 1968 г.) 101

Сообщение редакции журнала «Грани» 102

Идейная борьба. Ответственность писателя (Редакционная статья «Литературной газеты» от 26 июня 1968 г.) 104

Письмо В. Турчина А. Чаковскому 116

Письмо Лидии Чуковской: Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» 122

Запись заседания Рязанской писательской организации 135

В Союзе писателей РСФСР 147

Открытое письмо А. Солженицына Секретариату СП РСФСР (12 ноября 1969 г.) 148

Приложение I

Документ о реабилитации А. Солженицына 151

Приложение II

Обсуждение первой части повести «Раковый корпус» на заседании секции прозы Московской писательской организации 154

Приложение III

Письмо А. Солженицына в редакцию «Литературной газеты» (12 декабря 1968 г.) 188

Протесты западных деятелей культуры

Протест Правления Национального комитета писателей Франции 189

Письмо Правления Международного ПЭН-клуба СП СССР 192

Письмо в «Таймс» представителей западной культуры 193

О ТВОРЧЕСТВЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Н. Тарасова. Вхождение А. Солженицына в советскую литературу и дискуссии о нем 197

В. Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги 243

Д. Благов. А. Солженицын и духовная миссия писателя 287

Именной указатель 357

БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. СОЛЖЕНИЦЫНА 367

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К «ДЕЛУ СОЛЖЕНИЦЫНА»

Письмо 80 членов Союза писателей в Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей 389

Телеграмма трех членов Союза писателей СССР IV съезду советских писателей 391

Телеграмма В. Катаева в Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей 391

Письмо Д. Дара в Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей 392

Письмо В. Конецкого в Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей 394

Письмо С. Антонова в Президиум IV съезда писателей 396

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в шести томах.

С приложением критических статей о творчестве автора и документов по так наз. «делу Солженицына».

Фотографии автора, а также его портрет работы московского художника В. Сидура, отпечатаны на меловой бумаге.

Обложка и суперобложка работы художника Адама Русака.

Сверка авторских текстов и редактирование приложений проведены А. Н. Артемовой.

Том первый

Один день Ивана Денисовича. (Повесть). — Рассказы. — Биографическая справка. 308 стр., с портретом.

Том второй

Раковый корпус. (Повесть в двух частях). 600 стр.

Том третий

В круге первом. (Роман). Гл. 1—47. 408 стр., с портретом.

Том четвертый

В круге первом. (Роман).
Гл. 48—87. 403 стр.

Том пятый

Пьесы. — Рассказы. — Статьи. 270 стр.

Том шестой

«Дело Солженицына». — О творчестве А. Солженицына. — Библиография произведений А. Солженицына. 400 стр., с портретом.